



Дафна Дю Морье
Козел отпущения

Annotation

Роман английской писательницы Дафны Дю Морье «Козел отпущения» по праву считается одним из лучших ее произведений, в котором глубокий психологизм сочетается с потрясающим лиризмом. Главный герой — англичанин, преподаватель университета — путешествует по Франции. В ресторане он встречает своего двойника — француза, владельца поместья и стекольного завода. И вот одному из них приходит в голову сумасшедшая идея — поменяться местами, а точнее, жизнями.

- [Дафна Дю Морье](#)

- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)
- [Глава 23](#)

- [Глава 24](#)
- [Глава 25](#)
- [Глава 26](#)
- [Глава 27](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)

- [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
-

Дафна Дю Морье
Козел отпущения

Глава 1

Я оставил машину у собора и спустился по ступеням на площадь Якобинцев. Дождь по-прежнему лил как из ведра. Он не прекращался с самого Тура, и единственное, что я мог увидеть в этих любимых мною местах, было блестящее полотно route nationale, ^[1]пересекаемое мерными взмахами «дворника».

Когда я подъехал к Ле-Ману, хандра, овладевшая мной за последние сутки, еще более обострилась. Это было неизбежно, как всегда в последние дни отпуска, но сейчас я сильнее, чем раньше, ощущал бег времени, и не потому, что дни мои были слишком наполнены, а потому, что я не успел ничего достичь. Не спорю, заметки для моих будущих лекций в осенний семестр были достаточно профессиональными, с точными датами и фактами, которые впоследствии я облеку в слова, способные вызвать проблеск мысли в вялых умах невнимательных студентов. Но даже если мне удастся удержать их затухающий интерес на короткие полчаса, я все равно буду знать, закончив лекцию, что все сказанное мной ничего не стоит, что я показал им ярко раскрашенные картинки, восковых кукол, марионеток, участвующих в шарадах, и только. Истинный смысл истории ускользал от меня, потому что я никогда не был близок к живым людям. Куда легче было погрузиться в прошлое, наполовину реальное, наполовину созданное воображением, и закрыть глаза на настоящее. В Туре, Блуа, Орлеане — городах, которые я знал лучше других, — я отдавался во власть фантазии: видел другие стены, другие, прежние, улицы, сверкающие фасады домов, на которых теперь крошилась кладка; они были для меня более живыми, чем любое современное здание, на которое падал мой взгляд, в их тени я чувствовал себя под защитой, а жесткий свет реальности обнажал мои сомнения и страхи.

Когда в Блуа я дотрагивался до темных от копоти стен загородного замка, тысячи людей могли страдать и томиться в какой-нибудь сотне шагов оттуда — я их не замечал. Ведь рядом со мной стоял Генрих III, надушенный, весь в брильянтах: бархатной перчаткой он слегка касался моего плеча, а на сгибе локтя у него,

точно дитя, сидела болонка; я видел его вероломное, хитрое, женоподобное и все же обольстительное лицо явственней, чем глупую физиономию стоящего возле меня туриста, который рылся в кармане в поисках конфеты, в то время как я ждал, что вот-вот прозвучат шаги, раздастся крик и герцог де Гиз замертво упадет на землю. В Орлеане я скакал рядом с Девой или вместо Бастарда поддерживал стремя, когда она садилась на боевого коня, и слышал лязг оружия, крики и низкий перезвон колоколов. Я мог даже стоять подле нее на коленях в ожидании Божественных Голосов, но до меня доносились лишь их отголоски, сами Голоса слышать мне было не дано. Я выходил, спотыкаясь, из храма, глядя, как эта девушка в облике юноши с чистыми глазами фанатика уходит в свой невидимый для нас мир, и тут же меня вышвыривало в настоящее, где Дева была всего лишь статуя, я — средней руки историк, а Франция — страна, ради спасения которой она умерла, — родина ныне живущих мужчин и женщин, которых я и не пытался понять.

Утром, при выезде из Тура, мое недовольство лекциями, которые мне предстояло читать в Лондоне, и сознание того, что не только во Франции, но и в Англии я всегда был сторонним наблюдателем, никогда не делил с людьми их горе и радости, нагнало на меня беспросветную хандру, ставшую еще тяжелее из-за дождя, секущего стекла машины; поэтому, подъезжая к Ле-Ману, я, хоть раньше не собирался делать там остановку и перекусывать, изменил свои планы, надеясь, что изменится к лучшему и мое настроение.

Был рыночный день, и на площади Якобинцев, у самых ступеней, ведущих к собору, стояли в ряд грузовики и повозки с зеленым брезентовым верхом, а все остальное пространство было заставлено прилавками и ларьками. В тот день был, видимо, особенно большой торг, так как повсюду толпились во множестве сельские жители, а в воздухе носился тот особый, ни с чем не сравнимый запах — смесь флоры и фауны, — который издает только земля, красно-коричневая, унавоженная, влажная, и дымящиеся, набитые до отказа загоны, где тревожно топчутся на месте друзья по неволе — коровы, телята и овцы. Трое мужчин острыми вилами подгоняли вола к грузовику, стоявшему рядом с моей машиной. Бедное животное мычало, мотало из стороны в сторону головой, туго обвязанной веревкой, и пятилось от грузовика, переполненного его хрипящими и фыркающими от

страха собратьями. Я видел, как вспыхнули красные искры в его оторопелых глазах, когда один из мужчин вонзил ему в бок вилы.

Перед открытой повозкой пререкались две женщины в черных шалях, одна из них держала за ногу квохчущую курицу, та протестующе била крыльями по высокой плетеной корзине с яблоками, на которую облокотилась ее хозяйка. К ним нетвердой походкой направлялся огромный кряжистый мужчина в коричневой вельветовой куртке с багровым лицом и мутным взглядом от обильного угощения в соседнем бистро. Глядя на монеты у себя на ладони, он что-то бурчал — их было меньше, чем он думал, слишком мало; видно, он обсчитался за этот час, что провел в жаркой комнате, пропахшей п отом и табаком, откуда он теперь возвращался для перекуров с женой и матерью. Я легко мог представить его ферму, которой он владел всю свою жизнь, как и отец до него, в двух километрах от шоссе по песчаной проселочной дороге в колдобинах и рытвинах; низкий дом светло-желтого цвета с черепичной крышей и службы — расплывчатое пятно на фоне плоских коричневых полей, где ряд за рядом лежат кучи круглых и плотных тыкв, оранжево-розовых или зеленых, как листья липы, оставленных здесь до зимы, когда они высохнут и пойдут в корм скоту или на суп самим обитателям фермы.

Я обогнул грузовик и пошел через площадь в brasserie [2] на углу; внезапно сквозь просветы на небе брызнуло бледное солнце, и все, кто был на площади, — безликие черные кляксы, похожие на ворон, — стали цветными каплями ртути: они улыбались, жестикулировали, расхаживали не спеша по своим делам, а серая пелена над головой все расплзалась и расплзалась, пока день из хмурого не стал золотым.

В ресторане яблоку негде было упасть; приятно пахло едой — супом, острой и пикантной подливкой, сыром, пролитым вином, горькой кофейной гущей — и удушливо несло сыростью от подсыхающих пальто и курток; зал тонул в голубом облаке сигарет «Голуаз».

Я нашел место в дальнем углу возле двери в кухню, и, пока ел горячий, сытный, тонувший в соусе из зелени омлет, створки двери распахивались то вперед, то назад от нетерпеливого толчка официанта с тяжелым подносом в руках, где высились одна на другой тарелки. Сперва это зрелище подстегивало мой аппетит, но затем,

когда я утолил голод, это стало вызывать тошноту — слишком много тарелок картофеля, слишком много свиных отбивных. Когда я попросил принести кофе, моя соседка по столу все еще отправляла в рот бобы; она плакалась сестре на дороговизну жизни, не обращая внимания на бледненькую девочку на коленях у мужа, которая просилась в туалет. Она болтала без умолку, и чем больше я слушал — единственный доступный мне отдых в те редкие минуты, когда я выбрасывал из головы историю, — тем сильнее грызла меня притихшая было хандра. Я был чужак. Я не входил в их число. Годы учебы, годы работы, легкость, с которой я говорил на их языке, преподавал их историю, разбирался в их культуре, ни на йоту не приблизили меня к живым людям. Я был слишком не уверен в себе, слишком сдержан и сам это ощущал. Познания мои были книжными, а повседневный жизненный опыт — поверхностным, он давал мне те крупницы, те жалкие обрывки сведений, что подбирает в чужой стране турист. Я страстно стремился к людям, жаждал их узнать. Запах земли, поблескивание мокрых дорог, выцветшая краска на ставнях, заслоняющих окна, в которые я никогда не загляну, серые фасады домов, двери которых для меня закрыты, служили вечным укором, они напоминали мне о расстоянии между ними и мной, о моей национальности. Другие, возможно, ворвутся сюда силой, разрушат разделяющий нас барьер, другие, но не я. Я никогда не стану французом, не стану одним из них.

Семья, сидевшая за моим столиком, встала и ушла, шум стих, дым поредел, и хозяин с женой сели перекусить позади прилавка. Я расплатился и вышел. Я бродил бесцельно по улицам, и моя праздность, перебегающий с предмета на предмет взгляд, сама одежда моя — серые брюки из шерстяной фланели, изрядно выношенный за долгие годы твидовый пиджак выдавали во мне англичанина, затесавшегося в базарный день в толпу местных жителей в захолустном городке. Все они — и крестьяне, торгующиеся среди связок подбитых гвоздями сапог, фартуков в черно-белую крапинку, плетеных домашних туфель, кастрюль и зонтов; идущие под ручку хохочущие девушки, только что из парикмахерской, кудрявые, как барашки; и старухи, которые то и дело останавливались, подсчитывая что-то в уме, качали головой, глядя на цену, скажем, камчатных скатертей, и брели дальше, ничего не купив; и юноши в бордовых

костюмах, с иссиня-серыми подбородками, с неизбежной сигаретой в углу рта, которые пялили глаза на девушек, подталкивая друг друга локтем, — все они, когда окончится этот день, вернутся в свои родные места — домой. Безмолвные поля вокруг и мычание скота, и туман, поднимающийся с размокшей земли, и кухня с тучами мух, и кошка, лакающая молоко под колыбелью, — все это принадлежит им, привычное, как ворчливый голос бабушки и тяжелая поступь ее сына, идущего на грязный двор с ведром в руке.

А я — неважно когда — зарегистрируюсь в очередном незнакомом отеле, где меня примут за француза, пока я не предъявлю паспорт; тут последуют поклон, улыбка, любезные слова, и, сожалеюще, слегка пожимая плечами, портье скажет: «У нас сейчас почти никто не живет. Сезон закончился. Весь отель в вашем распоряжении», подразумевая, что я, естественно, жажду окунуться в толпу моих энергичных соотечественников с «кодаками» в руках, меняться с ними снимками, брать займы книжки, одалживать им «Дейли мейл». И никогда эти служащие отеля, где я провел ночь, не узнают, как не знают этого те, кого я сейчас обгоняю на улице, что не нужны мне мои соотечественники, тягостно и собственное мое общество, что, напротив, хотел бы я — недоступное для меня счастье — чувствовать себя одним из них, вырасти и выучиться с ними вместе, быть связанным с ними узами родства и крови, узами, которые для них понятны и правомерны, чтобы, живя среди них, я мог делить с ними радость, постигать глубину их горя и преломлять с ними хлеб — не подачка чужаку, а общий, их и мой, хлеб.

Я продолжал идти вперед; снова стал моросить дождь, люди набились в магазины или пытались укрыться в автомобилях. В провинции не разгуливают под дождем, разве что идут по делу, как вон те мужчины в широкополых фетровых шляпах, которые с серьезным видом спешат в prefecture ^[3] с портфелем под мышкой, в то время как я нерешительно топчусь на углу площади Аристида Бриана, прежде чем зайти в церковь Пресвятой Девы неподалеку от префектуры. В соборе было пусто, я заметил лишь одну старуху с бусинами слез в широко раскрытых неподвижных глазах; немного погодя в боковой придел, стуча каблучками, вошла девушка и зажгла свечу перед белой до голубизны статуей. И тут, словно темная пучина поглотила мой рассудок, я почувствовал: если я не напьюсь сегодня, я

умру. Насколько важно то, что я потерпел фиаско? Не моему окружению, моему миру, не тем немногим друзьям, которые думают, будто знают меня, не тем, кто дает мне работу, не студентам, которые слушают мои лекции, не служащим в Британском музее, которые любезно говорят мне «доброе утро» или «добрый день», и не тем благовоспитанным, благожелательным, но до чего же скучным лондонским теньям, среди которых живет и добывает свое пропитание законопослушный, тихий, педантичный и чопорный индивидуум тридцати восьми лет. Нет, не им, а моей внутренней сущности, моему «я», которое настойчиво требует освобождения. Как оно посмотрит на мою жалкую жизнь?

Кто оно, это существо, и откуда оно взялось, какие желания, какие стремления обуревают его — этого я сказать не мог. Я так привык его обуздывать, что не знал его повадок; возможно, у него холодное сердце, язвительный смех, вспыльчивый характер и дерзкий язык. Не оно живет в однокомнатной, заваленной книгами квартире, не оно просыпается каждое утро, зная, что у него ничего нет — ни семьи, ни родных и близких, ни друзей, ни интересов, которые поглощали бы его целиком, ничего, что могло бы служить жизненной целью или якорем спасения, ничего, кроме увлечения французской историей и французским языком, которое — по счастливой случайности — позволяет как-то зарабатывать на хлеб.

Возможно, если бы я не держал его взаперти в моей грудной клетке, оно бы хохотало, бесчинствовало, дралось и лгало. Возможно, оно бы страдало, возможно, ненавидело бы, возможно, ни к кому не проявляло бы милосердия. Оно могло бы красть, убивать... или отдавать все силы борьбе за благородное, хотя и безнадежное дело, могло бы любить человечество и исповедовать веру, утверждающую равно божественность Всевышнего и людей. Какова бы ни была его природа, оно ожидало своего часа, укрывшись под бесцветным обличем того бледного человека, что сидел сейчас в церкви Пресвятой Девы, ожидая, когда утихнет дождь, завершится день, подойдет к predetermined концу отпуск, наступит осень и его вновь еще на один год, еще на один промежуток времени возьмет в плен повседневная рутина его обычной, бедной событиями лондонской жизни. Вопрос был в том, как отпереть дверь. Каким способом освободить того, другого? Я не видел ответа... разве что

выпить бутылку вина в кафе на углу перед тем, как сесть в машину и двинуться на север, — это затуманит сознание, притупит чувства и принесет временное облегчение. Здесь, в пустой церкви, была иная возможность — молитва. Молиться, но о чем? О том, чтобы собраться с духом и выполнить пока еще нетвердое намерение поехать в монастырь траппистов в надежде, что там научат, как смириться с фиаско... Старуха тяжело встала с места и, сунув четки в карман, направилась к выходу. Слез на ее глазах больше не было, но оттого ли, что она нашла здесь утешение, или они просто высохли, я сказать не мог. Я подумал о *carte michelin*, ^[4]лежавшей в машине, и отмеченном синим кружком монастыре траппистов. Зачем я его обвел? На что надеялся? Отважусь ли я позвонить в дверь того дома, куда они помещают приезжих? Возможно, у них есть ответ на мой вопрос и на вопрос того, кто живет во мне...

Я вышел из церкви следом за старухой. Мне вдруг захотелось узнать, не больна ли она, или недавно овдовела, а может быть, у нее умирает сын, и принесла ли ей молитва надежду, но когда я боязливо подошел к ней — она все еще что-то бормотала, — старуха заключила по моему неуверенному виду, что я турист и хочу дать ей милостыню; оглянувшись по сторонам, она протянула ладонь, и, презирая сам себя за скупость, я вложил в нее двести франков, а затем поспешил оставить ее, освободившись от чар.

Дождь перестал. Небо перечеркивали красные ленты, блестели мокрые мостовые. Ехали на велосипедах люди — возвращались с работы. Темный дым из фабричных труб промышленного района казался черным и мрачным на фоне умытого неба.

Оставив позади магазины и бульвары, я шел под хмурыми взглядами высоких серых домов и фабричных стен по улицам, которые, казалось, никуда не вели, заканчиваясь тупиком или образуя кольцо. Было ясно, что я сбился с пути. Я понимал, что веду себя глупо: надо было найти свою машину и снять на ночь номер в одном из отелей в центре города или покинуть Ле-Ман и поехать через Мортань в монастырь траппистов. Но тут я увидел перед собой железнодорожный вокзал и вспомнил, что собор, возле которого стоит моя машина, находится на противоположном конце города. Самым естественным было взять такси и вернуться, но прежде всего надо было выпить чего-нибудь в станционном буфете и прийти к какому-то

решению. Я стал переходить улицу; чья-то машина резко свернула в сторону, чтобы не наехать на меня, затем остановилась. Водитель высунулся в окно и закричал по-французски:

— Привет, Жан! Когда вы вернулись?

Меня зовут Джон. Это меня подвело. Я подумал, что человека этого я, вероятно, где-то встречал и должен бы помнить. Поэтому я ответил, тоже по-французски, ломая голову, кто бы это мог быть:

— Я здесь проездом... сегодня вечером еду дальше.

— Зряшная поездка, да? — спросил он. — А дома небось скажете, что добились успеха?

Замечание было оскорбительным. Почему это он решил, что я зря провел отпуск? И как, ради всего святого, он догадался о моем затаенном чувстве, будто я потерпел фиаско?

И тут я понял, что человек этот мне незнаком. Я никогда в жизни не сталкивался с ним. Я вежливо ему поклонился и попросил извинить меня.

— Прошу прощения, — сказал я, — боюсь, мы оба ошиблись.

К моему удивлению, он расхохотался, выразительно подмигнул и сказал:

— Ладно, ладно, я вас не видел. Но зачем заниматься здесь тем, что куда лучше делать в Париже? Расскажите мне при следующей встрече в воскресенье.

Он включил зажигание и, не переставая смеяться, поехал дальше.

Когда он исчез из виду, я повернулся и вошел в станционный буфет. Скорей всего, он выпил и был в веселом настроении; не мне его осуждать, я и сам последую сейчас его примеру. Буфет был полон. Только что прибывшие пассажиры сидели бок о бок с теми, кто ожидал посадки. Стоял сплошной гул. Я с трудом пробрался к стойке. Чей-то чемодан поцарапал мне ногу. Раздавались свистки, оглушающий рев приближающегося экспресса заглушил пыхтение местного паровичка, лаяли привокзальные собаки, плакал ребенок. Я с вожделением думал о своей машине, стоявшей у собора, о том, как буду сидеть там в тишине с дорожной картой на коленях и курить сигарету.

Кто-то задел мой локоть в то время, как я пил, и сказал:

— Je vous demande pardon. ^[5] Я отодвинулся, чтобы ему было свободней, он обернулся, взглянул на меня, и, глядя в ответ на него, я

осознал с изумлением, страхом и странной гадливостью, которые слились воедино, что его лицо и голос были мне прекрасно знакомы.

Я смотрел на самого себя.

Глава 2

Мы оба молчали, продолжая пристально смотреть друг на друга. Я слышал, что такое бывает: люди случайно встречаются и оказываются родственниками, давно потерявшими друг друга, или близнецами, которых разлучили при рождении; это может вызвать смех, а может преисполнить печали, как мысль о Человеке в железной маске.

Но сейчас мне не было ни смешно, ни грустно — у меня засосало под ложечкой. Наше сходство вызвало в памяти те случаи, когда я неожиданно встречался в витрине магазина со своим отражением и оно казалось нелепой карикатурой на то, каким в своем тщеславии я видел сам себя. Это задевало, отрезвляло меня, обливало холодной водой мое эго, но у меня никогда при этом не ползали, как сейчас, по спине мурашки, не возникало желаний повернуться и убежать.

Первым нарушил молчание мой двойник:

— Вы случаем не дьявол?

— Могу спросить вас о том же, — ответил я.

— Минутку...

Он взял меня за руку и подтолкнул ближе к стойке; хотя зеркало позади нее запотело и местами его заслоняли бутылки и стаканы и надо было искать себя среди множества других голов, на его поверхности ясно были видны наши отражения — мы стояли неестественно вытянувшись, затаив дыхание, и со страхом всматривались в стекло, словно от того, что оно скажет, зависит сама наша жизнь. И в ответ видели не случайное внешнее сходство, которое тут же исчезнет из-за разного цвета глаз или волос, различия черт, выражения лица, роста или ширины плеч; нет, казалось, перед нами стоит один человек.

Он заговорил — и даже интонации его были моими:

— Я поставил себе за правило ничему не удивляться; нет причин делать из него исключения. Что будете пить?

Мне было все равно, на меня нашел столбняк. Он заказал две порции коньяка. Не сговариваясь, мы подвинулись к дальнему концу

стойки, где зеркало было не таким мутным, а толпа пассажиров не такой густой.

Словно актеры, изучающие свой грим, мы переводили глаза то на зеркало, то друг на друга. Он улыбнулся, я тоже, он нахмурился, я скопировал его, вернее, самого себя, он поправил галстук, я поправил галстук, и мы оба опрокинули в рот рюмки, чтобы посмотреть, как мы выглядим, когда пьем.

— Вы богатый человек? — спросил он.

— Нет, — сказал я. — А что?

— Мы могли бы разыграть номер в цирке или сколотить мильон в кабаре. Если ваш поезд еще не скоро, давайте выпьем еще.

Он повторил заказ. Никто не удивлялся нашему сходству.

— Все думают, что вы мой близнец и приехали на станцию меня встретить, — сказал он. — Возможно, так и есть. Откуда вы?

— Из Лондона, — сказал я.

— Что у вас там? Дела?

— Нет, я там живу. И работаю.

— Я спрашиваю: где вы родились? В какой части Франции?

Только тут я догадался, что он принял меня за своего соотечественника.

— Я англичанин, — сказал я, — так вышло, что я серьезно изучал ваш язык.

Он поднял брови.

— Примите мои поздравления, — сказал он, — я бы ни за что не подумал, что вы иностранец. Что вы делаете в Ле-Мане?

Я объяснил ему, что у меня сейчас последние дни отпуска, и коротко описал свое путешествие. Я сказал, что я историк и читаю в Англии лекции о его стране и ее прошлом.

Казалось, это его позабавило.

— И таким способом зарабатываете на жизнь?

— Да.

— Невероятно, — сказал он, протягивая мне сигарету.

— Но здесь у вас есть немало историков, которые делают то же самое, — запротестовал я. — По правде говоря, в вашей стране к образованию относятся куда серьезней, чем в Англии. Во Франции есть сотни преподавателей, читающих лекции по истории.

— Естественно, — сказал он, — но все они французы, и говорят они о своей родине. Они не пересекают Ла-Манш, чтобы провести отпуск в Англии, а затем вернуться сюда и читать о ней лекции. Я не понимаю, чем вас так заинтересовала наша страна. Вам хорошо платят?

— Не особенно.

— Вы женаты?

— Нет, у меня нет семьи. Я живу один.

— Счастливчик! — воскликнул он и поднял рюмку. — За вашу свободу, — сказал он. — Да не будет ей конца!

— А вы? — спросил я.

— Я? — сказал он. — О, меня вполне можно назвать семейным человеком. Весьма, весьма семейным, говоря по правде. Меня поймали давным-давно. И должен признаться, вырваться мне не удалось ни разу. Разве что во время войны.

— Вы бизнесмен? — спросил я.

— Владею кое-каким имуществом. Живу в тридцати километрах отсюда. Вы бывали в Сарте?

— Я лучше знаю страну к югу от Луары. Мне бы хотелось познакомиться с Сартом, но я направляюсь на север. Придется отложить до другого раза.

— Жаль. Было бы забавно... — Он не кончил фразы и вперился в свою рюмку. — У вас есть машина?

— Да, я оставил ее возле собора. Я заблудился, пока бродил по городу. Вот почему я здесь.

— Останетесь ночевать в Ле-Мане?

— Еще не решил. Не собирался. По правде сказать... — Я приостановился. От коньяка у меня в груди было тепло и приятно, да и какая важность — откроюсь я перед ним или нет, ведь я говорю сам с собой... — По правде сказать, я думал провести несколько дней в монастыре траппистов.

— Монастыре траппистов? — повторил он. — Вы имеете в виду цистерцианский монастырь неподалеку от Мортаня?

— Да, — сказал я. — Километров восемьдесят отсюда, не больше.

— Боже милостивый, зачем?

Он попал в самую точку. За тем же, за чем туда стремятся все остальные, — за милостью Божией. Во всяком случае, так я полагал.

— Я подумал, если я поживу там немного перед тем, как вернусь в Англию, — сказал я, — это даст мне мужество жить дальше.

Он внимательно смотрел на меня, потягивая коньяк.

— Что вас тревожит? — спросил он. — Женщина?

— Нет, — сказал я.

— Деньги?

— Нет.

— Попали в передрагу?

— Нет.

— У вас рак?

— Нет.

Он пожал плечами.

— Может быть, вы алкоголик, — сказал он, — или гомосексуалист? Или любите огорчения ради них самих? Плохи, должно быть, ваши дела, если вы хотите ехать к траппистам.

Я снова взглянул в зеркало поверх его головы. Сейчас впервые я заметил разницу между нами. Отличала нас не одежда — его темный дорожный костюм и мой твидовый пиджак, а непринужденность, с которой он держался, — ничего общего с моей скованностью. Я никогда так не смотрел, не говорил, не улыбался, как он.

— Дела мои в порядке, — сказал я, — просто я как личность потерпел в жизни фиаско.

— Как и все остальные, — сказал он, — вы, я, все эти люди здесь, в буфете. Все мы до одного потерпели фиаско. Секрет в том, чтобы осознать этот факт как можно раньше и примириться с ним. Тогда это больше не имеет значения.

— Имеет, и еще какое, — сказал я, — и я не примирился.

Он прикончил коньяк и взглянул на стенные часы.

— Вам вовсе не обязательно, — заметил он, — немедленно отправляться в монастырь. Перед добрыми монахами вечность, что им стоит подождать вас каких-то несколько часов. Давайте переберемся туда, где сможем пить с большим удобством, а может быть, и пообедать; будучи семейным человеком, я не стремлюсь домой.

Только теперь я вспомнил о незнакомце в машине, который окликнул меня на улице.

— Вас зовут Жан? — спросил я.

— Да, — сказал он. — Жан де Ге. А что?

— Кто-то принял меня за вас, тут, у вокзала. Какой-то субъект в машине окликнул меня. «Привет, Жан!» — крикнул он, а когда я сказал, что он ошибся, это, похоже, позабавило его: он подумал, что я — вернее, вы — не хочу, чтобы меня узнали.

— Ничего удивительного. Что вы сделали?

— Ничего. Он со смехом отъехал и крикнул, что мы увидимся в воскресенье.

— О да. *La chasse...* [6]

Мои слова, видимо, направили его мысли в новое русло, так как выражение его лица изменилось — хотел бы я узнать, что у него на уме, — голубые глаза подернулись непроницаемой пеленой, и я спросил себя: я тоже так выпляжу, когда какой-нибудь трудный вопрос всплывает из глубин моего сознания?

Он кивнул носильщику, терпеливо ожидающему с двумя чемоданами в руках за дверьми буфета.

— Вы сказали, что оставили машину у собора? — спросил он.

— Да.

— Тогда, если у вас найдется в ней место для моих чемоданов, мы можем вернуться туда и поехать куда-нибудь пообедать.

— Разумеется. Куда вам будет угодно.

Он расплатился с носильщиком, подозвал такси, и мы отъехали от вокзала. Это было похоже на странный сон. Как часто во сне я, тень, смотрел на самого себя, участвующего в призрачных событиях этого сна. Сейчас все это происходило наяву, а я ощущал себя таким же бестелесным, таким же безвольным...

— И он ничего не заподозрил?

— Кто?

Я вздрогнул; его голос, как голос пробудившейся совести, напугал меня: мы оба молчали с тех пор, как сели в такси.

— Человек, который окликнул вас возле вокзала.

— О да, абсолютно ничего. Я теперь вспоминаю, что он знал о вашей поездке, — он сказал, что она, видимо, была безуспешной. Это вам о чем-нибудь говорит?

— Еще как...

Я не стал развивать эту тему. Это меня не касалось. Я лишь взглянул на него украдкой — он так же украдкой смотрел на меня. Наши глаза встретились, но мы не улыбнулись друг другу, что было бы

естественно для людей, связанных узами сходства, и я вновь почувствовал холодный озноб, точно меня подстерегала опасность. Я отвернулся от него и стал глядеть в окно. В то время как такси завернуло за угол и остановилось у собора, раздался низкий, торжественный благовест ко всенощной. Этот неожиданный зов всегда глубоко меня трогал, задевал в моем сердце какие-то неведомые струны. Сегодня в громком, неудержимом звоне колоколов было предостережение. Мы вышли из такси. Медный лязг стал тише, перешел в глухой рокот, рокот — во вздохи, вздохи укоризны. В двери собора зашло несколько человек. Я открыл багажник. Мой спутник ждал, с интересом рассматривая машину.

— «Форд-консул», — сказал он. — Какого выпуска?

— Он у меня два года. Прошел около пятнадцати тысяч километров.

— Вы им довольны?

— Очень. Но я мало на нем езжу. Только на уик-энды.

Пока я укладывал его чемоданы, он жадно расспрашивал меня о машине.словно мальчишка, увидевший новую марку, он трогал переключатель скоростей, похлопывал по сиденьям, чтобы проверить пружины, касался пальцами коробки передач и указателя скорости и наконец, в полном восторге от машины, спросил, нельзя ли ему ее повести.

— Разумеется, можно, — сказал я, — вы знаете город лучше меня. Действуйте.

Он с уверенным видом сел за руль, я забрался на сиденье рядом. Отъезжая от собора и поворачивая на улицу Вольтера, он продолжал восторженно шептать: «Великолепно. Чудесно»; видно было, что он наслаждается каждой секундой езды, вернее, бешеной гонки, — сам я езжу весьма осторожно. Мы проскочили перекресток при красном свете, чуть не сбили с ног старика, прижали к обочине огромный «бьюик», к ярости сидевшего за рулем американца, и продолжали кружить по городу, чтобы, как объяснил мой спутник, проверить скорость моего «форда».

— Вы не представляете, — сказал он, — как забавно пользоваться чужими вещами. Это одно из самых больших моих удовольствий.

Я зажмурил глаза: мы огибали угол так, словно участвовали в авторалли.

— Но, быть может, — продолжал он, — вы уже умираете с голоду?

— Ну что вы, — пробормотал я. — Я в вашем распоряжении.

И тут же подумал, что французский слишком деликатный, слишком вежливый.

— Я хотел было отвезти вас в единственный ресторан, где можно прилично пообедать, — сказал он, — но передумал. Меня там знают, а я по некоторым соображениям предпочел бы остаться инкогнито. Не каждый день встречаешь самого себя.

Его слова вновь пробудили во мне то чувство неловкости, которое я испытал в такси. Ни один из нас не желал выставлять напоказ наше сходство. Я внезапно осознал, что не хочу быть увиденным с ним рядом. Не хочу, чтобы официанты пялили на нас глаза. Мне почему-то было стыдно, словно я делал что-то украдкой. Непривычное для меня чувство. Мы подъезжали к центру города, и он снизил скорость.

— Пожалуй, — сказал он, — я не вернусь сегодня домой, а заночую в отеле.

Казалось, что он думает вслух. Вряд ли он ждал от меня ответа.

— В конце концов, — продолжал он, — когда мы кончим обедать, будет слишком поздно звонить Гастону, чтобы он привел машину. Да они и не ждут меня.

Я сам придумывал такие же предлоги, чтобы отодвинуть встречу с чем-нибудь неприятным. Интересно, почему его не тянет домой?

— А вы, — сказал он, поворачиваясь ко мне в то время, как мы ждали у светофора, — может быть, вы все же передумаете и не поедете в монастырь? Вы тоже могли бы остановиться на ночь в отеле.

Голос его звучал странно. Казалось, он нащупывает путь к какой-то договоренности между нами, к какому-то решению проблемы, не вполне ясной для нас самих, и, когда он посмотрел на меня, взгляд его был испытующим и в то же время уклончивым, словно он что-то скрывал.

— Возможно, — ответил я. — Не знаю.

Перестав восторгаться машиной, погрузившись в себя, он пересек центр города, не останавливаясь у больших отелей, которые я заметил днем. Наконец мы оказались в районе серых, однообразных домов,

фабрик и складов. На убогих улицах то и дело попадались дешевые пансионы, сомнительные меблированные комнаты, отели, где не спрашивали паспорта и не задавали вопросов, если вы хотели провести там ночь или час.

— Здесь спокойней, — проговорил он, и я, как и прежде, не мог сказать, обращается ли он ко мне или думает вслух.

Но мне не очень-то понравился его выбор, когда мой спутник остановил машину перед облупленным домом, втиснутым между двумя другими, такими же грязно-коричневыми, как и он, над полуоткрытой дверью которого виднелась надпись из тусклых синих электрических лампочек: «Hotel. Tout confort», [7]предупреждая о том, что это за заведение.

— Иногда, — сказал он, — эти места полезны. Не всегда хочешь встретить знакомых.

Я ничего не ответил. Он выключил мотор и распахнул дверцу.

— Зайдете? — спросил он.

У меня не было никакого желания проникать в тайны удобств, о которых объявлялось более мелкими буквами под синей вывеской, но я вылез из машины и вытащил из багажника его чемоданы.

— Пожалуй, нет, — сказал я. — Вы зайдите, договоритесь о номере, если хотите. Я предпочитаю сперва пообедать, а уж потом решать, что делать дальше.

Меня больше прельщала мой маршрут на север: сперва в Мортань, затем по грунтовой дороге в монастырь траппистов.

— Ваше дело, — сказал он, пожав плечами, и, толкнув дверь, вошел внутрь.

Я закурил. На меня начал действовать коньяк, выпитый в буфете. Все происходящее казалось нереальным, в голове затуманилось, и я смятенно спрашивал себя, что я делаю здесь, на грязной боковой улочке Ле-Мана, зачем жду человека, который еще час назад был мне незнаком, который все еще оставался чужим, но при этом благодаря нашему случайному сходству распоряжается моим вечером, направляет его ход, кто знает, во благо или во зло. Я подумал, не сест ли мне потихоньку в машину и уехать и тем зачеркнуть эту встречу; занимательная сперва, она стала теперь казаться мне угрожающей, даже зловещей. Я уже было протянул руку, чтобы включить зажигание, как он вернулся.

— Все улажено, — сказал он. — Пошли поедим. Машина нам ни к чему. Я знаю хорошее местечко тут, на соседней улице, за углом.

Я не смог найти предлога избавиться от него и, презирая себя за слабость, тенью повлекся следом за ним.

Он привел меня в нечто среднее между рестораном и бистро. Вход был загроможден велосипедами — должно быть, там собирался клуб велосипедистов; внутри было полно подростков в ярких шерстяных фуфайках, они горланили и пели, а за столом кучка пожилых рабочих играла в кости. Мой спутник уверенно проложил нам путь сквозь шумную толпу, и мы сели за столик позади потрепанной ширмы; пронзительные голоса мальчишек наполовину заглушались хриплым радио.

Хозяин, он же официант и бармен, всунул мне в руки неудобочитаемое меню, и в тот же миг передо мной оказался стакан вина и тарелка супа, которых я не заказывал. Потолок слился с полом, время потеряло значение, но вот мой спутник наклонился ко мне через стол и поднял стакан со словами:

— За вашу поездку к траппистам.

Иногда четвертый бокал может временно рассеять туман, который образовался в голове после трех предыдущих, и, пока я ел и пил, лицо моего визави снова стало четким, в нем не было больше ничего таинственного, ничего пугающего, оно казалось ласковым и привычным, как собственное мое отражение, оно улыбалось, когда я улыбался, хмурилось, когда я хмурился; голос его — эхо моего голоса — вызывал меня на разговор, подталкивал к признаниям. И вот уже, сам не знаю как, я заговорил о своем одиночестве, о смерти, о пустоте моего внутреннего мира, о том, как трудно мне выйти из своей скорлупы, о неуверенности в себе, своей нерешительности, своих сомнениях, своей апатии...

— А там, в монастыре, — услышал я свой голос, — где монахи живут в безмолвии, у них должен быть на все это ответ, они должны знать, как заполнить вакуум, ведь они погрузились во мрак, чтобы достичь света, а я...

Я приостановился, стараясь точнее сформулировать свою мысль, — ведь то, что я хотел сказать ему, было жизненно важно для нас обоих.

— Другими словами, — продолжал я, — в монастыре, возможно, и не дадут мне ответа, но укажут, где надо его искать; хотя у каждого из нас свои проблемы и решение их тоже у каждого свое, как у каждого замка свой ключ, не объемлет ли их ответ все вопросы — точно так, как отмычка открывает все замки?

Его дерзкие голубые глаза были совершенно трезвы, в них отражалась та насмешка над собой, тот скепсис, которые бывали в моих на следующее утро после попойки. Мои признания явно забавляли его.

— Нет, мой друг, — сказал он. — Если бы вы знали о религии столько же, сколько я, вы бы убежали от нее, как от чумы. У меня есть сестра, которая ни о чем другом не думает. Жизнь научила меня одному: единственное, что движет людьми, это алчность. Мужчины, женщины, дети — для всех алчность первейший жизненный стимул. Хвалиться тут нечем, да что из того? Главное — утолить эту алчность, дать людям то, чего они хотят. Беда в том, что они никогда не бывают довольны.

Он вздохнул и налил себе еще вина.

— Вы жалуетесь, что ваша жизнь пуста, — сказал он. — Мне она кажется раем. Хозяин в собственной квартире, никаких семейных пут, никаких деловых обязательств, весь Лондон к вашим услугам, если вздумается поразвлечься, хотя лично мне он не показался веселым, когда я был выслан туда во время войны, — но, так или иначе, в большом городе ты всегда свободен. Он не душит тебя, как веревка на шее.

Голос его изменился, стал жестким, глаза гневно сверкали — впервые он показал, что и у него есть проблемы, которым он не хочет смотреть в лицо; он перегнулся ко мне через стол и сказал:

— Вы самый счастливый человек на свете — и вы недовольны. Вы говорили, что ваши родители умерли много лет назад, что нет никого, кто бы предъявлял на вас права. Вы абсолютно свободны, вы можете один вставать по утрам, один есть, один работать, один ложиться в постель. Поблагодарите судьбу и забудьте все эти плуности насчет траппистов.

Как все одинокие люди, я делался излишне словоохотливым, если ко мне проявляли симпатию и интерес. Я показал ему все тусклые уголки своего существования, о нем же не знал ничего.

— Ну что ж, — сказал я, — теперь ваша очередь исповедаться. В чем ваша беда?

На миг мне показалось, что он хочет ответить, что-то промелькнуло в его глазах — колебание, раздумье, — но тут же снова исчезло... он снисходительно улыбнулся, лениво пожал плечами.

— Моя? — сказал он. — Моя беда в том, что я слишком многим владею. Вернее, слишком многими. — И, закурив сигарету, он резко махнул рукой, предостерегая меня от дальнейших расспросов.

Я, если хотел, мог заниматься самим собой, мог исследовать свое дурное настроение, но к нему в душу вход был запрещен. Мы закончили с обедом, но не встали, а продолжали курить и пить. То и дело, заглушая хриплое пение по радио, до нас долетала болтовня и смех мальчишек-велосипедистов, скрип стульев и споры рабочих, играющих в кости.

Я молчал, нам больше не о чем было говорить. Все это время он не сводил с меня глаз, вызывая во мне странное чувство неловкости. Когда он сказал, что ему надо позвонить домой, встал и вышел из-за стола, мое напряжение ослабло, стало легче дышать. Но вот он вернулся, и я спросил: «Ну что?» — скорее из вежливости, чем из интереса, и он коротко ответил: «Я велел прислать за мной машину. Завтра». Позвав хозяина, он уплатил по счету, не обращая внимания на мои слабые протесты, а затем, подхватив меня под руку, протиснулся между поющими велосипедистами, и мы вышли на улицу.

Было темно, опять шел дождь. Улица казалась пустой. Нет ничего более унылого, чем окраина провинциального города в пасмурный вечер, и я пробормотал что-то насчет машины и отъезда и как замечательно было с ним повстречаться — настоящее приключение, но он, продолжая держать меня под руку, сказал:

— Нет, я не могу вас так отпустить. Слишком это необычно, слишком неправдоподобно.

Мы снова были у входа в его жалкий, тускло освещенный отель, и, заглянув в по-прежнему открытую дверь, я увидел, что за конторкой портье никого нет. Он тоже это заметил и, оглянувшись через плечо, сказал:

— Поднимемся ко мне. Выпьем еще по рюмочке, прежде чем вы уедете.

Голос его звучал настойчиво, он подгонял меня, словно нам нельзя было терять времени. Я запротестовал, но он чуть не силой повел меня вверх по лестнице, затем по коридору к дверям номера. Вытащил из кармана ключ, открыл дверь и зажег свет. Мы были в небольшой убогой комнатке. «Присаживайтесь, — сказал он, — будьте как дома», и я сел на кровать, так как единственный стул был занят открытым чемоданом. Он уже вынул из него пижаму, головные щетки и домашние туфли, и теперь, достав фляжку, наливал коньяк в стаканчик для полоскания рта. И снова, как это было в бистро, потолок опустился на пол и все происходящее стало казаться мне неизбежным, неотвратимым, я никогда не расстанусь с ним, а он со мной, он спустится следом по лестнице, сядет рядом в машину, никогда я не освобожусь от него. Он моя тень, или я его тень, и мы прикованы друг к другу навеки.

— Что с вами? Вам плохо? — спросил он, заглядывая мне в глаза.

Я встал, раздираемый двумя желаниями: одно — открыть дверь и спуститься вниз, другое — снова встать рядом с ним перед зеркалом, как мы стояли в станционном буфете. Я знал, что первое желание разумно, а второе чревато бедой, и все же я должен был это сделать, должен был вновь испытать то, что уже раз испытал. Вероятно, он догадался об этом, потому что мы повернули головы в один и тот же миг и уставились на свои отражения. Здесь, в небольшой тихой комнате, наше сходство казалось еще более противоестественным, более жутким, чем в переполненном шумном буфете, где звучали голоса людей и плавали клубы дыма, или в бистро, где я думал совсем о другом. Эта жалкая комната с темными обоями и скрипучим полом напоминала склеп; мы находились здесь вдвоем, отгороженные от всего мира, побег был невозможен. Он сунул стаканчик с коньяком в мои дрожащие пальцы, сам плотнул из горлышка, а затем сказал таким же нетвердым голосом, как у меня, а возможно, говорил я сам, а он слушал:

— Давайте поменяемся одеждой.

Я помню, что один из нас расхохотался в то время, как я грохнулся на пол.

Глава 3

Кто-то стучал в дверь, пробиваясь сквозь мрак в сознание; казалось, это никогда не прекратится; наконец я поднялся из бездонных глубин сна и крикнул: «Entrez!», [8] изумленно осматривая чужую комнату, которая постепенно становилась реальной, приобретала знакомые черты.

Держа в руках фуражку, в дверь вошел невысокий, приземистый мужчина в выцветшей старомодной форме шофера — куртка на пуговицах, бриджи и краги — и остановился на пороге. Его темно-карие глаза с сочувствием глядели на меня.

— Господин граф наконец проснулся? — сказал он.

Я, нахмурившись, посмотрел на него, затем снова окинул взглядом комнату: раскрытый чемодан на стуле, второй — на полу, через спинку в изножье кровати переброшено верхнее платье. На мне полосатая пижамная куртка, которую я видел в первый раз. На умывальнике — стаканчик и фляжка с остатками коньяка. Моей собственной одежды нигде не было видно, но я не помнил, чтобы я раздевался и убирал ее. В памяти сохранилось одно: как я стою перед зеркалом рядом с моим двойником.

— Кто вы? — спросил я шофера. — Что вам надо?

Он вздохнул, кинул понимающий взгляд на беспорядок, царивший в комнате.

— Господин граф хочет еще немного поспать? — спросил он.

— Господина графа здесь нет, — сказал я. — Он, должно быть, вышел. Который час?

События прошедшего вечера все ясней всплывали в памяти, и я припомнил, что в бистро мой спутник ходил звонить домой и приказал, чтобы на следующий день за ним прислали машину. Скорей всего, это его шофер, который только сейчас приехал и принял меня за своего хозяина. Взглянув на часы, он сказал, что уже пять часов.

— Пять часов? Быть этого не может, — сказал я и поглядел в окно. Было светло, снаружи доносился шум машин.

— Пять часов вечера, — повторил шофер. — Господин граф крепко спал весь день. Я жду здесь с одиннадцати утра.

В его словах не было упрека, он просто констатировал факт. Я приложил руку ко лбу — голова у меня трещала. Нащупал сбоку шишку, к ней нельзя было прикоснуться без боли, но дело было не в ней одной. Я подумал обо всем, что выпил накануне, и о том, последнем, стаканчике коньяка. А может быть, не последнем?.. У меня все изгладилось из памяти.

— Я упал, — сказал я шоферу, — и думаю, мне что-то подмешали в вино.

— Вполне возможно, — сказал он, — такие вещи случаются.

Голос его звучал участливо, как у старой нянюшки, успокаивающей ребенка. Я спустил ноги с кровати и уставился на пижамные штаны. Сидели они хорошо, но были не мои, и я абсолютно не помнил, как и когда их надел. Я протянул руку, дотронулся до жилета и брюк, висевших на спинке, — совсем другой фасон и материал, чем у меня, — и тут я узнал дорожный костюм моего вчерашнего компаньона.

— Куда делась моя одежда? — спросил я.

Шофер подошел к кровати и, сняв костюм, накинул пиджак на спинку стула и разгладил рукой брюки.

— Господин граф, видимо, думал о чем-то другом, когда раздевался, — заметил он и улыбнулся мне.

— Нет, — сказал я, — эти вещи не мои. Они принадлежат вашему хозяину. Возможно, мои там, в платяном шкафу.

Он поднял брови и поджал губы, сморщив лицо в гримасу, как взрослый, потакающий ребенку, и, пройдя через комнату, распахнул дверцы шкафа. Шкаф был пуст.

— Выдвиньте ящики, — сказал я.

Но и там ничего не оказалось. Я встал с постели и принялся рыться в чемоданах, в том, что стоял на стуле, и в том, что был на полу. В них были вещи моего вчерашнего товарища. Только тут я осознал, что, напившись, мы, должно быть, обменялись одеждой — глупая, безрассудная выходка, одна мысль о которой была мне противна, и я поспешил отогнать ее от себя, не желая вспоминать о вчерашних событиях.

Я подошел к окну и выпянул на улицу. Перед входом стоял «рено». Моя машина исчезла.

— Вы не видели мою машину, когда приехали? — спросил я шофера.

Тот озадаченно взглянул на меня.

— Господин граф купил новую машину? — удивился он. — Здесь не было никаких машин сегодня утром.

Его упорный самообман действовал мне на нервы.

— Нет, — сказал я, — я ничего не покупал, я говорю о своей старой машине, о своем «форде». И я не господин граф. Господин граф ушел в моей одежде. Узнайте, не оставил ли он у портье для меня записки. Видно, и машину мою взял тоже он. С его стороны это шутка, но лично мне она не кажется смешной.

В глазах шофера возникло новое выражение. Он глядел на меня встревоженно, огорченно.

— Мы можем не спешить, — сказал он, — если господину графу хочется еще отдохнуть.

Он подошел ко мне и, протянув руку, осторожно пощупал мне лоб.

— Хотите, я схожу в pharmacie? ^[9] — спросил он. — Больно, когда я здесь трогаю?

Я понимал, что надо запастись терпением и держать себя в руках.

— Вы не попросите портье подняться сюда? — сказал я.

Он вышел и стал спускаться по лестнице, а я снова осмотрел комнату, но нигде — ни в платяном шкафу, ни в ящиках туалетного столика, ни на столе — не обнаружил ни одной своей вещи, ничего, что помогло бы мне доказать, кто я такой. Одежда моя исчезла, а с ней бумажник, паспорт, деньги, записная книжка, ключи, вечное перо, все мелочи, которые я обычно ношу с собой. Хоть бы запонка или булавка для галстука... Нет, все здесь принадлежало ему. На крышке чемодана лежали его щетки с инициалами «Ж. де Г.», меня ждал его костюм, туфли, бритвенные принадлежности, мыло, губка, а на туалетном столике — бумажник с деньгами, визитные карточки, где было напечатано: «Le Comte de Gué», ^[10] а в нижнем левом углу: «St. Gilles, Sarthe». ^[11] В тщетной надежде откопать хоть что-нибудь принадлежащее мне, я перерыл второй чемодан, но не нашел ничего — лишь его носильные вещи, дорожные часы, складной бювар, чековую книжку и несколько завернутых в бумагу пакетов, похожих на подарки.

Я снова сел на кровать, обхватив голову руками. Мне оставалось только ждать. Скоро он вернется. Он должен вернуться. Он забрал мою машину, и стоит мне пойти в полицию, назвать ее номер и заявить о пропаже бумажника с деньгами, туристского чека и паспорта — и мой двойник будет найден. Тем временем... тем временем — что?

Вернулся шофер, а с ним засаленный субъект вороватого вида — должно быть, портье, а возможно, сам хозяин. В руке он держал листок бумаги, и, когда он протянул его мне, я увидел, что это счет: с меня причиталась плата за номер на одного, сданный на сутки.

— Вы чем-то недовольны, господин? — спросил он.

— Где тот джентльмен, с которым я был этой ночью? — спросил я. — Кто-нибудь утром видел, как он выходил?

— Вы были один, когда снимали вчера комнату, — ответил человек, — а с кем вы вернулись сюда вечером, я сказать не могу. Мы здесь в чужие дела не лезем, мы клиентам вопросов не задаем.

В подобострастном тоне я уловил фамильярные, даже презрительные нотки. Шофер уставился в пол. Я заметил, как хозяин, или кто он там был, взглянул на смятую постель, затем на фляжку с коньяком на умывальнике.

— Придется заявить в полицию, — сказал я.

У хозяина сделался испуганный вид.

— Вас ограбили? — спросил он.

Шофер оторвал глаза от пола и, все еще держа фуражку в руках, подошел, и встал рядом со мной, точно желая защитить.

— Лучше не нарываться на неприятности, господин граф, — тихо сказал он. — Ничего хорошего из этого не выйдет. Час-другой, и вы придете в себя. Позвольте, я помогу вам одеться, и мы поскорей вернемся домой. Связываться с таким человеком в таком месте, как это, себе дороже, вы знаете это не хуже меня.

И тут я не выдержал. Я подумал о том, как глупо я выпляжу, сидя на постели в этой грязной комнатенке, облаченный в чужую пижаму, принятый за другого, словно персонаж фарса в мюзик-холле, жертва шутки, без сомнения, забавной для того, кто ее придумал, но отнюдь не для меня. Хорошо же. Если он решил поставить меня в дурацкое положение, я отплачу ему тем же. Я надену его одежду, сяду в его машину и буду гнать ее как безумный — что он, вероятно, делает

сейчас с моей, — пусть меня арестуют; тут уж ему придется вернуться и объяснить, если сможет, свой бессмысленный поступок.

— Прекрасно. Выйдите отсюда и оставьте меня одного, — сказал я шоферу.

Он вышел, хозяин вместе с ним; с возмущением, к которому примешивалась странная брезгливость, я протянул руку к костюму и принялся одеваться.

Когда я был готов, я побрился его бритвой и причесался его щетками; в моем отражении, глядевшем на меня из зеркала, что-то неуловимо изменилось. Мое «я» исчезло. Передо мной стоял человек, называвший себя Жан де Ге, в точности такой, каким я увидел его впервые, когда вчера вечером в станционном буфете он нечаянно меня толкнул. Смена одежды привела к перемене личности: казалось, плечи мои стали шире, голову я держал выше, даже выражение глаз было его. Я через силу улыбнулся, и отражение в зеркале улыбнулось мне в ответ — небрежная усмешка, подхлотившая к подложенным плечам его пиджака и галстуку бабочкой, — ничего подобного я никогда в жизни не носил. Я извлек из кармана его бумажник и пересчитал банкноты. Там оказалось около двадцати тысяч франков, а на туалетном столике лежало немного мелочи. Я обшарил все отделения: вдруг он оставил записку, несколько нацарапанных наспех строчек, объясняющих шутку, которую он со мной сыграл? Пусто, ни единого слова, никаких доказательств того, что он вообще заходил в эту комнату, был в этом отеле.

Я распалялся все больше. Я предвидел бесчисленные объяснения, которые буду вынужден давать в полиции, слышал ушами полицейских мою бессвязную, запутанную историю, которая им скоро наскучит, понимал их нежелание идти со мной в станционный буфет и быстро, где мы обедали накануне, чтобы получить подтверждение моим словам о том, что вчера там были вместе два человека, как две капли воды похожих друг на друга. Как он, должно быть, смеется сейчас надо мной, этот Жан де Ге, сидя за рулем моей машины, направляясь куда глаза глядят — на север, на юг, на запад или на восток — с туристским чеком на двадцать пять долларов, по которому еще не получены деньги, и наличными, что еще остались у меня в карманах; а возможно, он сейчас в кафе, читает с этой его ленивой усмешкой мои записки для лекции. Ему все это кажется забавным; ему

ничто не мешает смаковать свою шутку, ехать куда захочет, вернуться, когда шутка приестся; а я все это время буду торчать в полицейском участке или консульстве, пытаюсь заставить чиновников разобраться в моей истории, которой они, скорее всего, вообще не поверят.

Я положил туалетные и бритвенные принадлежности обратно в чемодан, туда же сунул пижаму и, спустившись, попросил человека за конторкой снести вниз вещи из комнаты. Он по-прежнему поглядывал на меня с таким видом, словно смеялся про себя надо мной, словно между нами было какое-то соглашение не совсем пристойного свойства, и я спросил себя, уж не является ли это место убежищем Жана де Ге, куда он обычно приходит тайком для один бог знает каких randevu... А когда я расплатился по счету и он последовал за мной с багажом к древнему «рено», где нас ожидал шофер, я понял, что сделал первый шаг на пути к обману; тем, что я не протестовал, не обратился сразу же в полицию, надел чужое платье и хотя бы в течение получаса выдавал себя за Жана де Ге, я разделил с ним вину. Я стал соучастником своего двойника, а не обвинителем.

Шофер уже уложил багаж и теперь стоял у машины, придерживая дверцу.

— Господину графу лучше? — спросил он тревожно.

Я мог ответить: «Я не господин граф. Немедленно отвезите меня в полицию», но я этого не сказал. Я сделал второй решающий шаг: сел за руль «рено» — модель, которая случайно была мне знакома, так как в прежние времена, если я не приезжал на своем «форде», я обычно брал внаем машину этой марки и ездил на ней в интересующие меня места в окрестностях того городка или деревни, где я останавливался. Шофер сел рядом со мной. Я тронулся с места, мечтая поскорей оставить позади этот обшарпанный подозрительный отель, чтобы больше никогда в жизни его не видеть, и, подстегиваемый гневом и отвращением к самому себе, свернул на первую дорогу, которая вела из Ле-Мана к шоссе, уходящему в поля и леса, прочь от города и того, что случилось там прошлой ночью. Вчера он чуть не загнал мой бедный «форд» — чужого не жалко, — сейчас я мог воздать ему с лихвой. Я небрежно нажал на акселератор, и старенькая машина рванулась вперед. Что бы с ней ни случилось, думал я, неважно — она не моя. Я ни за что не отвечаю, осудят Жана де Ге. Если я намеренно переверну машину на обочине, это будет его вина, а не моя.

Я внезапно рассмеялся, и сидевший рядом со мной шофер сказал:
— Так-то лучше. Пока мы были в Ле-Мане, я боялся, уж не заболел ли господин граф; хорошенькое было бы дело, если бы вас нашли в этом отеле. Я расстроился вчера вечером, когда вы приказали заехать за вами туда. Слава Богу еще, что господин Поль был очень занят и не поехал за вами сам.

И тут я пропустил свой третий шанс. Я мог бы остановить машину и сказать ему: «Это зашло слишком далеко. Отвезите меня обратно в Ле-Ман. Я никогда не слышал ни о каком господине Поле, я могу доказать это вам и полицейским». А вместо этого я увеличил скорость, чтобы перегнать идущие впереди машины. Я не думал об опасности, мной владело незнакомое прежде чувство вседозволенности: что бы я ни сделал, я выйду сухим из воды. На мне чужая одежда, я веду чужую машину, я могу поступать как хочу, меня никто не призовет к ответу, мне все сойдет с рук. Впервые в жизни я был свободен.

Мы, должно быть, проехали по шоссе около двадцати пяти километров, когда впереди показалась деревня; я сбавил скорость. Промелькнула доска с названием, но, не взглянув на нее, я проскочил деревню насквозь и только устремился вперед, как шофер сказал:

— Вы сбились с пути, господин граф.

И я понял, что от судьбы не уйдешь. Отступить было поздно. По странной игре случая я оказался в этот день, в этот час и в эту минуту на этой дороге, в этой точке на карте, в самом сердце неведомого мне края в стране, которую я, чужестранец, всю жизнь мечтал понять. Впервые мне стал ясен смысл шутки, как видел ее Жан де Ге, когда оставил меня спящим в отеле Ле-Мана, впервые я взглянул его глазами на забавное стечение наших обстоятельств.

«Единственное, что движет людьми, — это алчность, — сказал он мне, — главное — утолить эту алчность, дать людям то, чего они хотят». Он дал мне то, о чем я просил, — шанс сделаться здесь своим. Он одолжил мне свое имя, свои вещи, свою личность. Я говорил, что моя жизнь пуста, он отдал мне свою. Я жаловался, что потерпел фиаско, он снял с меня это бремя, когда забрал мою одежду, мою машину и уехал. Какой бы груз мне ни пришлось теперь нести вместо него, это не имеет значения, ведь груз этот не мой. Подобно актеру, рисующему морщины на молодом лице, чтобы спрятаться за маской

своего персонажа, я мог зачеркнуть свое прежнее, неуверенное, мнительное, до смерти надоевшее мне «я», забыть о его существовании, а новое «я» по имени Жан станет жить без забот и тревог, ни за что не неся ответа, ведь что бы этот ложный Жан де Ге ни сделал, какое безрассудство ни совершил, настоящий Джон от этого не пострадает.

Все это промелькнуло в моем сознании, вернее, в подсознании, когда я снижал скорость перед деревней. Будущее мое было в руках чужих, неизвестных мне людей, начиная с сидящего рядом шофера, который минуту назад сказал мне, что я сбился с пути, — возможно, это были вещи слова.

— Верно, — кивнул я, — ведите машину вы.

Он вопросительно взглянул на меня, но ничего не сказал, и мы молча поменялись местами. Шофер повернул машину обратно к деревне и, немного до нее не доехав, свернул налево, оставив шоссе позади.

Мне больше не надо было показывать машине дорогу, и я ссутулился на сиденье — манекен без единой мысли в голове. Вздвигнутость, нервная лихорадка постепенно исчезли. Пусть делают что хотят, я их не боюсь; кого «их» — я не трудился себя спросить.

За нашей спиной садилось солнце, и чем дальше мы ехали, тем тесней нас обступали поля, тем глубже мы погружались в безмолвие. Среди розовых от заката нив расплывчатыми пятнами, точно оазисы, лежали одинокие фермы. Поля уходили к горизонту — необъятная ширь, прекрасная, как океан в первые дни творения; золотые плюмажи аспарагуса по обочинам узкой извилистой дороги колыхались, как волосы русалок. Все казалось смутным, нереальным. Как во сне, плыла мимо серая стерня и похожие на камыш стебли обезглавленных подсолнухов, которые с первыми осенними морозами свалятся друг на друга. Массивные, плотные стога сена с белыми прожилками, обычно резко очерченные на фоне неба, сливались с землей, словно из небытия возникали длинные ряды тополей с трепещущими и падающими листьями и вновь исчезали. Призрачные деревья, высокие, стройные, смыкали свои ветви над головой крестьянки, устало бредущей в какое-то неведомое мне место. Повинуясь внезапному порыву, я попросил шофера остановить машину и постоял несколько мгновений, вслушиваясь в тишину; за

спиной закатывалось кроваво-красное солнце, поднимался белесый туман. Верно, ни один путник, впервые проникший в неведомые, не нанесенные на карту края, не чувствовал себя так одиноко, как я, стоя на пустынной дороге. От земли исходило спокойствие и безмятежность. Ее столетиями месили и лепили, придавая теперешнюю форму, ее попирала тяжелой стопой история, ею кормились, на ней жили и умирали многие поколения мужчин и женщин, и ничто — ни слова наши, ни поступки, не могло нарушить ее глубокий покой. Он окутывал меня со всех сторон, и на один краткий миг здесь, среди узорчатых полей, под темнеющим небом, я был близок — но насколько, спросил я себя — к ответу на то, как покончить с сомнениями, душевной смутой и страхами, ближе, чем был бы, последуй я первому побуждению и отправься в монастырь траппистов.

— Господину графу не очень-то хочется возвращаться домой, — раздался голос шофера.

Я взглянул на его доброе, честное лицо; в глубине его карих глаз я прочитал сочувствие и мягкую насмешку; так смотрит человек, который горячо любит своего хозяина, который будет сражаться и умрет за него, но не побоится сказать ему, что он сбился с пути, если это случится. Никогда еще, подумал я, я не видел преданности в обращенных ко мне глазах. Его сердечность вызвала у меня ответную улыбку, но я тут же вспомнил, что любит-то он не меня, а Жана де Ге. Я снова сел в машину с ним рядом.

— Не всегда легко, — сказал я, повторяя слова, сказанные мне накануне, — быть семейным человеком.

— Что верно, то верно, — со вздохом отозвался шофер, пожимая плечами. — В таком доме, как ваш, столько проблем, а кому, кроме вас, их решать? Иногда я спрашиваю себя: как господину графу удастся избежать катастрофы?

Такой дом, как мой?.. Дорога взбежала на гребень холма, и я увидел на столбе указатель, предупреждающий, что впереди находится деревня Сен-Жиль. Мы проехали мимо старинной церквушки, мимо маленькой, усыпанной песком площади, окруженной редкими, изъеденными временем домами, среди них — бакалейная лавка, мимо табачного ларька и заправочной станции и, свернув налево по липовой аллее, пересекли узкий мост. И тут

чудовищность того, что я делаю, что уже сделал, оглушила меня, словно удар по голове. Волна дурных предчувствий, да что там — ужаса, нахлынула и целиком поглотила меня. Я узнал значение слова «паника» в его полном смысле. У меня было лишь одно желание — бежать, спрятаться, укрыться где угодно, в канаве, в норе, лишь бы избегнуть роковой встречи с замком, который неотвратимо приближался ко мне; вот уже впереди показались увитые плющом стены, под последним умирающим лучом солнца зажглись оконца в двух передних башнях. Машина запрыгала по деревянному мостику через ров, в котором некогда, возможно, была вода, но теперь виднелись лишь сорняки и крапива, и, проскочив в открытые ворота, описала полукруг по гравиевой подъездной дорожке и встала перед входом. Нижние окна, уже закрытые ставнями на ночь, что придавало фасаду замка какой-то ущербный, мертвый вид, выходили на узкую террасу, и в то время, как я все еще сидел неподвижно в машине, не решаясь выйти, в единственных дверях появился какой-то мужчина и остановился, поджидая меня.

— А вот и господин Поль, — сказал шофер. — Если он станет спрашивать меня, я скажу, что у вас были в Ле-Мане дела и я захватил вас из Hôtel de Paris. [\[12\]](#)

Он вышел из машины, я медленно вылез следом за ним.

— Гастон, — раздался голос с террасы. — Не убирайте машины, она мне понадобится. В «ситроене» что-то испортилось.

Мужчина взглянул на меня, облокотившись о балюстраду.

— Ну как? — спросил он. — Ты не очень-то торопился.

Он не улыбался.

Мое принужденное приветствие замерло у меня на губах, и, как преступник, стремящийся уйти от преследования в любое укрытие, я попытался спрятаться за машиной. Но шофер — значит, его зовут Гастон — уже вынул из багажника чемоданы и оказался у меня на пути. Я стал взбираться по ступеням, подняв глаза навстречу первому пронизывающему взгляду незнакомца; судя по тому, что он обратился ко мне на «ты», это, несомненно, был кто-то из родственников. Я увидел, что он ниже, худощавее, наверное, моложе меня, но вид у него изможденный, точно он переутомлен или болен, страдальческие морщины у рта говорили о недовольстве жизнью. Подойдя к нему, я остановился, ожидая, чтобы он сделал первый шаг.

— Мог бы и позвонить, — сказал он. — Из-за тебя отложили обед. Франсуаза и Рене заявили, что ты попал в катастрофу. Я сказал, что это маловероятно, скорее всего ты коротаешь время в баре отеля. Мы попытались связаться с тобой, но в отеле нам ответили, что тебя там не видели. После чего, разумеется, начались обычные жалобы.

От удивления я лишился языка: он ничего не заподозрил, хотя мы стояли лицом к лицу. Не знаю, чего я ожидал. Возможно, недоверчивого, более пристального взгляда, того, что внутренний голос шепнет ему: он не тот, за кого себя выдает. Он осмотрел меня с головы до ног, затем рассмеялся невеселым раздраженным смехом.

— Ну и видик у тебя! — сказал он.

Когда незадолго перед тем Гастон мне улыбнулся, его непривычное для меня дружелюбие принесло мне незаслуженную радость. Сейчас, впервые в жизни, я ощутил неприязнь к себе. Результат был странным, я обиделся за Жана де Ге. Чем бы он ни вызвал эту враждебность, я был на его стороне.

— Благодарю тебя, — сказал я. — Твое мнение меня не волнует. Если хочешь знать, я чувствую себя великолепно.

Он повернулся на каблуках и вошел в дверь; Гастон с улыбкой перехватил мой взгляд. И я понял, что, как ни удивительно, я ответил именно так, как от меня ожидали, и местоимение «ты», с которым раньше я ни к кому не обращался, слетело с моих губ вполне естественно, без малейших усилий.

Я последовал за мужчиной по имени Поль в дом. Холл был небольшой и на удивление узкий; за ним шло другое, более просторное помещение, где я увидел винтовую лестницу, ведущую на верхние этажи. До меня донесся чистый, холодный запах мастики, не имеющий никакого отношения к выцветшим шезлонгам, сложенным в кучу у стены в непосредственной и довольно странной близости к креслам в стиле Людовика XVI. В дальнем конце этого второго холла между двумя дверьми возвышался большой, изящный, желобчатой выделки шифоньер — из тех, что стоят в музеях, отгороженные от публики веревкой, — а напротив него на оштукатуренной стене висела почерневшая от времени картина — распятие Христа. Из одной, полуоткрытой, двери доносились приглушенные голоса.

Поль прошел через холл и, не заходя, крикнул:

— Вот наконец и Жан! — В его тоне опять прорвалось раздражение, впрочем он и раньше не пытался его скрыть. — Я уезжаю, и так опоздал, — продолжал он, затем, снова взглянув на меня, бросил: — Я вижу, ты не в форме, вряд ли ты сможешь сказать мне сегодня что-нибудь путное. Обсудим дела утром.

Он повернулся и вышел в ту же дверь, через которую мы вошли.

Гастон, неся чемоданы, поднимался по лестнице, и я подумал было, не пойти ли мне за ним, но тут у меня за спиной раздался высокий женский голос:

— Ты там, Жан?

Голос звучал недовольно, и опять шофер бросил на меня сочувственный взгляд. Медленно, не в силах оторвать от пола ноги, я переступил порог и окинул комнату беглым взглядом. Просторная, на стенах обои, на окнах — тяжелые портьеры, торшеры под уродливыми абажурами с бисерной бахромой, затемняющей свет, с высокого потолка, поблескивая под пологом пыли, свисает изумительной красоты люстра, незажженная, со сломанными свечами. В единственное, от самого пола, окно, еще не закрытое ставнями, виднеется огромный заросший луг, уходящий к рядам деревьев, почти под самым окном щиплют траву черно-белые коровы — в сгущающихся сумерках они были похожи на привидения.

В комнате сидели три женщины. Когда я вошел, они подняли на меня глаза, и одна из них, такого же роста, что я, тонкогубая, с жесткими, четко очерченными чертами и узлом зачесанных назад волос, тут же поднялась и вышла. Вторую, черноглазую и черноволосую, можно было бы назвать хорошенькой, даже красивой, если бы ее не портил желтоватый, болезненный цвет лица и недовольно надутые губы; она молча следила за мной с дивана, где сидела с шитьем, а может быть, вышиванием в руках, и, когда первая женщина поднялась с места, окликнула ее через плечо, не поворачивая головы:

— Если уж тебе обязательно надо уйти, Бланш, будь добра, закрой дверь. Вам, возможно, все равно, а я боюсь сквозняков.

У третьей женщины были тусклые, бесцветные белокурые волосы. Вероятно, когда-то она была привлекательной, да и сейчас, глядя на ее мелкие точеные черты и голубые глаза, было бы трудно отказать ей в миловидности, если бы капризное, раздраженное,

разочарованное выражение лица не портило его прелести. При виде меня она сердито усмехнулась, в точности как этот мужчина — Поль, затем, встав, направилась ко мне по начищенному паркету.

— Я вижу, ты не собираешься нас поцеловать, — сказала она.

Глава 4

Я наклонил голову и поцеловал ее в обе щеки, затем, по-прежнему молча, пересек комнату и тем же манером поцеловал вторую женщину. Первая, та, белокурая, голубоглазая, — это она окликнула меня, когда я был в холле, я узнал ее голос, — подошла ко мне и, взяв под руку, подвела к камину, где тлело одно большое полено.

— И тебе не стыдно? — сказала она, обращаясь ко мне на «ты», как до нее Поль. — Мы тут места себе не находим — вдруг ты попал в аварию, но тебе, естественно, не до нас. Что ты делал весь день? Почему не остановился в отеле «Париж»? Полю ответили по телефону, что тебя вообще там не видели. Я начинаю думать, что ты делаешь все это нарочно, чтобы напугать нас, чтобы мы представили самое худшее.

— А какое оно, это самое худшее? — спросил я.

Я ответил ей без промедления, и это подняло во мне дух. То, что происходило в этом сне, вернее, кошмаре, не имело ничего общего с моим прошлым, мой жизненный опыт помочь тут не мог. И как бы чудовищно ни было то, что я скажу или сделаю, этим людям придется принять все как должное.

— Ты прекрасно знаешь, что мы не можем не волноваться, — сказала белокурая женщина, отпуская мою руку и слегка отталкивая меня. — Когда ты уезжаешь из дому, ты способен на что угодно и думаешь только о себе. Ты слишком много говоришь, слишком много пьешь, слишком быстро ведешь машину.

— Другими словами, ни в чем не знаю меры, — прервал я.

— Не знаешь жалости к нам.

— Ах, оставь его в покое, — вмешалась вторая женщина. — Неужели ты не видишь, что он не собирается ничего тебе рассказывать? Ты попусту теряешь время.

— Спасибо, — сказал я.

Она подняла глаза от работы и бросила на меня понимающий взгляд. Возможно, мы были союзниками. Интересно, кто она? Она ничем не походила на Поля, хотя оба были темноволосыми и

темноглазыми. Белокурая женщина вздохнула и снова села. Только теперь, глядя на ее фигуру, я понял, что она ждет ребенка.

— Мог бы, по крайней мере, рассказать нам о том, что произошло в Париже, — проговорила она. — Или это тоже должно остаться тайной?

— Понятия не имею о том, что произошло в Париже, — небрежно ответил я. — Я страдаю потерей памяти.

— Ты страдаешь от перепоя, — сказала она. — От тебя несет. Самое лучшее, что ты можешь сделать, лечь в постель и проспаться. Не подходи к Мари-Ноэль, у нее небольшой жар, вдруг что-нибудь заразное. В деревне у кого-то из детей корь, и если я ее подхвачу... — она приостановилась и многозначительно посмотрела на нас, — сами можете представить, что будет.

Я продолжал стоять спиной к камину, спрашивая себя, как мне отсюда ускользнуть и найти свою спальню. Чемоданы-то я узнаю, правда, если их уже не распаковали. Даже в этом случае где-то, в какой-то из комнат, лежат щетки с инициалами «Ж. де Г.». Постель была убежищем, там я мог все обдумать, составить какие-то планы. А может быть, я больше не хочу ничего обдумывать и составлять планы? Из моего горла вырвался произвольный смех.

— Что еще? — спросила белокурая женщина; в ее недовольном, плачущем голосе обида боролась с возмущением.

— Невероятная ситуация, — сказал я. — Ни одна из вас даже представить себе не может, до какой степени невероятная.

То, как свободно я произнес эти слова, сделало чудеса, я снова стал самим собой. Так, верно, чувствует себя невидимка или чревовещатель.

— Не вижу ничего смешного в том, что я могу заразиться, — сказала белокурая женщина, — особенно сейчас. Мне не очень улыбается произвести на свет слепого ребенка или калеку, а это может случиться с любой женщиной в моем положении, если она заболит корью. Или ты имел в виду Париж? Там невероятная ситуация? Надеюсь, ради всех нас, что тебе удалось прийти к какому-то соглашению, хотя поверить этому трудно.

В ее вопрошающих глазах была укоризна. Я взглянул на вторую женщину. Ее лицо изменилось, бледные щеки залила краска, усилив ее красоту, но вид у нее был настороженный, и, прежде чем снова

опустить взор на свою работу, она чуть заметно покачала головой, словно предупреждая о чем-то. Да, они с де Ге, несомненно, были союзниками, но в чем? И в каком родстве находились все трое? Неожиданно я решил сказать им правду, чтобы испытать собственное мужество и удостовериться, что я еще в здравом уме.

— На самом деле, — начал я, — я вовсе не Жан де Ге. Я встретился с ним в Ле-Мане прошлым вечером, и мы поменялись одеждой, и он исчез, уехал в моей машине бог знает куда, а я оказался здесь вместо него. Согласитесь, что это невероятная ситуация.

Я ожидал какой-нибудь вспышки от белокурой женщины, но она только снова вздохнула, глядя на тлеющее в камине полено, и, не обращая больше на меня внимания, зевнув, повернулась к брюнетке:

— Поль поздно вернется сегодня? Он мне ничего не сказал.

— После обеда в Ротари-клубе? Конечно, поздно, — ответила та. — Ты видела, чтобы он хоть раз вернулся оттуда рано?

— Вряд ли он получит удовольствие от этого обеда, — сказала первая, — он и так был не в духе, а то, в каком виде Жан приехал домой, не улучшит его настроение.

Ни одна из них не смотрела на меня. Мои слова они сочли бестактной шуткой, такой плоской, что она не стоила ни внимания, ни ответа. Это показывало, насколько глупок был их самообман. Я мог вести себя как угодно, что угодно говорить и делать, они просто будут думать, будто я навеселе или спятил. Трудно описать охватившее меня чувство. Бешеная гонка на «рено» вызвала лишь легкое опьянение, теперь же, когда я прошел проверку — разговаривал с родными моего двойника, даже целовал их, и они ничего не заподозрили, — ощущение моего могущества захлестнуло меня целиком. Я мог, если бы захотел, причинить этим чужим мне людям неисчислимый вред, перевернуть их жизнь, перессорить друг с другом, и мне было бы все равно, ведь для меня они куклы, посторонние, в моем истинном существовании им места нет. Интересно, сознавал ли Жан де Ге, когда оставлял меня спящим в отеле Ле-Мана, какой опасности он их подвергает? Может быть, на самом деле его поступок вовсе не был легкомысленной выходкой, может быть, им руководило сознательное желание, чтобы я разрушил его семью и дом, которые, по его словам, держат его в плену.

Я почувствовал на себе взгляд черноволосой женщины — мрачный, подозрительный взгляд.

— Почему вы не подниметесь наверх, как предложила Франсуаза? — сказала она.

Она держалась странно. Казалось, она боится, как бы я не сказал что-нибудь невпопад, и хочет, чтобы я поскорей ушел.

— Прекрасно, — сказал я. — Ухожу. — И затем добавил: — Вы обе были правы. Я слишком много выпил в Ле-Мане. Провалился бесчувственной колодой в отеле весь день.

То, что это была правда, придавало особую пикантность обману. Женщины пристально смотрели на меня. Обе молчали. Я пересек комнату и через полуотворенную дверь вышел в холл. Я услышал, как за моей спиной женщина по имени Франсуаза разразилась потоком слов.

В холле было пусто. Я задержался у второй двери по другую сторону шифоньера — до меня донеслись приглушенные звуки: лилась вода, бренчала посуда — видимо, где-то там была кухня. Я решил подняться по лестнице. Первый ее марш привел меня к длинному коридору, идущему в обе стороны от площадки; следующий пролет вел на третий этаж. Я остановился в нерешительности, затем повернул налево. Коридор освещала одна тусклая лампочка без абажура. Я шел крадучись вдоль стены, и меня все сильнее билась нервная дрожь. Под ногами скрипели половицы. Подойдя к самой дальней двери, я протянул руку и приоткрыл ее. За дверью было темно. Я нащупал выключатель. При свете вспыхнувшей лампы я увидел высокую мрачную комнату: окна были закрыты темно-красными портьерами, над узкой односпальной кроватью, покрытой таким же темно-красным покрывалом, висела большая репродукция «Ессе Ното» ^[13] Гвидо Рени. По форме комнаты я понял, что она расположена в одной из башен, полукруглые окна образовывали нечто вроде алькова, и это углубление было приспособлено для молитвы: здесь висело распятие, стояла чаша со святой водой, скамеечка для коленопреклонения. Ничто не украшало эту крошечную келью. В остальной части комнаты я увидел кроме тяжелого комода и платяного шкафа бюро и стол со стульями — не очень уютное сочетание спальни и гостиной. Напротив кровати была еще одна картина на религиозный сюжет — репродукция «Бичевания Христа»,

на стене у двери, возле которой я стоял, другая — «Христос, несущий крест». Мне стало зябко, казалось, здесь никогда не топят. Даже запах здесь был неприятный: смесь мастики и пыли от тяжелых портьер.

Я погасил свет и вышел. Идя по коридору, я увидел, что за мной следили. С верхнего этажа спустилась какая-то женщина и теперь, остановившись на площадке, смотрела на меня.

— *Bonsoir, monsieur le comte*, [14] — сказала она. — Вы ищете мадемуазель Бланш?

— Да, — быстро ответил я, — но в комнате ее нет.

Было неудобно к ней не подойти. Маленькая, тощая, немолодая, она, судя по платью и манере говорить, была одной из служанок.

— Мадемуазель Бланш наверху, у госпожи графини, — сказала она, и я подумал, уж не почуяла ли она инстинктивно что-нибудь неладное, потому что в глазах ее были любопытство и удивление, и она то и дело посматривала через мое плечо на дверь комнаты, из которой я только что вышел.

— Неважно, — сказал я, — увижу ее позднее.

— Что-нибудь случилось, господин граф? — спросила она; взгляд ее стал еще более испытующим, а голос звучал доверительно, даже несколько фамильярно, точно я скрывал какую-то тайну, которой должен был поделиться с ней.

— Нет, — сказал я, — с чего бы?

Она отвела от меня взор и посмотрела в конец коридора на закрытую дверь.

— Прошу прощения, господин граф, — сказала она, — просто подумала, раз вы зашли к мадемуазель Бланш, значит, что-нибудь случилось.

Ее глаза снова метнулись в сторону. В ней не было тепла, не было любви, ни капли веры в меня, которые я видел у Гастона, и вместе с тем чувствовалось, что между нами есть давняя и тесная связь какого-то малоприятного свойства.

— Надеюсь, поездка господина графа в Париж была успешной? — спросила она, и в том, как она это сказала — отнюдь не любезно, был намек на какие-то мои возможные промахи, которые навлекут на меня нарекания.

— Вполне, — ответил я и хотел было пойти дальше, но она остановила меня:

— Госпожа графиня знает, что вы вернулись. Я как раз шла вниз, в гостиную, чтобы сказать вам об этом. Лучше бы вы поднялись к ней сейчас, не то она не даст мне покоя.

Госпожа графиня... Слова звучали зловеще. Если я — господин граф, то кто же она? Во мне зародилась смутная тревога, уверенность стала покидать меня.

— Зайду попозже, — сказал я, — время терпит.

— Вы и сами прекрасно знаете, господин граф, что она не станет ждать, — сказала женщина, не сводя с меня черных пытливых глазок.

Выхода не было.

— Хорошо, — сказал я.

Служанка повернулась, и я пошел следом за ней вверх по длинной винтовой лестнице. Мы вышли в точно такой же коридор, как внизу, от которого отходил второй, перпендикулярно первому, и сквозь приотворенную обитую зеленым сукном дверь я заметил лестницу для прислуги, откуда доносился запах еды. Мы миновали еще одну дверь и остановились перед последней дверью в коридоре. Женщина открыла ее и, кивнув мне, словно подавая сигнал, вошла, говоря кому-то внутри:

— Я встретила господина графа на лестнице. Он как раз поднимался к вам.

Посредине огромной, но до того забитой мебелью комнаты, что с трудом можно было протиснуться между столами и креслами, возвышалась большая двуспальная кровать под пологом. От пылающей печки с распахнутыми дверцами шел страшный жар; войдя сюда из прохладных нижних комнат, было легко задохнуться. Ко мне, звеня колокольцами, привешенными к ошейникам, с пронзительным лаем бросились два фокстерьера и стали кидаться под ноги.

Я обвел комнату глазами, стараясь получше все разглядеть. Здесь было три человека: высокая худая женщина, которая вышла из гостиной, когда я туда вошел, рядом с ней старый седой кюре в черной шапочке на макушке — его славное круглое лицо было розовым и совершенно гладким, а за ним, чуть не вплотную к печке, в глубине высокого кресла сидела тучная пожилая дама; ее щеки и подбородок свисали множеством складок, но глаза, нос и рот так поразительно и так жутко напоминали мои, что у меня на секунду мелькнула дикая

мысль: уж не приехал ли Жан де Ге в замок и теперь венчает свою шутку этим маскарадом?

Старуха протянула ко мне руки, и я, влекомый к ней точно магнитом, непроизвольно опустился на колени перед креслом и тут же утонул в удушающей, обволакивающей горе плоти и шерстяных шалей; на миг я почувствовал себя мухой, попавшей в огромную паутину, и вместе с тем был зачарован нашим сходством, еще одним подобием меня самого, только старым и гротескным, не говоря уж о том, что передо мной была женщина. Я подумал о своей матери, умершей давным-давно, — мне тогда было лет десять, — и образ ее, туманный, тусклый, с трудом всплыл в памяти, в нем не было ничего общего с этим моим живым портретом, распухшим до неузнаваемости.

Руки ее стискивали меня в своих объятиях и в то же время отталкивали прочь, она шептала мне в ухо: «Ну-ну, полно, убирайся, мое большое дитя, мой шалун. Я знаю, ты опять развлекался».

Я отодвинулся и взглянул ей в глаза, почти сбитые тяжелыми веками и мешками внизу; это были мои собственные глаза, погребенные под плотью, мои собственные глаза, а в них — насмешка.

— Все, как обычно, были расстроены, что ты не вернулся вовремя, — продолжала она. — Франсуаза в истерике, у Мари-Ноэль жар, Рене дуется, Поль ворчит. Уф! Глядеть противно на всю эту публику. Одна я не волновалась. Я знала, что ты появишься, когда будешь готов возвратиться домой, и ни секундой раньше.

Она снова притянула меня к себе, тихо посмеиваясь, и похлопала по плечу, затем оттолкнула.

— Я — единственная в этом доме, кто не потерял веру, не так ли? — сказала она, обращаясь к кюре.

Тот улыбнулся ей, кивая головой; кивок следовал за кивком, и я понял, что это — нервный тик, нечто вроде непроизвольного спазма, и вовсе не выражает его согласия. Это привело меня в замешательство, я отвел от него глаза и посмотрел на худую женщину — сама она ни разу с тех пор, как я вошел, не взглянула на меня; сейчас она закрывала книгу, которую держала в руках.

— Вы не хотите, чтобы я дальше читала вам, маман, я не ошибаюсь? — сказала она; голос у нее был бесцветный, тусклый —

мертвый голос.

Из слов служанки я понял, что это — мадемуазель Бланш, в чью комнату я зашел ненароком, следовательно, она — старшая сестра моего второго «я». Графиня обернулась к кюре:

— Поскольку Жан вернулся, господин кюре, — сказала она учтивым и уважительным тоном, ничуть не похожим на тот, который звучал у меня в ушах, когда она, тихо посмеиваясь, обнимала меня, — как вы думаете, очень невежливо будет с моей стороны, если я попрошу вас освободить меня от нашей обычной вечерней беседы? Жану надо так много мне рассказать.

— Разумеется, госпожа графиня, — сказал кюре, благодаря благожелательной улыбке и непрерывным кивкам — само согласие; вот отказ на его губах, верно, будет звучать неубедительно. — Я прекрасно знаю, как вы соскучились по нему даже за это короткое время: у вас, должно быть, отлегло от сердца, когда он вернулся. Я надеюсь, — продолжал он, поворачиваясь ко мне, — в Париже все прошло хорошо. Говорят, что уличное движение стало просто невозможным: чтобы добраться от площади Согласия до Notre-Dame [15] уходит не меньше часа. Мне бы это вряд ли понравилось, но вам, молодежи, все нипочем.

— Зависит от того, — сказал я, — зачем ты приехал в Париж — по делу или для развлечения.

Если я вовлеку его в разговор, я буду в безопасности. Мне вовсе не улыбалось остаться наедине с моей мнимой матерью — без сомнения, она инстинктивно почувствует, что тут что-то не так.

— Именно, — сказал кюре, — и я надеюсь, что вы соединили одно с другим. Что ж, не буду вас дольше задерживать...

И, неожиданно соскользнув с кресла на колени, он закрыл глаза и стал быстро-быстро шептать молитву; мадемуазель Бланш последовала его примеру, а графиня сложила ладони и опустила голову на массивную грудь. Я тоже встал на колени; фокстерьеры подбежали ко мне, втягивая носом воздух, и стали теревить карманы. Глянув уголком глаза, я заметил, что служанка, приведшая меня сюда, также преклонила колени и, крепко зажмурившись, произносит нараспев ответствия на вопросы в молитве кюре. Тот дошел до конца своего ходатайства перед Богом и, воздев руки, осенил всех присутствующих крестом, затем с трудом поднялся на ноги.

— Bonsoir, madame la comtesse, bonsoir, monsieur le comte, bonsoir, mademoiselle Blanche, bonsoir, Charlotte, [16]— сказал он, перемежая поклоны и кивки, его розовое лицо расплылось в улыбке.

Перед дверьми кюре и мадемуазель задержались, так как, состязаясь в учтивости, они настойчиво пропускали друг друга вперед; наконец кюре вышел первым, сразу же следом за ним, низко опустив голову, как церковный прислужник, мадемуазель Бланш.

В углу комнаты Шарлотта смешивала какие-то лекарства; подойдя к нам со стаканом, она спросила:

— Господин граф тоже будет здесь обедать, как обычно?

— Разумеется, идиотка, — сказала графиня. — И я не собираюсь пить эту дрянь. Выплесни ее. Пойди принеси подносы с обедом. Ступай!

Она нетерпеливо указала рукой на дверь, лицо ее сморщилось от раздражения.

— Подойди ко мне. Ближе, — сказала она, подзывая меня и указывая рукой, чтобы я сел рядом; собачонки вспрыгнули ей на колени и улеглись там. — Ну как, удалось тебе? Ты договорился с Корвале?

Это был первый прямой вопрос, заданный мне в замке, от которого я не мог отшутиться или отделаться какой-нибудь незначущей фразой.

Я проглотил комок в горле.

— Что удалось? — спросил я.

— Возобновить контракт, — сказала она.

Значит, Жан де Ге ездил в Париж по делу.

Я вспомнил, что в бюваре письменных принадлежностей, который был в одном из чемоданов, я видел конверты и папки. Его приятель, окликнувший меня у станции, намекнул, что поездка не удалась. Дело, по видимости, было серьезным, а выражение глаз графини снова напомнило мне слова Жана де Ге о человеческой алчности: «...главное — утолить ее... дать людям то, чего они хотят...» Раз это его кредо, он, несомненно, удовлетворил бы сейчас желание матери.

— Не волнуйтесь, — сказал я, — я все уладил.

— Ах, — она облегченно пробормотала что-то, — действительно удалось столкнуться с Корвале?

— Да.

— Поль такой болван, — сказала она, устраиваясь поудобней в кресле, — вечно брюзжит, вечно недоволен, все представляет в черном цвете. По его словам, мы полностью разорены и должны прямо завтра ликвидировать дело. Ты уже видел его?

— Когда я приехал, — сказал я, — он как раз собирался в город.

— Но ты сообщил ему новости?

— Нет, он спешил.

— Столько ждал, мог бы и еще подождать, чтобы их услышать, — ворчливо проговорила она. — Что с тобой? Ты болен?

— Я слишком много пил в Ле-Мане.

— В Ле-Мане? Зачем пить в Ле-Мане? Ты что, не мог задержаться в Париже, если тебе хотелось отметить свой успех?

— В Париже я тоже пил.

— Ах! — На этот раз в ее вздохе было сочувствие. — Бедный мальчик, — сказала она. — Тебе здесь трудно, да? Надо было остаться подольше и позабавиться всласть. Подойди, поцелуй меня снова. — Она притянула меня к себе, и я опять был погребен под оплывшими складками ее тучного тела. — Надеюсь, ты весело провел время, — понизив голос, сказала она. — Весело, да?

Намек в ее голосе был достаточно прозрачным. Но это не вызвало во мне отвращения, напротив, меня позабавило, даже заинтриговало то, что эта чудовищно похожая на меня туша, которая только что молилась вместе с кюре, хочет разделить интимные секреты сына.

— Естественно, я хорошо повеселился, тапан, — сказал я, отодвигаясь от нее; я заметил, что назвать ее «тапан» не стоило мне усилий. Как ни странно, это поразило, мало того — ужаснуло меня больше, чем все, что говорила она сама.

— Значит, ты привез мне подарочек, который обещал?

Глаза ее совсем утонули в веках, тело напряглось от ожидания. Внезапно атмосфера в комнате неуловимо изменилась, стала накаленной. Я не знал, что ей ответить.

— Разве я обещал вам подарок? — спросил я.

Подбородок ее обмяк, челюсть отвисла, глаза глядели на меня с такой жгучей мольбой, с таким страхом, каких я не мог и представить минуту назад.

— Ведь ты не забыл? — сказала она.

К счастью, мне не пришлось отвечать — да и что я мог ей ответить? — так как в комнату вошла Бланш. Мать тут же изменила выражение лица, точно надела маску. Наклонившись к собакам, лежавшим у нее на коленях, она принялась их ласкать:

— Полно, полно, Жужу, перестань кусать свой хвост, веди себя хорошо, пожалуйста. Отодвинься немного, Фифи, ты разлеглась на обоих коленях. Ну-ка, пойді к своему дяде.

Она всунула мне в руки ненужную мне собачонку, та извивалась и корчилась, пока не вырвалась от меня и забилась под огромное кресло матери.

— Что такое с Фифи? — удивленно сказала та. — Она никогда раньше от тебя не убегала. Взбесилась она, что ли?

— Оставьте ее, — сказал я. — Она чувствует дорожный запах.

Животное не поддавалось обману. Это было любопытно. В чем заключалось мое чисто физическое различие с Жаном де Ге? Графиня снова откинулась на спинку кресла и мрачно смотрела на дочь. Та застыла, прямая, как палка, руки — на спинке стула, глаза устремлены на мать.

— Я правильно поняла — сюда требуют подать два подноса с обедом? — сказала она.

— Да, — отрывисто бросила мать, — Жану приятней обедать тут, со мной.

— Вы не думаете, что и так уже достаточно возбуждены?

— Ничего подобного. Я совершенно спокойна, как ты видишь. Тебе просто хочется испортить нам удовольствие.

— Я никому ничего не хочу портить. Я думаю о вашем благе. Если вы перевозбудитесь, вы не сможете уснуть, и завтра, как уже бывало не раз, вас ждет тяжелый день.

— У меня будет еще более тяжелый день и тяжелая ночь, если Жан сейчас уйдет.

— Хорошо, — невозмутимо произнесла Бланш; говорить сейчас больше было не о чем, и она принялась прибирать разбросанные повсюду газеты и книги; меня вновь поразила ее монотонный, бесстрастный голос. Ни разу за все время она не взглянула в мою сторону, словно меня вообще не было в комнате. На вид я дал бы ей года сорок два — сорок три, но могло быть и меньше, и больше. Единственным украшением ее одежды — черная юбка и джемпер —

был висевший на цепочке крест. Она поставила рядом с креслом матери обеденный столик.

— Шарлотта уже дала вам лекарство? — спросила она.

— Да, — ответила мать.

Дочь села подальше от гудящей печки и взяла в руки вязанье. Я заметил на столе молитвенник в кожаном переплете и Библию.

— Почему ты не уходишь? — выйдя из терпения, внезапно спросила мать. — Ты нам не нужна.

— Я жду, пока Шарлотта принесет обед, — последовал ответ.

Они обменялись всего несколькими фразами, и я сразу же встал на сторону матери. Почему — трудно сказать. То, как она держалась, было не очень похвально, и все же она вызывала во мне симпатию, а дочь — наоборот. Я подумал: уж не потому ли мне так нравится мать, что она похожа на меня?

— У Мари-Ноэль опять были видения, — сказала графиня.

Мари-Ноэль... Кто-то внизу, в гостиной, упомянул, что у Мари-Ноэль температура. Кто она — еще одна набожная сестра? Я чувствовал, что от меня ждут отклика.

— Наверно, потому что у нее жар, — сказал я.

— Нет у нее никакого жара. Она вообще не больна, — сказала графиня. — Просто она любит быть в центре внимания. Что такое ты ей сказал перед тем, как уехал в Париж? Это очень ее расстроило.

— Ничего я ей не говорил, — ответил я.

— Ты забыл. Она без конца твердила Франсуазе и Рене, что ты не вернешься. И не только ты сказал ей это, но и Святая Дева. Не так ли, Бланш?

Я взглянул на молчавшую сестру. Она перевела бледные глаза с пощелкивающих спиц на мать; на мать, не на меня.

— Если у Мари-Ноэль бывают видения, — сказала она, — а я, в отличие от всех вас, в это верю, пора отнестись к ним серьезно. Я уже давно твержу об этом, и кюре со мной согласен.

— Глупости, — возразила ей мать. — Я как раз сегодня беседовала насчет девочки с кюре. Он говорит, это довольно распространенная вещь, особенно среди бедняков. Возможно, Мари-Ноэль наслушалась этого от Жермен. Я спрошу Шарлотту. Шарлотта все знает.

На лице Бланш не отразилось никаких чувств, но губы ее сжались.

— Не надо забывать, — сказала она, — что кюре не делается моложе, он теряется, когда с ним заговаривают сразу несколько человек. Если видения не прекратятся, я напишу епископу. Он найдет, что нам посоветовать, и я не сомневаюсь в том, каков будет его совет.

— Каков же? — спросила мать.

— Он посоветует, чтобы Мари-Ноэль жила среди людей, которые не станут растлевать ее душу, там, где она сможет положить свой дар на алтарь Всевышнего для его вящей славы.

Я ждал, что последует взрыв, но графиня, ничего не сказав, погладила собачонку у себя на коленях и, вынув из бумажного кулька сбоку кресла облитую глазурью конфету, сунула ей в зубы.

— Ешь, ешь... Вкусно, да? — сказала она. — Где Фифи? Фифи, хочешь конфетку?

Второй терьер выбрался из-под кресла и, вспрыгнув ей на колени, стал тыкаться носом в кулек.

— Ты дурочка, Бланш, — продолжала графиня. — Если уж в нашей семье заведется святая, будем держать ее дома. Это открывает большие возможности. Что нам мешает превратить Сен-Жиль в центр паломничества? Естественно, без одобрения епископа и церкви тут не обойтись, но, пожалуй, об этом стоит подумать. Наконец-то появятся деньги, чтобы починить крышу нашей церкви. От «Защиты памятников» помощи не жди.

— Душа Мари-Ноэль важнее, чем крыша церкви, — сказала Бланш. — Если бы это было в моей власти, она завтра же покинула бы замок.

— Ты завистлива, вот в чем твоя беда, — сказала мать, — ты завидуешь ее хорошенькому личику, ее большим глазам. Наступит день, и Мари-Ноэль забудет о всех этих видениях, она захочет иметь мужа.

Графиня толкнула меня локтем в бок. Я не удивился, что Бланш молчит.

— Не так ли, Жан? — сказала мать.

— Возможно, — ответил я.

— Дай бог, чтобы я успела увидеть свадьбу. Он должен быть богат...

В комнату вошла Шарлотта с подносом в руках, следом — маленькая краснощекая *femme de chambre*, [17] лет восемнадцати; увидев меня, она покраснела, хихикнула и, сказав: «*Bonsoir, monsieur le comte*», [18] поставила поднос с моим обедом на столик. Я тоже пожелал ей доброго вечера.

Бланш поднялась, отложив в сторону вязанье.

— Вы хотите видеть Франсуазу или Рене перед тем, как ляжете спать? — спросила она.

— Нет, — ответила ей мать. — Они обе пили у меня чай. Я буду хорошо спать, раз Жан вернулся, и не желаю, чтобы меня беспокоили, в особенности — ты.

Бланш подошла к матери и, поцеловав, пожелала спокойной ночи. Затем вышла из комнаты, так и не заговорив со мной и ни разу на меня не взглянув. Интересно, что сделал Жан де Ге, чтобы вызвать такую обиду? Я открыл супницу на своем подносе. Запах казался аппетитным, а я был голоден. Маленькая горничная, которую Шарлотта назвала Жермен, вышла следом за Бланш, но Шарлотта осталась и теперь из глубины комнаты наблюдала, как мы едим.

Подстегиваемый любопытством, я отважился задать матери вопрос:

— Что такое с Бланш?

— Ничего особенного, — ответила она. — Во всяком случае, сегодня она меньше действовала мне на нервы, чем обычно. Ты заметил, она не набросилась на меня, когда я сказала, что иметь в семье святую открывает большие возможности?

— Она, верно, была возмущена, — сказал я.

— Возмущена? Ты хочешь сказать «восхищена»? Сам увидишь, она постарается реализовать эту мысль. Если видения Мари-Ноэль покроют отраженной славой саму Бланш и Сен-Жиль, что может быть лучше? У Бланш появится цель в жизни... Шарлотта, ты здесь? Убери супницу, я больше не хочу. И дай господину Жану вино... Почему ты не рассказываешь мне о Париже, Жан? Ты еще ничего не рассказал.

Я стал рыться в памяти, стараясь представить себе Париж. Во время последнего отпуска я там не был, да к тому же то, что я знал и любил — музеи, исторические здания, — вряд ли было интересно графине. Я принялся рассказывать о ресторанах, что было ей понятно, о ценах, что понравилось ей еще больше, а затем, словно по наитию

свыше, о воображаемых посещениях театра и встрече с друзьями военных лет — она сама подсказывала мне их имена, и это сильно меня выручало. К тому времени, как мы кончили есть — а поели мы хорошо — и Шарлотта забрала подносы, я чувствовал себя с графиней свободней, чем с кем-либо другим когда-либо в жизни. Причина была проста: она шла мне навстречу, принимала меня таким, какой я есть, любила меня, верила мне, полагалась на меня; в подобной ситуации я еще не бывал. Если бы мы встретились как посторонние люди, нам нечего было бы сказать друг другу. Как ее сын я мог не бояться, что мои слова вызовут у нее неодобрение. Я смеялся, шутил, болтал чепуху, и непривычная свобода доставляла мне неизъяснимое наслаждение. Пока графиня не спросила меня, когда Шарлотта вышла из комнаты:

— Жан, ты ведь не мог забыть о подарочке для меня? Ты просто шутил, да?

И снова — отвисшая челюсть, молящие глаза. Перемена была разительной. Куда исчезли злой юмор, чертики в глазах, вспыльчивость, непринужденная веселость и сердечное тепло? Передо мной, крепко вцепившись мне в руки, сидело жалкое, дрожащее создание. Я не знал, что сказать, что сделать. Я поднялся, подошел к дверям и позвал:

— Шарлотта, где вы?

Собачонки, разбуженные моим голосом, соскочили с колен графини на пол и принялись яростно лаять.

Шарлотта тут же вышла из соседней комнаты, и я сказал:

— Госпоже графине нехорошо. Лучше пойдите к ней.

Она взглянула на меня и спросила:

— Вы разве не привезли ей это?

— Что — это? — недоумевающе проговорил я; она пристально на меня посмотрела, чуть прищурив глаза.

— Вы сами знаете, господин граф, что овы обещали привезти из Парижа.

Я попытался представить содержимое чемоданов и вспомнил пакеты, похожие на подарки. Что в них было, я не знал, не знал я и того, где они сейчас находились.

Шарлотта сказала быстро:

— Идите и скорей найдите это, господин граф. Иначе она будет страдать.

Я прошел по коридору, спустился по винтовой лестнице на второй этаж и снова остановился на площадке, не зная, куда повернуть. Слева из какой-то комнаты раздался звук льющейся воды, и я неуверенно двинулся по коридору, пока не увидел полуоткрытую дверь рядом с дверью, которая, по-видимому, вела в ванную; там кто-то ходил, и я зашел в следующую комнату, благо двери стояли настежь, а внутри никого не было. Я быстро обвел ее глазами и, к своему облегчению, увидел, что мне повезло. Я попал в небольшую гардеробную и узнал халат, брошенный на стул, и щетки для волос. Кто-то уже вынул вещи и убрал чемоданы, но на столе аккуратно, рядком, как подарки под елкой, лежали пакеты, которые я видел в одном из них. Я вспомнил, что на каждом была записка, подsunутая под ленточку. Тогда, когда я впервые видел их, они ничего мне не сказали, но теперь за всеми этими «Ф», «Р», «Б», «П» и «М-Н» стояло определенное имя. Среди них был пакет, адресованный маман, в простой оберточной бумаге, без затейливой упаковки, на бечевке — печать. Я взял его, вышел из комнаты и снова поднялся по лестнице.

Шарлотта уже ждала меня на площадке.

— Принесли? — спросила она.

— Да, — ответил я. — Она хочет, чтобы я сам дал это ей?

Служанка снова пристально взглянула на меня и ответила:

— Нет, нет... — словно мои слова удивили и обидели ее. Взяв пакет у меня из рук, она сказала: — Спокойной ночи, господин граф. Затем быстро пошла от меня по коридору. Отказ от моих услуг, должно быть, означал, что во мне больше не нуждались, и я снова медленно направился в гардеробную комнату, спрашивая себя, как понять внезапный конец моего визита. Возможно, у графини какое-то психическое расстройство... бывают припадки... Шарлотта и Жан де Ге знают, как ей помочь, а остальные члены семейства, вероятно, нет. Я надеялся, что содержимое пакета — неважно, что это, — принесет ей облегчение. Графиня казалась вполне нормальной, вполне владела собой — я не говорю о ее нраве. Нет, она не произвела на меня впечатления душевнобольной.

Я зашел в гардеробную и остановился, почувствовав вдруг, как я устал и подавлен. Передо мной стояло лицо графини. Я не знал, что

предпринять, и тут из ванной раздался голос:

— Ты уже пожелал татам доброй ночи?

Я узнал его, это был голос Франсуазы, белокурой поблекшей женщины, и я впервые заметил, что из гардеробной в ванную ведет дверь, прикрытая от меня большим шкафом. Должно быть, она услышала, как я вошел. У меня мелькнула тревожная мысль. В гардеробной, естественно, не было кровати. Где, интересно, спит Жан де Ге?

— Ты здесь, Жан? — снова позвал голос. — Я подумала, ты захочешь принять ванну, и напустила воду. — Голос зазвучал глуше, точно она вышла в другую комнату.

Я пошел в ванную. Судя по всему, ею пользовались двое. Две губки, две коробочки с зубным порошком, два полотенца... Я узнал бритвенный прибор, но тут же увидел резиновую шапочку, женские шлепанцы и купальный халат, висящий на двери.

Я стоял совершенно неподвижно, боясь, что меня услышат. Раздался щелчок выключателя, вздох, затем плачущий голос:

— Почему ты не отвечаешь, когда я обращаюсь к тебе?

Я собрался с духом и перешагнул порог. Передо мной была спальня той же величины и формы, что у сестрицы Бланш, но веселей, со светлыми узорными обоями и без картин на духовные сюжеты. В алькове вместо аналоя стоял туалетный столик с зеркалом и канделябрами. Напротив алькова была большая двуспальная кровать без полога. В ней, опершись спиной о подушки, полулежала женщина по имени Франсуаза — волосы накручены на папильотки, на плечах — воздушная розовая ночная кофточка. Казалось, женщина внезапно съежилась, стала меньше, чем выглядела в гостиной.

Она сказала по-прежнему жалобно, по-прежнему обиженно:

— Конечно, ты не мог не просидеть весь вечер наверху... Хоть бы ты когда-нибудь подумал обо мне... Даже Рене, которая всегда на твоей стороне, сказала, что ты становишься невозможным.

Я перевел глаза с ее усталого, хмурого лица на пустую подушку на другой стороне кровати. Узнал дорожные часы на столике и пачку сигарет. Даже полосатая пижама, в которой я спал в отеле, была аккуратно сложена на подвернутой простыне.

Я по глупости думал, будто Франсуаза — жена Поля, а я, то есть Жан де Ге, — ее брат. У меня упало сердце, когда я понял, что он был,

напротив, ее мужем.

Глава 5

Моим первым безотчетным движением — автоматическим и нелепым — было забрать с постели пижаму; я подошел к кровати, не глядя на Франсуазу, схватил вещи и направился в ванную. К моему ужасу, Франсуаза заплакала, говоря сквозь слезы о том, что я ее не люблю, что она несчастна и что татап всегда встает между нами. Я ждал в ванной, пока она не утихнет. Наконец она высморкалась, и я услышал приглушенное всхлипывание и прерывистые вздохи, которые обычно следуют за слезами, когда человек пытается взять себя в руки. При мысли о том, что она может слезть с постели и пойти следом за мной, я пришел в полное расстройство и, захлопнув дверь в спальню, запер ее, ощущая, что, по-видимому, правильно играю свою роль. Именно так поступил бы Жан де Ге, если бы ему было стыдно, или скучно, или и то и другое вместе. Я опять рассердился, как тогда, в отеле, когда был вынужден надеть его одежду. Как бы он смеялся, если бы видел сейчас меня, нелепую фигуру с его пижамой в руке, увидел, как я прячусь в ванной в то время, как рядом, в спальне, лежит в постели его жена. Та самая ситуация, что вызывает в театре взрывы смеха, и я подумал о том, как близко от комического до ужасного и отвратительного. Мы смеемся, чтобы укрыться от страха, нас привлекает то, что внушает нам омерзение. В альковных сценах фарса публика хохочет и визжит от восторга как раз потому, что отвращение, с которым мы ждем развязки, щекочет нам нервы. Интересно, предвидел ли Жан де Ге этот момент или думал, подобно мне, когда я ехал в замок, что через час-другой пьеса будет доиграна, маскарад подойдет к концу. Возможно, ему и в голову не приходило, что я поступлю так, как я поступил. И все же наш разговор накануне, мои стенания о том, что жизнь моя пуста и ничто не привязывает меня к людям, давали ему прекрасный шанс сказать со смехом: «Что ж, поживите моей жизнью!»

Если он действительно хотел сбежать и сделать меня козлом отпущения, это доказывает, что ему не дорог никто в замке. Мать и жена, нежно его любившие, ничего для него не значат. Ему безразлично, что с ними станет, да и с остальными тоже: я могу

делать с ними все, что захочу. Если учесть все обстоятельства, маскарад был мало сказать жестоким — бесчеловечным. Я закрыл капающий кран и перешел в гардеробную. На смену душевному подъему, внутренней свободе, которые я испытывал во время обеда с графиней, пришло уныние, как только у нее изменилось настроение. Я мог бы выкинуть из мыслей ее искаженное страданием лицо — еще одно звено в цепи событий этого фантастического вечера, — а я поспешил утешить ее, побыстрее найти пакет и передать его Шарлотте. Сейчас, догадавшись, что плачущая Франсуаза — жена де Ге, я ее тоже хотел утешить: ее слезы огорчали меня. Внизу, в гостиной, эти люди казались мне нереальными, но здесь, каждый из них в отдельности, они были беззащитны и возбуждали во мне жалость. Тот факт, что сами, не сознавая того, они были невинными жертвами практической шутки, больше не казался мне смешным. К тому же я не был до конца уверен, что это шутка. Скорее, своего рода проверка моих сил, испытание стойкости и долготерпения, точно Жан де Ге сказал мне: «Ладно. Я позволил семье завладеть мной. Посмотрим, что удастся вам на моем месте».

Я подошел к столу и взял пакет с буквой «Ф». Маленький, твердый, он был в нарядной оберточной бумаге. С минуту я стоял, взвешивая его в руке, затем неторопливо прошел через ванную и подошел к двери. В спальне было темно.

— Ты не спишь? — спросил я.

С постели донесся шорох, затем зажегся свет; Франсуаза сидела на кровати, глядя на меня. Папильотки скрывал ночной чепчик из тюля, завязанный под подбородком розовым бантом, вместо ночной кофточки на плечах была шаль. Наряд этот плохо сочетался с ее бледным усталым лицом. Она зевнула и посмотрела на меня из-под полуопущенных ресниц.

— А что? — спросила она.

Я подошел к ней.

— Послушай, — сказал я, — прости, если я был сейчас груб. Матан вдруг стало плохо, и я встревожился. Я бы раньше спустился, но ты сама знаешь, как с ней трудно. Погляди, что я купил тебе в Париже.

Она недоверчиво взглянула на пакетик, который я сунул ей в руку, затем уронила его на одеяло, вздохнула.

— Пусть бы это случалось время от времени, — сказала она, — тогда ладно, но это бывает так часто, каждый день, всегда. Порой мне кажется, что тапан меня ненавидит, и не только тапан, все вы — Поль, Рене, Бланш. Даже Мари-Ноэль не питает ко мне никаких нежных чувств.

Видно было, что она не ждет ответа, и слава богу, потому что у меня не было слов.

— Вначале, когда мы только поженились, все было иначе, — продолжала она. — Мы были моложе, страна освободилась после оккупации, жизнь сулила нам так много. Я чувствовала себя такой счастливой. А затем, мало-помалу, это чувство ушло. Я не знаю, чья это вина — моя или твоя.

Измученное лицо под уродливым тюлевым чепцом, в упор смотрящие на меня глаза, в которых потухла надежда.

— Рано или поздно это происходит со всеми, — медленно сказал я. — Муж и жена привыкают друг к другу, принимают друг друга как должное. Это неизбежно, у тебя нет никаких оснований чувствовать себя несчастной.

— О, я говорю не о том, — прервала она. — Я знаю, что мы принимаем друг друга как должное. Меня бы все это не трогало, если бы ты был моим. Но здесь все важнее, чем мы. Я делю тебя со множеством людей, и, что самое ужасное, ты даже не замечаешь этого, тебе все равно.

Обед с графиней не представлял трудностей, но сейчас... Я не знал, что сказать.

— Здесь все давит на меня, — продолжала Франсуаза, — замок, семья, даже природа. Мне кажется, меня душат. Я уже давно бросила попытки вмешиваться во что-нибудь: отдавать приказания по хозяйству, менять здесь что-то — твои родственники ясно дали мне понять, что это не мое дело. В замке все должно идти своим чередом. Единственное, на что я отважилась за последние месяцы, это заказать материю на новые занавески в спальне и рюш для туалетного столика, и даже их сочли слишком экстравагантными. Но тебе этого не понять.

Она продолжала сидеть, подняв на меня глаза, и я догадался, что от меня ждут хоть какого-то извинения.

— Мне очень жаль, — сказал я, — но ты и сама знаешь, как это получается. Здесь, в провинции, мы живем по старинке, поступаем

как заведено.

— Как заведено? Уж кому говорить об этом, только не тебе. Ты уезжаешь когда вздумается под тем предлогом, что у тебя дела. Это ты живешь по старинке, ты сидишь изо дня в день дома, как я?! Ты ни разу не предложил взять меня с собой. Всегда речь идет о «как-нибудь потом» или «в следующий раз». Я уже привыкла к твоим отговоркам и даже не прошу. К тому же сейчас это все равно было бы невозможно, я слишком плохо себя чувствую.

Она пощупала мой подарок, так и не развязав, и я подумал, что в таких обстоятельствах муж обязательно пожалел бы ее, успокоил, утешил, но я совсем не представлял себе, что может испытывать будущая мать. Неожиданно она сказала — просто, не жалуясь, не обвиняя:

— Жан, я боюсь.

Я снова не знал, как ей ответить. Я взял у нее из рук пакетик и принялся его разворачивать.

— Ведь ты слышал слова доктора Леброна, когда я потеряла последнего. Это не так легко для меня.

Что я мог сказать, что сделать? Какой от меня толк? Я развязал ленточку, развернул бумагу, в которую была упакована коробочка, и вынул из нее небольшой бархатный футляр. Я открыл его и увидел медальон, обрамленный жемчугом; когда я нажал на пружину и крышка открылась, внутри оказался миниатюрный портрет меня самого, вернее, Жана де Ге. Носить медальон можно было и как зажим, и как брошь, так как на обратной стороне была золотая застежка. Хорошо придумано, еще лучше сработано, и стоило тому, кто купил эту безделушку, немалые деньги.

Франсуаза вскрикнула от удивления и восторга:

— Ах, какая прелесть! Как красиво! И как мило с твоей стороны подумать об этом. Я ворчу, жалуясь, всем недовольна... а ты привозишь мне такой чудесный подарок... Прости меня. — Она протянула ладони к моему лицу. Я принужденно улыбнулся. — Ты так добр, так терпелив со мной. Будем надеяться, что скоро все кончится и я снова стану похожа на себя. Когда я говорю с тобой, я слышу, как с моих губ срываются слова, которых я вовсе не хочу произносить, и мне становится стыдно, но удержаться я не могу.

Она защелкнула крышку медальона, затем снова открыла его, и так несколько раз, радуясь невинному фокусу. Затем приколотла медальон к шали.

— Видишь, — сказала она, — я ношу своего мужа на сердце. Если теперь кто-нибудь спросит меня: «Где Жан?», я просто открою медальон. Ты здесь очень похож. Миниатюра, верно, скопирована с той фотографии на старом удостоверении личности, которая так мне нравилась. Ты специально заказывал ее для меня в Париже?

— Да, — ответил я. Возможно, так оно и было, но для меня это звучало низкой ложью.

— Поль страшно рассердится, когда его увидит, — сказала Франсуаза. — Значит, все в порядке и твоя поездка в результате оказалась удачной? Как это на тебя похоже — отпраздновать победу дорогим подарком. Знаешь, я чувствую себя так незащитно, так беспомощно, когда Поль принимается говорить, что придется закрыть фабрику; я знаю, на что он намекает — что мои деньги заморожены таким нелепым образом. Вот если у нас родится мальчик... — Она откинулась назад, не переставая поглаживать приколотый к шали медальон. — Теперь я усну, — сказала она. — Не копайся. Если ты весь вечер проговорил с татан о делах, ты, должно быть, очень устал.

Она потушила свет, и я услышал, как она со вздохом снова устраивается на подушке.

Я вернулся в гардеробную, распахнул окно и высунулся наружу. Была светлая лунная ночь, ясная и холодная. Подо мной тянулся покрытый сорняками крепостной ров, темнели неровные, увитые плющом каменные стены, которые его обрамляли; за ними уходил вдаль запущенный парк; вернее, это раньше было парком, теперь он зарос травой, где паслись коровы, протаптывая тропинки, терявшиеся среди тенистых деревьев. Прямо перед окном стояло какое-то круглое строенье, похожее на башни, охраняющие подъемный мост через ров. По его форме я догадался, что это *colombier* ^[19] — старая голубятня, рядом с ней были детские качели с лопнувшей веревкой.

Над притихшей землей нависла смутная грусть; казалось, некогда здесь звучал смех, кипела жизнь, а теперь все это ушло, и тот, кто, подобно мне, смотрит в окно, испытывает лишь печаль и сожаление. Мертвая тишина нарушалась глухими прерывистыми звуками, точно откуда-то сверху редкими каплями падала в глубину вода; я высунулся

из окна и вытянул шею, чтобы увидеть, откуда доносятся эти звуки, но так ничего и не увидел; изо рта ухмыляющейся горгульи, которая пялилась на меня с карниза башни, вода не текла.

В деревне за замком церковные часы пробили одиннадцать ударов — высокий, пронзительный звук, — и, хотя в нем не было той глубины, что в благовесте, доносившемся из собора в Ле-Мане, я услышал такое же предостережение, как там. Когда отзвучала последняя нота и затихла вдали, моя подавленность и тоска стали еще сильнее; голос рассудка, казалось, говорил мне: «Что ты тут делаешь? Выбирайся отсюда, пока не поздно».

Я открыл дверь в коридор и прислушался. Все было спокойно. Интересно, уснула ли уже графиня, успокоенная таинственным подарком, переданным Шарлотте, или все еще сидит сгорбившись в кресле? А что делает сестра Бланш — молится, стоя на коленях, или смотрит на бичуемого Христа? Я не мог забыть слов Франсуазы: «Жан, я боюсь». Они тронули меня до слез. Но говорились они не мне. Мне здесь не принадлежит ничего. Я здесь чужой. Мне нет места в их жизни.

Я пошел по коридору, спустился на первый этаж. Только я повернул ручку двери, чтобы выйти на террасу, как услышал за спиной шаги и, обернувшись, увидел на ступеньках лестницы черненькую Рене — в пеньюаре и домашних туфлях; волосы, днем зачесанные в высокую прическу, рассыпались по плечам.

— Куда вы? — шепнула она.

— Наружу, подышать свежим воздухом, — тут же солгал я. — Я не мог уснуть.

— Что с вами? — спросила она. — Я сразу догадалась, что все эти разговоры, будто вы устали с дороги и много выпили вчера, — просто отговорки для Франсуазы. Я слышала, как вы спустились от тапан, и ждала, что вы зайдете, — я оставила дверь открытой. Вы разве не заметили?

— Нет, — сказал я.

Она недоверчиво взглянула на меня:

— Вы же не могли не понять, что я нарочно уговорила Поля поехать на этот обед, как только узнала о вашем возвращении. А теперь вечер потерян. В любую минуту он будет здесь.

— Очень жаль, — сказал я. — У мамап накопилась куча новостей... уйти было просто невысказано. Но ведь мы сможем поговорить завтра.

— Завтра? — отрывисто повторила она каким-то странным тоном. — Проведя в Париже десять дней, нетрудно подождать до завтра? Я могла бы догадаться. Верно, по той же причине вы не удосужились ответить на мои письма.

Стоя перед ней в дверях, я ломал голову над ее словами, но все усилия были тщетными; интересно, отразилось ли мое недоумение у меня на лице? Раньше, в гостиной, эта женщина показалась мне союзником, другом. Сейчас единомышленница чем-то недовольна, я догадывался, что в глубине души она кипит гневом. Хотелось бы мне знать, тревожно думал я, чья она жена или сестра и в чем заключается то дело, которое она так настоятельно хочет обсудить со мной наедине.

— Могу лишь повторить, что мне очень жаль, — снова сказал я. — Я не знал, что есть какая-то особая причина для нашей встречи. Надо было передать мне, чтобы я вышел, когда я был наверху у мамап.

— Это что — сарказм или вы на самом деле пьяны?

Ее злость действовала мне на нервы. Мать тронула мое сердце, жена тоже, хоть и по иной причине. На эту женщину, которая неожиданно встала между мной и спасением, у меня не было времени.

— Так можно простудиться, — сказал я, — почему вы не ложитесь?

Она пристально посмотрела на меня, затем, судорожно вздохнув, сказала:

— Mon Dieu, ^[20] как я вас иногда ненавижу!

И, повернувшись ко мне спиной, пошла вверх по лестнице.

Я распахнул дверь на террасу и вышел. Как приятно было вдохнуть свежий, чистый воздух после затхлой атмосферы закупоренных на ночь и все же промозглых комнат! Под ногами захрустел гравий, затем начались ступени; я осторожно спустился вниз и пошел по подъездной дорожке. Я было направился к службам в крепостной стене возле рва, налево от замка, — судя по всему, это были конюшни и гараж, — когда в липовой аллее, спускающейся по

холму, блеснул огонек. Должно быть, возвращался домой Поль. Я спрятался за кедром, возле которого как раз проходил, надеясь, что на меня не попал свет фар. Вот он пересек мост, въехал в ворота и свернул направо, по направлению к гаражу. Я слышал, как хлопнула дверца «рено», затем с шуршанием раздвинулись в стороны двери гаража. Через одну-две минуты раздались шаги, и Поль прошел на террасу, совсем близко от меня. Поднялся по ступеням, вошел в дверь, захлопнув ее за собой.

Некоторое время я не шевелился. Ждал. Потом вышел из укрытия и осторожно двинулся к стене у рва. Не доходя нескольких шагов до арки, под которой проехал Поль, я услышал тихое рычание. И тут я заметил, что возле ворот в стене была ниша, а в ней — большой охотничий пес; увидев меня, он яростно залаял. Я попробовал его унять, но это мне не удалось: звук моего голоса привел его в еще большую ярость; я снова спрятался за кедр, где не был ему виден, чтобы он успокоился и я мог обдумать, что делать дальше. Лай длился бесконечно, затем перешел в рычание и наконец смолк, и я рискнул выйти и осмотреться. Надо мной под ясным светом луны, тускло поблескивая, возвышались массивные стены замка, грозные и все же прекрасные. Дверь в стене вела в парк, что-то заставило меня пройти через нее; остановившись, я глядел на осевший ров и лужайку за ним, где вечером паслись коровы, на еле видные тропинки, ведущие к лесу, на безмолвную голубятню, на сломанные качели. Где-то спит спокойным сном автор злой шутки, в которой мы оба были повинны, а возможно, бодрствует и потешается надо мной, представляя, в какой я растерянности. Он считает, что он свободен, раз надел на себя мое платье. Здесь, в замке, страдают не мои — его родные, а ему безразлично, что с ними станет, какую жестокую боль им предстоит испытать.

Опять где-то рядом послышался тот же глухой звук, что потревожил меня в гардеробной, и я понял, что это стучат каштаны, падающие с деревьев на гравиевую дорожку за рвом. Ни туман, ни листопад, ни шелест дождя не сумели бы с такой бесповоротностью показать, что лету конец. В этом звуке воплотилась вся осень. Я поднял глаза на закрытые ставнями окна замка и спросил себя, в какой из двух башен спит графиня и где келья ее дочери Бланш. Надо мной была гардеробная, откуда совсем недавно я глядел сюда, а рядом —

высокие окна спальни. Церковные часы пробили половину двенадцатого — пора отправляться в путь, я и так задержался среди этих чужих мне людей. Проходить мимо пса было слишком рискованно, он мог поднять на ноги весь дом, и я решил пройти по мосту, добраться по липовой аллее до дороги и идти по ней хоть всю ночь до ближайшего городка.

Здесь, у рва, не было деревьев, однако каштаны продолжали падать, один ударил меня по голове и отлетел на землю. Странно. Я взглянул наверх и заметил, что в башенке над гардеробной на подоконник узкого оконца влезла коленями какая-то фигура и смотрит вниз. Пока я вглядывался в нее, меня снова ударил по лбу каштан, рядом упал еще один, следом другой, кинутые той же рукой: тот, кого я видел в окне, по какой-то причине хотел привлечь мое внимание. Внезапно фигура поднялась и встала ногами на наружный подоконник, и я разглядел, что это ребенок лет десяти в белой ночной рубашке. Одно неверное движение, и он полетит с высоты на землю. Я не мог различить, кто это: девочка или мальчик, не видел его лица, я видел лишь одно — опасность.

— Лезь назад, — сказал я. — Лезь обратно в комнату.

Фигура не шевельнулась. По голове ударил еще один каштан.

— Лезь назад, — снова сказал я. — Лезь назад, ты упадешь.

И тут ребенок заговорил, до меня ясно донесся высокий, абсолютно спокойный голос.

— Клянусь тебе, — сказал он, — что, если ты не придешь ко мне, пока я досчитаю до ста, я выброшусь из окна.

Я стоял молча, голос донесся снова:

— Ты ведь знаешь, я всегда держу слово. Начинаю считать, и, если тебя не будет со мной здесь, когда я дойду до ста, клянусь Святой Девой, я сделаю это. Раз... два... три...

В памяти всплыли, вытесняя друг друга, слова «жар», «святые», «видения». Наконец-то до меня дошел смысл вечернего разговора в гостиной. Мне не приходило на ум, что набожная праведница Мари-Ноэль — ребенок. Голос продолжал считать, и я повернулся и кинулся через садовую дверцу на террасу, оттуда — к парадному входу; к счастью, дверь не была заперта. Ощупью поднялся на второй этаж и принялся вслепую искать, нет ли здесь черной лестницы, которая ведет прямо в башенку над гардеробной. Наконец обнаружил

двустворчатую дверь и распахнул ее ногой — неважно, если меня услышат, если даже я подниму переполох. Я думал об одном: как предотвратить несчастье.

За дверью была винтовая лестница, освещенная тусклой синей лампочкой, и я кинулся по ней вверх, перескакивая через две ступени. Лестница привела меня на площадку, откуда изогнулся дугой еще один коридор, но прямо передо мной была дверь, из-за которой донеслось: «...восемьдесят пять, восемьдесят шесть, восемьдесят семь...» Голос звучал спокойно и твердо. Я влетел в комнату, схватил в охапку стоявшую на подоконнике фигурку и бросил ее на кровать у стены.

Коротко остриженная девочка смотрела на меня неправдоподобно огромными глазами, и я почувствовал, что мне дурно, — передо мной была еще одна копия Жана де Ге, а следовательно, каким-то невообразимым образом того меня, который давно уже был погребен в прошлом.

— Почему ты не пришел пожелать мне доброй ночи, папа? — спросила она.

Глава 6

Она не дала мне времени подумать над ответом. Соскочив с кровати, она приникла ко мне, обвила шею руками, осыпала поцелуями.

— Сейчас же прекрати! Отпусти меня! — крикнул я, пытаюсь вырваться.

Она засмеялась, обхватив меня еще сильнее, как обезьянка, затем вдруг отскочила и перевернулась через голову обратно на постель. Не потеряв равновесия, она уселась, скрестив ноги, как портной, в изножье кровати и устремила на меня не улыбочивый взгляд. Я перевел дыхание и пригладил волосы. Мы пожирали друг друга глазами, как звереныши, готовые кинуться в бой.

— Ну? — сказала она; неизбежное «alors?» ^[21] — вопрос, и восклицание, и ответ одновременно; и я повторил его вслед за ней, чтобы выиграть время и попытаться понять, насколько серьезна эта новая и неожиданная помеха — моя дочь. Затем, пытаюсь удержать позиции, сказал:

— Я думал, ты больна.

— А я и была больна... утром. Но когда тетя Бланш померила мне вечером температуру, она оказалась почти нормальной. Может быть, после того как я стояла у окна, она снова подскочила. Сядь. — Она похлопала рукой по постели рядом с собой. — Почему ты не пришел повидаться со мной сразу же, как вернулся?

Держалась она повелительно, как будто привыкла отдавать приказания. Я не ответил.

— Шутник, — небрежно проронила она. Затем протянула руку и, схватив мою, принялась ее целовать.

— Ты делал маникюр? — спросила она.

— Нет.

— У твоих ногтей другая форма и руки чище, чем всегда. Может быть, так влияет на людей Париж? Ты и пахнешь иначе.

— Как?

Она сморщила нос.

— Как доктор, — сказала она, — или священник, или незнакомый гость, которого пригласили к чаю.

— Очень жаль, — сказал я в полном замешательстве.

— Пройдет. Сразу видно, что ты вращался в высоких кругах... Что вы делали в гостиной — обсуждали меня, да?

Какое-то неосознанное чувство подсказало мне, что детей невредно порой одернуть.

— Нет, — ответил я.

— Неправда. Жермена сказала, за обедом только и разговору было, что обо мне. Конечно, из-за того, что ты так долго не приезжал, они тоже подняли шум. Что ты делал?

Я решил говорить правду, когда смогу.

— Спал в отеле в Ле-Мане, — ответил я.

— Что тебе вздумалось? Ты очень устал?

— Я много выпил накануне и ударился головой об пол. И возможно, принял по ошибке снотворное.

— Если бы ты не выпил снотворное, ты бы уехал?

— Уехал? Куда? — спросил я.

— Куда-нибудь и не вернулся бы, да?

— Я тебя не понимаю.

— Святая Дева сказала мне, что ты можешь не вернуться. Вот почему я заболела. — Вся ее повелительность исчезла. Она пристально смотрела на меня, не сводя глаз с моего лица. — Ты забыл, — добавила она, — в чем ты признался мне перед тем, как отправился в Париж?

— А в чем я тебе признался?

— Что когда-нибудь, если жизнь станет слишком трудной, ты просто исчезнешь и никогда не приедешь домой.

— Я забыл, что говорил это.

— Я не забыла. Когда дядя Поль и все остальные принялись толковать о том, как плохо у нас с деньгами, и о том, что ты поехал в Париж, чтобы попытаться все уладить, — но дядя Поль не очень-то надеялся на успех, — я подумала: вот самый подходящий момент, теперь-то папа это и сделает. Я проснулась ночью, мне было плохо, и тут пришла Святая Дева и стала у меня в ногах. Она была такая печальная...

Мне было трудно выдержать прямой взгляд детских глаз. Я посмотрел в сторону и, взяв с кровати потрепанного игрушечного кролика, принялся играть его единственным ухом.

— Что бы ты сделала, — спросил я, — если бы я не вернулся?

— Убила себя, — прозвучал ответ.

Я заставил кролика танцевать на простыне. У меня возникло смутное воспоминание, что давным-давно, в те дни, когда у меня еще были игрушки, это меня смешило. Но девочка не смеялась. Она взяла кролика у меня из рук и спрятала под подушку.

— Дети не убивают себя, — сказал я.

— Так почему ты так бежал сюда десять минут назад?

— Ты могла соскользнуть.

— Нет, не могла. Я держалась. Я часто так стою. Но если бы ты не пришел, это было бы другое дело. Я бы отпустила руку. Я бы прыгнула вниз и разбилась. И горела бы вечным пламенем в аду. Но лучше уж гореть в аду, чем жить в этом мире без тебя.

Я снова посмотрел на нее: маленькое овальное личико, коротко остриженные волосы, горящие глаза. Страстное признание потрясло и испугало меня, таких слов можно ожидать от фанатика, но от ребенка?.. Я изо всех сил старался найти подходящий ответ.

— Сколько тебе лет? — спросил я.

— Ты прекрасно знаешь, что в следующий день рождения мне будет одиннадцать.

— Прекрасно. Перед тобой еще вся твоя жизнь. У тебя есть мать, тети, бабушка, все, кто живет в замке. Они любят тебя. А ты болтаешь дикую чепуху о том, что бросишься в окно, если меня здесь не будет.

— Но я их не люблю, папа. Я люблю одного тебя.

Так-то вот. Мне страшно хотелось курить, и я механически стал шарить рукой в кармане. Заметив это, она соскочила с кровати, подбежала к небольшому бюро, стоявшему сбоку от окна, вынула из отделения коробок и, молниеносно вернувшись, протянула зажженную спичку.

— Скажи, — обратилась она ко мне, — правда, что корь опасна для еще не рожденных детей?

Такая резкая смена настроения была непостижима для меня.

— Мама говорила, что, если я заболел корью и она от меня заразится и заразит маленького братца, он родится слепым.

— Не могу сказать. Я ничего в этих вещах не смыслю.

— Если маленький братец будет слепым, ты станешь его любить?

Куда девалась ее серьезность! Она принялась выделывать пируэты — сперва одной ногой, затем другой. Я понятия не имел, как ей ответить. Танцуя, она не спускала с меня глаз.

— Будет очень грустно, если малыш родится слепым, — сказал я, но она точно не слыхала.

— Вы отдали бы его в больницу? — спросила она.

— Нет, о нем заботились бы здесь, дома. Но так или иначе, нам это не грозит.

— Кто знает. Возможно, у меня и сейчас корь; если так, я, конечно, заразила татап.

Я не мог не воспользоваться ее обмолвкой.

— Ты только что говорила, будто у тебя был жар, потому что ты боялась, вдруг я не вернусь домой, — поймал я ее на слове. — Ты и не упоминала о кори.

— У меня был жар, потому что ко мне спустилась Святая Дева. На меня снизошла Господня благодать.

Она перестала кружиться, легла в постель и прикрыла лицо простыней. Я стряхнул пепел в кукольное блюдце и оглядел комнату. Странное сочетание детской и кельи. Помимо того окна, из которого она обстреливала меня каштанами, в наружной стене было еще одно, узкое, окно, под ним — импровизированный аналой из ящика для упаковки, покрытого сверху куском старой парчи. Над ящиком висело распятие, украшенное четками, а на самом аналое между двумя свечами стояла статуэтка Божьей Матери. Рядом на стене висело изображение Святого Семейства и голова Святой Терезы из Лизье; тут же, на скамеечке, сидела, скособочившись, тряпичная кукла с пятнами краски по всему телу и воткнутой в сердце спицей. На шее у нее была карточка со словами: «Святой Себастьян-мученик». Игрушки, более соответствующие ее возрасту, валялись на полу, а возле кровати стояла фотография Жана де Ге в форме, сделанная, судя по всему, задолго до ее рождения.

Я погасил окурки и встал. Фигура под одеялом не шевельнулась.

— Мари-Ноэль, обещай мне что-то.

Никакого ответа. Делает вид, что спит. Неважно.

— Обещай мне, что больше не будешь влезать на подоконник.

Молчание, а затем тихое царапанье; вот оно приостановилось, снова раздалось, теперь громче. Я догадался, что она скребет ногтями спинку кровати, подражая мышам или крысам. Из-под одеяла донесся громкий писк, она взбрыкнула ногой.

Давно забытые присловья, которыми взрослые выражают детям свое неодобрение, стали всплывать у меня в уме.

— Не умно и не смешно, — сказал я. — Если ты сейчас же мне не ответишь, я не пожелаю тебе доброй ночи.

Еще более громкий крысиный писк и яростное царапанье в ответ.

— Очень хорошо, — сказал я твердо и распахнул дверь. Чего я хотел добиться этим, один Бог знает, все козыри были в ее руках, ей достаточно было подойти снова к окну, чтобы это доказать.

Но, к моему облегчению, угроза подействовала. Девочка скинула простыню, села на постели и протянула ко мне руки. Я неохотно подошел.

— Я пообещаю, если ты тоже дашь мне обещание, — сказала она.

Это звучало разумно, но я чувствовал, что тут скрыта ловушка. Разобраться во всем этом мог разве Жан де Ге, не я. Я не понимаю детей.

— Что я должен обещать? — спросил я.

— Не уходить навсегда и не оставлять меня здесь, — сказала она. — А уж если должен будешь уйти — взять меня с собой.

И снова я не мог ответить на прямой вопрос в её глазах. Я попал в невысказанное положение. Мне удалось успокоить мать, угодить жене. Перед дочерью я тоже должен сложить оружие?

— Послушай, — сказал я, — взрослые не могут связывать себя такими обещаниями. Кто знает, что нас ждет в будущем? Вдруг снова начнется война...

— Я не о войне говорю, — сказала она.

В ее голосе звучала странная, извечная мудрость. Хоть бы она была постарше или много моложе, вообще другая. Не тот у нее был возраст. Возможно, я отважился бы сказать правду подростку, но десятилетнему ребенку, еще не покинувшему тайный мир детства, — нет.

— Ну? — сказала она.

Вряд ли хоть один взрослый, ожидая решения своей судьбы, был бы так спокоен и серьезен. Я спрашивал себя, зачем Жану де Ге

вообще понадобилось говорить ей, что он может покинуть дом и исчезнуть. Угроза, чтобы добиться послушания, подобно фокусу, к которому минуту назад прибегнул я сам? Или он сделал это намеренно, чтобы заранее подготовить ее к тому, что может произойти?

— Бесполезно, — сказал я. — Этого я обещать не могу.

— Так я и думала, — сказала она. — Жизнь — тяжелая штука, да? Мы можем лишь надеяться на лучшее — что ты останешься дома и мне не придется умереть молодой.

То, как она это сказала — бесстрастно, смиренно, — было страшно. Уж лучше слезы. Она снова взяла мою руку и поцеловала ее. Я воспользовался моментом.

— Послушай, — начал я. — Я обещаю, если я действительно уйду, сказать об этом тебе первой. Возможно, я вообще никому не скажу, кроме тебя.

— Это честно, — кивнула Мари-Ноэль.

— Ну, а теперь спать.

— Да, папа. У меня сползло одеяло. Поправь мне его, пожалуйста.

В ногах белье сбилось, и я заправил его под тюфяк, чтобы она не могла двинуться с места. Девочка, не сводя глаз, смотрела на меня. Видимо, ждала, что я ее поцелую.

— Доброй ночи, — сказал я. — Спи спокойно. — И поцеловал ее в щеку.

Она была худенькая, одни кости, маленькое лицо, тонкая шейка и огромные глаза.

— Ну и тощая ты, — сказал я. — Тебе надо побольше есть.

— Почему у тебя такой вид, будто тебе стыдно? — спросила она.

— Вовсе нет. Чего мне стыдиться?

— У тебя лицо человека, который лжет.

— Я постоянно лгу.

— Я знаю. Но, как правило, мне — нет.

— Ладно. На сегодня хватит. Спокойной ночи.

Я вышел и прикрыл за собой дверь. Постоял минутку, прислушиваясь, но изнутри не доносилось ни звука, и, спустившись по винтовой лестнице, я прошел коридором к гардеробной.

Внезапно я почувствовал, как я устал. В доме было тихо. Никто не проснулся от лая собаки или моего стремительного бега по лестницам. Я тихонько вошел в ванную и остановился на пороге спальни. Франсуаза не шевельнулась. Я подошел вплотную к кровати и по ее дыханию понял, что она крепко спит. Я вернулся в ванную, разделся и залез в ванну. Вода уже остыла, но я не хотел открывать горячий кран, боясь потревожить Франсуазу шумом. Вытеревшись, я надел пижаму, в которой спал в отеле, и халат, брошенный на спинку стула. Причесался, как и утром, чужими щетками и затем подошел к столу и взял пакет с инициалами «М-Н». По-видимому, книга. Я осторожно развязал ленточку, развернул обертку; да, это была книга, как я и думал. Называлась она «Маленький цветочек», и вместе с ней там была большая цветная литография с ярко раскрашенным изображением Святой Терезы из Лизье, купленная отдельно и вложенная между страницами. На форзаце было написано: «Моей обожаемой Мари-Ноэль от всего сердца. Папа». Я снова завернул книгу и положил ее на стол вместе с остальными пакетами. Видно было, что Жан де Ге очень обдуманно выбирал подарки. Я не знал, что именно он привез матери, но что бы это ни было, она очень его ждала. Медальон осушил слезы жены и помог ей уснуть с возрожденной надеждой. Когда книга будет лежать раскрытой, а она обязательно будет, рядом с картиной на стене башенной комнатки, она даст новую пищу воображению ребенка, девочку станут посещать видения, она станет грезить наяву и, возможно, облегчит этим отцу укоры совести — если у него вообще есть совесть, в чем я сомневался. Я снова высунулся из окна; каштаны по-прежнему падали на гравиевую дорожку по ту сторону рва, от земли струйками поднимался туман, обволакивая темные деревья.

Никто не имеет права играть жизнью людей, нельзя вторгаться им в душу, потешаться над их чувствами. Твое слово, взгляд, улыбка, нахмуренные брови не проходят бесследно, они будят в другом человеке тот или иной отклик: приязнь или отвращение; ты плетешь паутину, у которой нет ни начала, ни конца, нити соединяются с другими нитями, переплетаются между собой так, что один ты вырваться из нее не можешь, твоя борьба, твоя свобода зависят от всех остальных.

Жан де Ге поступал неверно. Он бежал от жизни, он спасался от чувств, которые сам же и вызывал. Ни один человек под этим кровом не вел бы себя сегодня вечером так, как они себя вели, если бы не какой-то его прошлый поступок. Мать не глядела бы на меня испуганными глазами, сестра не ушла бы молча из комнаты, брат не был бы так враждебен, Рене не крикнула бы со ступеней, что она меня ненавидит, жена не плакала бы, дочь не угрожала бы выброситься из окна. Жан де Ге потерпел фиаско. Он был еще больший неудачник, чем я. Вот почему он оставил меня в отеле Ле-Мана и исчез. Это не было шуткой, это было признанием в крахе. Теперь я знал, что он не вернется. Он даже не потрудится узнать, что здесь произошло. Я могу покинуть его дом или остаться здесь — как мне угодно. Если бы я его не встретил, если бы не случилось всего того, что случилось, я в этот самый момент был бы уже в приюте для приезжих в монастыре траппистов, где я надеялся узнать, как пережить фиаско. Я присутствовал бы при вечерней службе монахов, вслед за ними произнес бы нараспев первую свою молитву. Теперь ничего этого не будет, я здесь один. Вернее, не один: я — часть жизни других людей. Никогда раньше меня не волновали ничьи чувства, кроме собственных, если не считать исторических персонажей, которые давным-давно почилы вечным сном, — лишь их мысли и мотивы поступков представляли для меня интерес. Теперь у меня появилась возможность все изменить... при помощи обмана. Я сомневался, что ложь может пойти на благо. Вряд ли. Она ведет только к бедствиям, к войне, к несчастью... Но я ни в чем не был уверен. Если бы я тогда поехал к траппистам, я бы, возможно, знал, но вместо этого я — в чужом доме.

Я отвернулся от окна в гардеробной, вошел в спальню, снял халат и домашние туфли. Затем лег в постель рядом с его несчастной женой — она мирно спала, так и не отколов медальон от шали, — и сказал:

— О Господи, что мне следует делать? Что правильней — уйти отсюда или остаться?

Ответа не было. Лишь вопросительный знак.

Глава 7

Я спал тяжелым сном, и, когда проснулся, ставни были распахнуты настежь, комнату заливал дневной свет, на постели рядом со мной никого не было, из ванной доносились голоса. Я лежал неподвижно, заложив руки за голову и разглядывая все вокруг. Полосатые обои никак не гармонировали с деревянными панелями и тяжелой мебелью, которую, по-видимому, не сдвигали с места ни разу за последние пятьдесят лет. Яркие занавеси и украшенный рюшем туалетный столик в алькове — единственное, чем попытались придать комнате чуть более современный вид. Подушки на креслах, хотя тоже были в полоску, плохо сочетались с обоями по тону: красная полоса перемежалась розовой — это резало глаз, если долго смотреть.

Спальня служила также и будуаром: возле камина стояли чайный столик и небольшой секретер, рядом — горка с фарфором, в глубине — книжный шкаф, однако, как ни странно, комната не казалась уютней, напротив, это придавало всему помещению какой-то казенный и официальный вид, словно перед вами была витрина мебельного магазина; можно было подумать, что тот, кто все это здесь расставил, хотел окружить себя любимыми издавна вещами, но хотя те некогда прекрасно выглядели в другой обстановке, здесь, в этих стенах, они плохо вязались друг с другом.

Голоса умолкли, краны то открывались, то закрывались, в коридоре слышались шаги. Где-то хлопнула дверь, зазвонил телефон, взревел и замер вдали мотор машины, наступила тишина. Затем из коридора донеслось шварканье щетки — кто-то подметал пол. Сон оказал на меня странное действие. Я проснулся совсем в другом расположении духа. Мучительная боль, охватившая меня прошлой ночью, утихла. Обитатели замка вновь стали марионетками, я вновь смотрел на все как на шутку. Вчера вечером я был полон сострадания к ним и к себе, мне казалось, будто мне предначертано судьбой искупить все неудачи, постигшие их и меня в жизни. А сама жизнь казалась мне трагедией. Сон изменил мои представления о добре и зле. Я больше не чувствовал себя в ответе за Жана де Ге, все снова стало веселым, хоть и рискованным, приключением. Какое мне

дело, если даже Жан де Ге вырвался из-под власти семьи и преступил свой моральный долг! Без сомнения, их можно винить в этом не меньше, чем его. Мое сегодняшнее «я» говорило, что вся эта фантастическая ситуация лишь продолжение моего отпуска, и как только она станет неуправляемой — а это рано или поздно случится — я просто брошу все и уйду. Единственное, что мне грозило, если вообще грозило, — разоблачение — могло произойти только вчера. Но и мать, и жена, и дочь — все трое были введены в обман. Какой бы самый грубый промах я теперь ни допустил, его сочтут чудачеством или капризом по той простой причине, что я выше подозрений. Ни один шпион на службе государства не имел такой личины, не получал такой возможности проникать в души людей... если он этого хотел. А чего хочу я? Вчера вечером я хотел исцелять. Сегодня утром — забавляться. Почему бы не сочетать и то и другое?

Я взглянул наверх, на старомодный шнур от звонка, и дернул его. Шварканье щетки в коридоре замолкло. За дверью послышались шаги, раздался негромкий стук. Я крикнул: «Entrez!», ^[22]и в дверях возникла та самая розовощекая горничная, что принесла мне накануне обед.

— Господин граф хорошо спали? — спросила она.

Я ответил, что превосходно, и попросил кофе. Затем поинтересовался, где все остальные, и узнал, что госпожа графиня souffrante ^[23]и еще в постели, мадемуазель в церкви, господин Поль уже ехал в vergerie, ^[24]Мари-Ноэль встает, госпожа Жан и госпожа Поль в гостиной. Я поблагодарил ее, и она вышла. Я узнал три вещи из двухминутного разговора: мой подарок матери ей не помог; Поль вел фамильное дело — стекольную фабрику; черноволосая Рене была его женой.

Я поднялся с постели, прошел в ванную и побрился.

Кофе в гардеробную мне принес Гастон. Вместо формы шофера на нем была полосатая куртка valet de chambre. ^[25]Я приветствовал его как старого друга.

— Значит, сегодня дела неплохи? — сказал он, ставя поднос с кофе на стол. — В гостях хорошо, а дома лучше, да?

Он спросил меня, что я надену, и я ответил: то, что он сам сочтет подходящим для утра. Ему это показалось забавным.

— Не платье красит утро, — сказал он, — а человек, который его надел. Сегодня господин граф сияет, как ясное солнышко.

Я выразил тревогу по поводу здоровья матери. Он сделал гримасу.

— Ну, вы же и сами знаете, господин граф, — сказал он, — как это бывает. В старости чувствуешь себя одиноким, тебе страшно, если у тебя нет тут, — он похлопал себя по груди, — крепкого стержня. Физически госпожа графиня крепче всех нас в Сен-Жиле, и умом она тоже крепка, а вот духом она ослабела.

Он подошел к гардеробу, вынул коричневую куртку из твида и принялся ее чистить.

Я пил кофе и смотрел на него. Я думал о том, что ждало бы меня сейчас, находишься я в гостиничном номере в Туре или Блуа, а на месте Гастона стоял бы дежурный *valet de chambre*. [26] С безразличной любезностью, присущей персоналу отелей, он осведомился бы понравился ли мне город и думаю ли я приехать на следующий год, и забыл бы меня, как только получил бы чаевые, швейцар снес бы вниз мой багаж, и бесхозные ключи заняли бы свое место в ячейке. А Гастон — мой друг, но, глядя на него, я чувствовал себя Иудой.

Я надел одежду, которую он достал, и меня охватило странное чувство, будто на мне платье умершего человека, который некогда был мне очень близок. В дорожном костюме, который я носил накануне, я этого не ощущал. Эта куртка имела свое лицо, от нее исходил, казалось, давно знакомый запах, резкий, но вовсе не неприятный; было видно, что ей приходилось бывать в лесу и под дождем, лежать на траве и голой земле, жариться у костра. Я почему-то подумал о жрецах давно минувших дней, которые во время ритуальных жертвоприношений надевали на себя шкуры убитых животных, чтобы сила и теплая кровь их жертв прибавляли им могущества.

— Господин граф поедет сейчас на фабрику? — спросил Гастон.

— Нет, — сказал я, — может быть, попоздней. Кто упоминал об этом — господин Поль?

— Господин Поль вернется, как всегда, ко второму завтраку. Возможно, он ждет, что вы поедете туда днем с ним вместе.

— Который час?

— Половина одиннадцатого, господин граф.

Я вышел из комнаты; Гастон занялся моей одеждой, рядом в спальне маленькая горничная стелила постель. Я спустился вниз; в

холле меня встретил холодный дух мастики и огромный распятый Христос на стене. Из-за двери в гостиную приглушенно доносились женские голоса; не имея желания туда заходить, я тихонько прокрался к двери на террасу, вышел наружу и завернул за угол к своему вчерашнему убежищу под кедром. Стоял золотой осенний денек, небо не слепило глаза голубизной, а мягко просвечивало сквозь полупрозрачную дымку, от земли поднималось влажное тепло; воздух был как бархат. Замок, прекрасный, безмятежный, отгороженный от внешнего мира старыми крепостными стенами вокруг высохшего рва, казался островом, стоящим особняком от деревни и церкви, липовой аллеи и песчаной дороги, островом, где люди жили по стародавним обычаям и законам и не имели никакого касательства ни к почтальону, который сейчас ехал на велосипеде мимо церкви за мостом, ни к высокому фургону с продуктами, подъезжающему к епископату [27] на углу.

Кто-то пел возле прохода под аркой, ведущего к службам; свернув налево, чтобы не попасться на глаза псу, я увидел внизу женщину, стоявшую на коленях у небольшого углубления внизу стены, которое наполнялось водой из реки. Она стирала простыни на деревянной стиральной доске: во все стороны летели мыльные брызги. Увидев меня над собой, она откинула со лба пряди волос покрытой коричневыми пятнами рукой, улыбнулась и сказала: «*Bonjour, monsieur le comte*». [28]

Я нашел в стене дверь, за которой был узкий пешеходный мостик; пройдя через ров и повернув налево, мимо гаража и конюшни, я очутился среди коровников — солома, мокрая истоптанная земля, — за которыми был отделенный каменной стеной огород, занимавший акра три-четыре, а за ним до самой кромки леса — обработанные поля. Здесь, у коровника, стоял огромный, туго уложенный золотисто-коричневый стог, рядом громоздились одна на другую тыквы, гладкие и круглые, как попки младенцев, с розовой, лимонной и светло-зеленой мякотью, а на самом верху груды лежали грабли и вилы и белая кошка, зажмурившаяся от солнца.

Внутри коровника полы были еще мокры после мытья, по желобу текла вода, а в воздухе стоял приятный запах свежего молока и навоза, впитавшийся в стены и деревянные стойла. Я повернул обратно, но тут из какой-то норы в конце коровника выползла старуха и, широко

улыбаясь беззубым ртом, застучала сабо по направлению ко мне; на плечах ее лежало коромысло с пустыми ведрами, качавшимися в такт шагам.

— *Benjur, m'sieur le camte,* — сказала она и продолжала что-то говорить, кивая головой и смеясь, но так быстро и невнятно, что ответить я не мог, — ее сильный акцент и отсутствие зубов мешали мне ее понять.

Я ушел, махнув ей на прощание рукой, миновал гору яблок для сидра, готовых под пресс, и двинулся дальше мимо бесчисленных рядов свеклы с султанами багрово-зеленых листьев, все еще покрытых росой. Терпкий и влажный запах корнеплодов смешивался с ароматом сухих подсолнечников, полыни и стеблей малины. Наконец через другую дверь в другой стене я снова вышел к замку, туда, где росли каштаны, испещрившие песок дорожки золотисто-зеленым узором из опавших листьев. Здесь, в этом бывшем парке, тоже не было ничего парадного, голубятня стояла посреди пастбища для коров; пастбище тянулось до самого леса, а лесные дорожки расходились из одного центра, как тянутся во все стороны света тени от стержня солнечных часов. В центре этом на небольшой лужайке возвышалась покрытая лишайником статуя Артемиды — ее античное одеяние покрыто щербинами, правой руки нет совсем.

Я прошел до конца одну из этих длинных дорожек, чтобы издали посмотреть на замок. Передо мной было окаймленное рамой полотно: черно-синяя крыша, башенки, высокие трубы и стены из песчаника сжались до размеров иллюстрации к сказке; за этими стенами больше не было живых, чувствующих людей, я рассматривал картинку в детской книжке, холст на стенах галереи, на котором удержишь на миг взгляд из-за его красоты и тут же забудешь.

Я повернул обратно мимо дующей в рог Охотницы и, пройдя всю дорожку, вновь очутился у голубятни: она была забита сеном, но воркующие трубастые голуби не собирались ее покидать — они прихорашивались, красовались друг перед другом, с важным видом заходили внутрь через узкие оконца и вновь выходили, кланялись и распускали веером хвосты. Вдруг высокие окна гостиной распахнулись, и на террасе появились Франсуаза и Рене; они замахали, увидев меня, а идущая между ними детская фигурка вырвалась вперед и с криком: «Папа!.. Папа!..» — пустилась бежать ко

мне, не слушая матери, сердито велевшей ей вернуться. Промчавшись по пешеходному мостику через ров, она запрыгала по траве мне навстречу, а подлетев почти вплотную, стремительно взметнулась вверх, и я был вынужден поймать ее на лету, как балерину.

— Почему ты не поехал на фабрику? — спросила Мари-Ноэль, повиснув у меня на шее и трепля мне волосы. — Дяде Полю пришлось поехать одному, и он очень сердился.

— Я поздно лег спать... по твоей вине, — сказал я и поставил ее на землю. — Ты бы лучше шла в дом, я слышу, мама тебя зовет.

Девочка рассмеялась и, дернув меня за руку, потащила к качелям у голубятни.

— Я совсем здорова, — сказала она. — У меня сегодня ничего не болит. Ведь ты вернулся домой. Почини мне качели. Видишь, веревка лопнула.

Пока я неумело возился с качелями, Мари-Ноэль, не сводя с меня глаз, болтала ни о чем, задавала вопросы, не требующие ответа, а когда я наконец закрепил сиденье, встала на него и начала энергично раскачиваться; тонкие ноги под коротким клетчатый платьем, таким ярким, что рядом с ним ее личико казалось еще бледней, были пружинистые, как у обезьянки.

Я зашел ей за спину, чтобы сильнее ее раскачать, но через минуту она неожиданно сказала:

— Пошли. — И, рука в руке, мы двинулись бесцельно вперед; когда мы достигли дорожки, она принялась подбирать каштаны, но, набив ими кармашек, остальные кинула на землю.

— Мальчиков всегда любят больше, чем девочек? — ни с того ни с сего спросила она.

— Нет, не думаю. С чего бы их любить больше?

— Тетя Бланш говорит, что да, но зато святых мучениц больше, чем мучеников, а потому в райских куцах радость и ликование. Догоняй!

— Не хочу.

Она вприпрыжку побежала вперед, и, пройдя через садовую дверцу в стене, мы очутились на террасе перед замком, в том самом месте, где я был в эту ночь. Подняв глаза на окошечко в башенке, я увидел, как далеко было от подоконника до земли, и мне снова стало страшно. Девочка шла дальше, к конюшням и прочим службам, я за

ней. Прыгнув на верх стены надо рвом, она осторожно пошла по ней среди сплетений плюща. Недалеко от прохода под аркой она спрыгнула на землю, и пес, спавший на солнце, потянулся и стал вилять хвостом; она открыла дверцу в загородке и выпустила его наружу. Увидев меня, пес залаял, а когда я крикнул: «Ко мне, что с тобой, дружище?» — он остался на месте, у ног Мари-Ноэль, словно охраняя ее, и продолжал на меня рычать.

— Перестань, Цезарь, — сказала девочка, дергая его за ошейник. — Ты что, вдруг ослеп? Не узнаешь хозяина?

Он снова завилал хвостом и лизнул ее руку, но ко мне не подошел, и я тоже остался на месте; внутренний голос говорил мне, что стоит мне сделать один шаг, он опять зарычит, а мои попытки подружиться с ним скорее усилят его подозрения, чем успокоят их.

— Оставь пса в покое, — сказал я. — Не распаляй его.

Мари-Ноэль отпустила ошейник, и пес, все еще тихонько рыча, вприпрыжку побежал ко мне, обнюхал и, равнодушно отвернувшись, побежал дальше, тыкаясь носом в плющ на стене.

— Он словно и не рад тебе. Такого еще не бывало. Может быть, он болен. Цезарь, ко мне! Цезарь, дай я пощупаю твой нос.

— Не трогай его, — сказал я. — Он здоров.

Я двинулся по направлению к дому, но пес не побежал за мной и растерянно стоял, глядя на девочку; Мари-Ноэль подошла к нему, погладила по широким бокам, пощупала нос.

Я перевел глаза от замка на мост и деревню за мостом и увидел, что от церкви спускается вниз какая-то женщина и подходит к въездным воротам. Женщина была в черном, на голове — старомодная шляпка без полей, в руках молитвенник. Наверно, Бланш. Не глядя по сторонам, словно не замечая, что кругом ясный день, она шла, гордо выпрямившись, по гравиевой дорожке к ступеням парадного входа. И даже когда к ней подбежала Мари-Ноэль, ничто не дрогнуло в каменном лице, жесткие черты не смягчились.

— Цезарь рычал на папу, — крикнула девочка, — и был вовсе не рад его видеть! Этого никогда не бывало. Вы не думаете, что он заболел?

Бланш кинула взгляд на пса, который трусил к ней, виляя хвостом.

— Если никто не собирается взять собаку на прогулку, надо ее снова запереть, — сказала она, поднимаясь на террасу; поведение пса явно не встревожило ее. — А ты, раз ты достаточно здорова, чтобы гулять, вполне можешь прийти ко мне заниматься.

— Мне сегодня не обязательно заниматься, да, папа? — запротестовала девочка.

— Почему бы и нет? — сказал я, полагая, что этот ответ поможет мне снискать милость Бланш. — Спроси лучше маму, как она думает.

Словно не услышав моих слов, Бланш прошла мимо нас прямо в дом; казалось, я просто для нее не существую. Мари-Ноэль взяла меня за руку и сердито ее затрясла.

— Почему ты на меня сердишься? — спросила она.

— Я не сержусь.

— Нет, сердишься. Ты не хочешь со мной играть, и при чем тут тапан, если я не стану сегодня заниматься?

— А кто же должен приказывать здесь — я?

Она вытаращила на меня глаза.

— Но ты всегда это делаешь! — сказала она.

— Прекрасно, — твердо сказал я. — В таком случае, если твоя тетя согласна потратить на тебя время, ты будешь сегодня заниматься. Это тебе не повредит. А теперь пойдем наверх, у меня что-то для тебя есть.

Мне вдруг пришло в голову, что гораздо проще будет раздать подарки во время ленча, когда все соберутся внизу за столом, а не вручать их порознь. Но девочке придется отдать подарок сейчас, чтобы задобрить ее, — она всерьез надулась на меня из-за того, что я велел ей заниматься.

Мари-Ноэль поднялась со мной в гардеробную, и я отдал ей сверток с книгой, взяв его со стола. Она нетерпеливо сорвала оберточную бумагу и, когда увидела, что внутри, вскрикнула от радости и прижала к себе книгу обеими руками.

— Как я о ней мечтала! — воскликнула она. — О, мой любимый, мой дорогой папочка, как ты всегда угадываешь, что мне нужно?

Не в силах сдержать восторга, она кинулась мне на грудь, и я снова подвергся ее детским ласкам: она обвила мою шею руками, терлась щекой о мою щеку и осыпала меня беспорядочными поцелуями. Но теперь я этого ждал и закружил ее по комнате;

казалось, будто играешь со львенком или длинноногим щенком — любое молодое животное привлекает нас юностью и грацией движений. Я больше не чувствовал себя неловко, она пробудила во мне невольный отклик. Я дергал ее за волосы, щекотал сзади шейку, мы оба смеялись; ее естественность, ее доверие придавали мне смелости и уверенности в себе... и в ней. Знай это прелестное, льнущее ко мне существо, что я чужак, я вызвал бы у нее неприязнь и страх, она тут же замкнется в себе, нас ничто не будет связывать, в лучшем случае я стану ей безразличен, как псу. Мысль о том, что этого не произойдет, поднимала во мне дух, вызывала ликование.

— Мне обязательно идти к тете Бланш? — спросила Мари-Ноэль, догадавшись, что у меня изменилось настроение, и желая обратить это себе на пользу.

— Не знаю, — ответил я, — решим это попозже.

Опустив ее на пол, я остался стоять у стола, глядя на остальные свертки.

— Я хочу тебе что-то сказать, — заговорил я, — я привез из Парижа подарки не только для тебя. Маме я отдал подарок вчера вечером, бабушке тоже. Давай отнесем те, что лежат здесь, в столовую, пусть все развернут их в столовой.

— Дяде Полю и тете Рене? — сказала она. — Зачем? Ведь у них нет дня рождения.

— Да, но дарить подарки — хорошо. Это показывает, что ты дорожишь человеком, ценишь его по заслугам. У меня есть подарок и для тети Бланш.

— Для тети Бланш? — Она смотрела на меня, раскрыв глаза от удивления.

— Да. А почему бы и нет?

— Но ты никогда ничего ей не даришь. Даже на Рождество и Новый год.

— Ну и что? А теперь подарю. Может быть, она станет от этого чуть добрее.

Девочка продолжала изумленно смотреть на меня. Затем принялась грызть ногти.

— Мне не нравится, как ты придумал, — положить подарки внизу на столе. Слишком похоже на день рождения или другой

праздник. У нас не случится ничего такого, о чем бы ты мне не сказал? — встревоженно спросила она.

— Что ты имеешь в виду?

— Сегодня не должен родиться мой братец?

— Конечно нет. Подарки не имеют к этому никакого отношения.

— Волхвы приносили подарки... Я знаю, что ты привез тамап медальон, она приколотла его к платью. Она сказала тете Рене, что медальон стоит кучу денег и с твоей стороны было гадко его покупать, но это показывает, как ты ее любишь.

— Что я тебе говорил? Нет ничего лучше, чем дарить людям подарки.

— Да, но не на виду у остальных, а каждому свой. Я рада, что мой «Маленький цветочек» не будет лежать в столовой. А что ты привез остальным?

— Сама увидишь.

Положив книжку на пол, Мари-Ноэль встала на четвереньки и раскрыла первую страницу. Я смутно вспомнил, что, в отличие от взрослых, дети читают, лежа животом на полу, рисуют стоя, а есть предпочитают на ходу. Я вдруг подумал, что надо бы подняться наверх, узнать, как чувствует себя графиня, и сказал Мари-Ноэль:

— Пойдем спросим, как здоровье бабушки, — но она продолжала читать и, не поднимая головы и не отрывая глаз от книжки, сказала:

— Шарлотта говорит, ее нельзя беспокоить.

Однако я пошел наверх со странной уверенностью, что я делаю все как надо.

Я без труда нашел дорогу на третий этаж и, пройдя по коридору, подошел к двери в его конце. Я постучал, но не получил ответа, не слышно было даже лая. Я осторожно приоткрыл дверь; в комнате было темно, ставни закрыты, портьеры задернуты. Я с трудом разглядел на кровати фигуру графини, прикрытую одеялом. Я подошел и посмотрел на нее. Она лежала на спине, подтянув простыню к подбородку, и тяжело дышала, на бледном лице — серовато-грязный отлив. В комнате было душно, пахло чем-то затхлым. Хотел бы я знать, насколько серьезно она больна, подумал я, и как это нехорошо со стороны Шарлотты оставлять ее без присмотра. Я не мог сказать, действительно ли она спит или лежит с закрытыми глазами, и я шепнул: «Вам что-нибудь нужно?» — но она не ответила. Тяжелое

дыхание казалось жестким, мучительным. Я вышел из комнаты, тихонько прикрыв дверь, и в конце коридора столкнулся нос к носу с Шарлоттой.

— Как маман себя чувствует? — спросил я. — Я только что заглядывал к ней, но она меня не услышала.

В черных глазках женщины мелькнуло удивление.

— Она теперь будет спать часов до двух-трех, господин граф, — шепнула она.

— Доктор уже был? — спросил я.

— Доктор? — повторила она. — Нет, само собой.

— Но если она заболела, — сказал я, — будет разумней его позвать.

Женщина вытаращила на меня глаза:

— Кто вам сказал, что она больна? С ней все в порядке.

— Я понял со слов Гастона...

— Просто я, как обычно, велела передать на кухню, чтобы госпожу графиню не беспокоили.

Голос ее звучал обиженно, точно я несправедливо обвинил ее в какой-то оплошности, и я понял, что совершил ошибку, поднявшись сюда, чтобы осведомиться о здоровье ее пациентки, которая и больной-то не была, а просто спала.

— Должно быть, я не то услышал, — коротко сказал я, — мне показалось, он говорил, будто она заболела.

Повернувшись, я спустился вниз и пошел в гардеробную за подарками, которыми намеревался оделить своих ничего не подозревавших родственников. Мари-Ноэль все еще была здесь, ее так захватило чтение, что она заметила меня только тогда, когда я тронул ее носком туфли.

— Знаешь, папа, — сказала девочка, — Святая Тереза была самым обыкновенным ребенком, вроде меня. В детстве в ней не замечали ничего особенного. Иногда она плохо себя вела и причиняла горе родителям. А затем Бог избрал ее своим орудием, чтобы принести утешение сотням и тысячам людей.

Я взял со стола свертки.

— Такие вещи нечасто случаются, — сказал я. — Святых редко когда встретишь.

— Она родилась в Алансоне, папа, это почти рядом с нами. Интересно, воздух здесь такой, что делает из человека святого, или человек сам должен для этого что-то сделать?

— Спроси лучше тетю.

— Спрашивала. Она говорит, просто молиться и поститься — еще недостаточно, но если ты действительно смиренен и чист сердцем, на тебя может вдруг, без предупреждения, снизойти Божья благодать. Я чиста сердцем, папа?

— Сомневаюсь.

Я услышал, что к замку подъехала машина; Мари-Ноэль подбежала к окну и высунула голову.

— Дядя Поль, — сказала она. — Для него у тебя самый маленький подарок. Не хотела бы я быть на его месте. Но мужчины умеют скрывать свои чувства.

Мы, как заговорщики, спустились вниз, в столовую, где я еще не был, — длинная узкая комната налево от входа с окнами на террасу, — и я, схитрив, попросил девочку разложить подарки, что она сделала с явным удовольствием, забыв прежние сомнения. Во главе стола было, очевидно, мое место, так как оно осталось без подарка, а напротив, к моему удивлению, оказалось место Бланш, а не Франсуазы, как я думал; подарок Рене девочка положила рядом со мной, сверточек, предназначенный Полю, — рядом с Бланш, а свою книжку — с другой стороны от меня. Я пытался разгадать эту головоломку, но тут в столовую вошел Гастон, уже не в полосатой куртке, а во фраке, за ним — розовощекая Жермен и еще одна горничная, которую я раньше не видел; судя по полноте и кудрявым, как у барашка, волосам, она была дочерью женщины, стиравшей белье у рва.

— Можете себе представить, Гастон, — сказала Мари-Ноэль, — папа привез всем подарки, даже тете Бланш. Это не потому, что у нас какой-нибудь праздник, просто в знак того, что папа ценит нас всех по заслугам.

Я заметил, как Гастон кинул на меня быстрый взгляд, и спросил себя, что в этом необычного — привезти из поездки подарки. Может быть, ему пришло в голову, что, покупая их, я был пьян? Спустя минуту он распахнул двойные двери в конце столовой, ведущие, как оказалось, в библиотеку, и объявил: «Госпоже графине подано!» Небольшая группа, открывшаяся моим глазам, могла сойти с жанровой

картины, написанной в чопорной манере XVIII века. Франсуаза и Рене сидели поодаль друг от друга в высоких жестких креслах, одна — с книгой, другая — с вышиванием. Поль облокотился на спинку кресла своей жены, высокая темная фигура Бланш вырисовывалась на фоне задней двери. Все подняли головы, когда в комнату вошли мы с Мари-Ноэль.

— Папа приготовил вам сюрприз, — крикнула девочка, — но я не скажу какой!

Я подумал: будь сейчас на моем месте настоящий Жан де Ге, смог бы он увидеть их моими глазами или родственная связь — ведь это была его семья, он составлял с нею единое целое — притупила бы остроту восприятия и их красноречивые позы ни о чем не говорили бы ему, казались бы естественными, отражали бы их прошлое и настоящее, известное ему, как никому иному. Я, чужак, был зрителем в театре, но в каком-то смысле я был также и режиссер: обстоятельства вынуждали их подчиняться мне, их поступки зависели от моих. Я был Мерлин, Просперо, а Мари-Ноэль — Ариэль, исполняющий мои приказания, посредник между двумя различными мирами. Я сразу же увидел страх на лицах Франсуазы и Рене, но выраженный в разной степени и, безусловно, вызванный разными причинами; на первом отразилась неуверенность, боязнь, как бы ей не причинили боль. На втором, настороженном и подозрительном, было видно не столько опасение, сколько недоверие. Поль, не скрывая неприязни, кинул на меня кривой враждебный взгляд. Бланш, стоявшая у двери, не проявила вообще никакого интереса. Но я заметил, что она вся напряглась и посмотрела мимо меня на Мари-Ноэль.

— Что это, Жан? — спросила Франсуаза, поднимаясь с места.

— Ничего особенного, — сказал я. — Мари-Ноэль любит все окутывать тайной. Просто я привез вам по подарочку, и мы с ней положили их в столовой у ваших приборов.

Напряжение ослабло. Рене перевела дыхание. Поль пожал плечами. Франсуаза улыбнулась, дотронувшись до медальона, приколотого к кофточке.

— Боюсь, ты истратил в Париже слишком много денег, — сказала она. — Если ты и дальше будешь дарить мне такие подарки, у нас ничего не останется.

Она прошла в столовую, остальные за ней. Я сделал вид, будто завязываю шнурок, чтобы все остальные сели и я мог убедиться, что мое место действительно во главе стола. Так оно и оказалось, и я тоже сел. Наступила тишина, в то время как Бланш читала молитву, а мы сидели, склонив головы над тарелками. Я заметил, что Мари-Ноэль как зачарованная смотрит в конец комнаты на Бланш, а та не сводит взгляда со свертка возле салфетки. На ее обычно неподвижном лице изумление боролось с гадливостью и ужасом, словно перед ней была живая змея. Затем губы ее сжались, она овладела собой и, не глядя больше на подарок, взяла салфетку и положила себе на колени.

— Вы разве не развернете пакет? — спросила Мари-Ноэль.

Бланш не ответила. Она отломил кусок хлеба, лежавшего у ее тарелки, и тут я увидел, что все остальные глядят на меня так, точно произошло нечто небывалое. Может быть, что-нибудь — то, как я сел за стол, как держался, какой-нибудь невольный жест — наконец выдало меня и они догадались, что я обманщик?

— В чем дело? — сказал я. — Почему вы все на меня уставились?

Девочка, мой домашний ангел — хранитель, снова выручила меня.

— Все удивляются, что ты подарил подарок тете Бланш, — сказала она.

Вот оно что! Я вышел из образа. Но уличен пока не был.

— Вы же сами знаете, что я люблю тратить деньги, — громко сказал я, затем, вспомнив слова Жана де Ге в бистро в Ле-Мане и подумав о том, как тщательно он выбирал подарки, чтобы они пришлись по вкусу тем, кому он их купил, добавил: — Надеюсь, я привез каждому то, в чем он больше всего нуждается. Это входит в мою систему.

— Знаете, — сказала Мари-Ноэль, — папа подарил мне «Маленький цветочек» — житие Святой Терезы из Лизье. А я хотела иметь эту книжку больше всего на свете. Наверяд ли папа подарил тете Бланш житие Святой Терезы из Авила. Я щупала пакет, там не книга, он не той формы.

— Может быть, ты перестанешь болтать, — сказал я, — и начнешь есть. Развернуть подарки можно и попозже.

— Лично я хотел бы получить один-единственный подарок, — сказал Поль, — возобновленный контракт с Корвале, ну и неплохо бы

еще в придачу чек на десять миллионов франков. Тебе случайно не удалось выполнить мое желание?

— Я бы сказал, что твой подарок тоже не той формы, — ответил я, — и я терпеть не могу говорить о делах во время еды. Однако охотно поеду с тобой днем на фабрику.

Ощущение собственной мощи было безграничным. Я ничего не знал ни о делах Жана де Ге, ни о контракте, но чувствовал, что сумел их провести, обман удался, так как все с аппетитом принялись за еду. Моя уверенность в себе росла с каждой минутой, и я кивнул Гастону, чтобы он налил мне вина. Я вспомнил, с каким успехом рассказывал матери о поездке в Париж, о театрах и встрече со старыми друзьями, и решил повторить свой рассказ; и точно так же, как вчера я получил от нее немало полезных сведений, сегодня мне удавалось то тут, то там ухватиться за путеводную нить. Постепенно я узнал, что во время войны Жан де Ге участвовал в движении Сопротивления, а Поль был в плену, что Жан де Ге и Франсуаза встретились и поженились сразу же после освобождения. Отдельные обрывки фамильной истории мелькали передо мной, никак не связанные между собою. Факты, собранные по мелочам, еще надо было на досуге рассортировать и просеять, я все еще не имел понятия о том, что связывает между собой Жана де Ге, Поля и Рене, знал лишь, что эти двое — муж и жена и что Поль, по всей видимости, управляет или помогает управлять принадлежащей семье стекольной фабрикой. У Бланш ни в цвете волос и глаз, ни в чертах лица не было ничего общего с матерью, братом и племянницей, так поразительно похожими друг на друга, а Рене и Поль, оба смуглые и черноволосые, вполне могли бы сойти за родственников, не будь мне известно, что это не так.

Бланш почти не участвовала в разговоре и ни разу за время еды не обратилась ко мне; помогала мне больше всех, как это ни странно, Франсуаза — главный источник моей информации. Жалобные нотки исчезли из ее голоса, она казалась счастливой, даже веселой, и я догадывался, что причиной тому был медальон, к которому она то и дело прикасалась. Я полагал, что Рене полностью завладеет разговором, но она сидела хмурая и почти не раскрывала рта, а когда Франсуаза спросила, как ее мигрень, ответила, что лучше ей не стало.

— Почему ты не примешь чего-нибудь? — раздраженно спросил Поль. — Без сомнения, какое-нибудь лекарство против нее есть. Я

думал, доктор Лебрэн дал тебе таблетки.

— Ты сам прекрасно знаешь, что они мне не помогают, — сказала Рене. — Лучше лягу днем и попробую уснуть, у меня была ужасная ночь.

— Может быть, тетя Рене заразилась корью? — вступила в разговор Мари-Ноэль. — Говорят, она начинается с головной боли. Но для тети Рене это не страшно, ведь она не собирается рожать ребеночка.

Не очень удачное замечание. Рене вспыхнула и бросила на племянницу злобный взгляд, а Франсуаза, с неодобрением посмотрев на дочь, находчиво, пожалуй, даже слишком, перевела разговор, спросив Поля, как себя чувствует рабочий, который обжег руку в плавильной печи.

— Если бы деньги, которые идут на пособия по болезни, шли в дело, нам легче было бы без страха смотреть в будущее, — сказал Поль. — А теперь рабочие пользуются любым предлогом, чтобы бить баклуши, зная, что спокойно проживут за наш счет. Когда был жив отец, все было по-другому.

— Наш отец был человек умный и честный, — неожиданно произнесла Бланш. — Чего, к сожалению, нельзя сказать о его сыновьях.

«Молодец, Бланш», — подумал я, глядя на нее с удивлением. Поль, выдвинув челюсть и покраснев так же густо, как жена, проговорил быстро:

— Ты хочешь сказать, что я кого-нибудь обманываю?

— Нет, — сказала Бланш, — ты сам обманываешься.

— О, пожалуйста, — утомленно произнесла Франсуаза, — неужели обязательно все это обсуждать за столом... Я думала, мы хоть раз в жизни забудем про дела.

— Моя дорогая Франсуаза, — сказал Поль, — если бы Жан соизволил вложить в фабрику хотя бы четверть того, что он тратит на дурацкие побрякушки, вроде той броши, что приколата у вас на груди, нам вообще не пришлось бы обсуждать дела. Никто бы ни на что не пенял. И меньше всех я.

— Вам самому известно, что это первый подарок за много месяцев, — сказала Франсуаза.

— Допустим. Но, возможно, другим повезло больше, чем вам.

— Каким другим?

— Откуда мне знать? Разъезжает по свету у нас один Жан. Я остаюсь дома. Привилегия младшего брата.

Достаточно злобный выпад, но наконец я получил последнее, недостающее звено. Поль — тоже де Ге, cadet. [29]И, судя по его поведению, примириться он с этим не может. Мозаичная картина больше не была загадкой, все встало на свои места. Вот только вряд ли Рене будет очень удобной невесткой.

— Если вы хотите намекнуть, — сказала Франсуаза, — что Жан выкидывает деньги на других женщин...

— Ну да, — вклинилась в разговор Мари-Ноэль, — ведь папа купил подарки для тети Бланш и тети Рене, и, что до меня, мне очень хочется узнать, что он им привез.

— Ты успокоишься наконец? — сказала Франсуаза, поворачиваясь к ней. — Или выставить тебя из-за стола?

Мы уже прикончили телятину и овощи и приступили к фруктам и сыру. Я почувствовал, что пора разрядить атмосферу.

— Может быть, откроем подарки? — весело сказал я. — Я согласен с Франсуазой, давайте заведем о семейных делах. Начинай, Рене, пусть подарок прогонит твою мигрень.

Мари-Ноэль попросила у меня разрешения выйти из-за стола и, подбежав к Рене, встала рядом. Та нехотя развязала ленточку. Отложила в сторону узорчатую обертку и несколько слоев папиросной бумаги. Мелькнул кусочек кружева, Рене приостановилась и торопливо сказала:

— Разверну дальше наверху. Боюсь испачкать.

— Но что это такое? — спросила Франсуаза. — Блузка?

Мари-Ноэль опередила тетю, протянувшую руку к папиросной бумаге, и выхватила из нее тончайшую ночную сорочку, легкую и прозрачную, как паутинка, — легкомысленный покров новобрачной в летнюю ночь.

— Какая прелесть! — сказала Франсуаза, но в ее тоне не хватало теплоты.

Рене забрала милый пустичок у Мари-Ноэль и снова завернула в папиросную бумагу. Она не поблагодарила меня. Только сейчас я понял, что совершил faux pas. [30]Этот дар не предназначался для посторонних глаз. Девочка была права, когда сказала, что подарок —

личное дело и люди предпочитают разворачивать его без свидетелей. Но заглаживать вину было поздно. Поль хмуро смотрел на жену. Франсуаза улыбалась искусственной сияющей улыбкой, как человек, который хочет сделать вид, что ничего особенного не произошло. На лице Бланш было презрение. Радовалась одна Мари-Ноэль.

— Она будет у вас парадная, да, тетя Рене? Как жаль, что никто, кроме дяди Поля, вас в ней не увидит. — И стрелой кинулась на его сторону стола. — Интересно, что папа привез вам? — сказала она.

Поль пожал плечами. Подарок жене притупил остроту ожидания.

— Понятия не имею. Можешь сама развернуть, — сказал он.

Взяв нож, она перерезала бечевку дрожащей от волнения рукой. А я искал оправдание для Жана де Ге. Я припомнил вчерашний вечер, встречу у лестницы внизу... Только теперь я понял, чего от меня ждали. При tête à tête ^[31] в отсутствие Поля легкомысленное подношение было бы кстати. Но в столовой, рядом с сыром, оно было не к месту. Однако, решил я, промах искупается тем, что Жан де Ге вез подарок не только ей, но и брату. Увы, я ошибался. Худшее ждало меня впереди. Девочка с удивленным видом вытащила из гофрированной бумаги небольшой пузырек.

— Лекарство, — сказала она. — Тут написано: «Эликсир». — И, глядя на печатный вкладыш, прочитала во всеуслышание: — «...повышает тонус органов. Гормональный препарат для противодействия импотенции...» Что такое импотенция, папа?

Поль выхватил у нее пузырек со вкладышем, чтобы прекратить чтение.

— Дай это сюда и замолчи, — сказал он, засовывая пузырек в карман, затем в ярости обернулся ко мне: — Если таково твоё представление о шутке, то я его не разделяю.

Он встал и вышел из комнаты. Все молчали. Гнетущая тишина. На этот раз я не смог найти оправдания Жану за его бессмысленную жестокость.

— Как не стыдно! — укоризненно сказала Мари-Ноэль. — Дядя Поль разочарован, и я его понимаю.

Я почувствовал на себе взгляд Гастона, стоявшего у буфета, и опустил глаза в тарелку. Я был один в стане врагов. На Рене я не осмеливался и взглянуть, неодобрительное покашливание Франсуазы говорило о том, что у нее поддержки я тоже не найду. Жан де Ге, даже

вдрызг пьяный, не сумел бы так все изгадить и запутать, как я. Просить прощения было бесполезно.

— «Благодарю Тебя, Боже наш, что насытил нас земными благами...»— сказала Бланш и поднялась со своего места. Франсуаза и Рене последовали за ней, и я остался один стоять у стола.

Вошел Гастон с подносом и щеткой, чтобы смести со стола крошки.

— Если господин граф собирается ехать на фабрику, машина стоит у ворот, — сказал он.

Я встретил его взгляд, в нем был упрек. Это окончательно меня доконало, только его преданность поддерживала мою веру в себя.

— То, что сейчас произошло, — сказал я, — не было сделано умышленно.

— Да, господин граф.

— По сути дела, это была ошибка. Я забыл, что там, внутри.

— По-видимому, господин граф.

Что еще я мог сказать? Я вышел из столовой и прошел через холл на террасу: у самой лестницы стоял «рено», а у открытой дверцы — ждущий меня Поль.

Глава 8

Избежать встречи было нельзя. За все, что случилось, в ответе был я. То, что Жан де Ге намеревался сделать с оглядкой, один на один, я испортил своим легкомыслием и напускной непринужденностью.

— Ладно. Садись. Веди ты, — отрывисто сказал я и забрался в машину следом за Полем.

Я отдавал себе отчет в том, что, выдав себя за другого человека, присвоив не только его внешность, но и внутреннюю суть, я должен искупать проступки, совершенные мной самим, хоть и под его именем. Это казалось мне почему-то делом чести.

— Я сожалею о том, что произошло, — сказал я. — Это недоразумение. У меня в чемодане все перепуталось.

Поль ничего не ответил, и, взглянув на него сбоку, в то время как мы поднимались по склону холма и ехали мимо церкви, я впервые заметил его сходство с Бланш — те же узкие губы с опущенными вниз уголками. Но прямой нос и густые брови были у него одного и землистый цвет лица — тоже; у Бланш лицо гладкое, бледное, с нежной кожей.

— Не верю я тебе, — сказал он наконец. — Ты поступил вполне сознательно, чтобы выставить меня на посмешище перед всеми, даже перед слугами. Представляешь, как они сейчас валяются со смеху на кухне! И я бы смеялся до упаду, будь я на их месте.

— Глупости, — сказал я, — никто ничего не заметил. И я уже сказал тебе: произошло недоразумение. Забудь это.

Мы проехали деревню и покатали мимо кладбища по прямой дороге, ведущей к лесу.

— Я всю жизнь мирился с твоими шуточками, — снова заговорил Поль, — но всему есть предел. Одно дело развлекаться в клубе, в мужской компании, другое — куражиться над человеком в присутствии его, да и своей жены и ранить их чувства в придачу. Честно говоря, я не думал, что даже у тебя такой дурной вкус.

— Ладно, — сказал я, — я извинился. Что еще ты от меня хочешь? Если ты не веришь, что произошло недоразумение, говорить

больше не о чем.

Лес обступил нас со всех сторон, солнечный, радостный, золотисто-зеленый — дуб, граб, лещина и бук, деревья, которые с течением времени делаются все раскидистой, стволы все бледней, а листва дает свет, а не тень. В отличие от хвойных, темных и зимой и летом, их цвет от весны к осени становится все сочнее, и сейчас, на исходе лета, они роняли на землю яркие краски.

— И еще одно, — сказал Поль, — тебе не кажется, что пора перестать относиться к Рене как ко второй Мари-Ноэль? Если ты балуешь свою дочь — это твое дело, меня это не касается, но я возражаю против того, чтобы мою жену превращали в пустую куклу потому только, что ты ищешь всеобщего признания.

Что мне было сказать в свою защиту? Я постарался представить, как поступил бы Жан де Ге, если бы ненароком вытащил ночную рубашку на всеобщее обозрение.

— Все женщины любят, чтобы их баловали, — сказал я. — Ты же видел, что я подарил Франсуазе. Естественно, я и Рене хотел привезти какой-нибудь красивый пусячок. Не дарить же ей жития святых, как Мари-Ноэль!

Поль повернул машину налево, и, покинув асфальтовое покрытие, мы очутились на песчаной проселочной дороге. Лес стал редеть, впереди была прогалина.

— Подарок твой вульгарен, а дарить его за обедом было бестактно! — сказал Поль. — Ты бы посмотрел на Франсуазу, не только на Рене. Во всяком случае, если снова вздумаешь дарить что-нибудь моей жене, посоветуйся сперва со мной.

Дорога сузилась, и я увидел, что она кончается тупиком. Прямо перед нами тянулся длинный ряд домиков для рабочих, направо, посреди огромного двора, возвышалось похожее на сарай строение с покатою крышей и высокими железными трубами, его окружали другие строения, поменьше; двор был обнесен оградой, отделявшей фабрику от домиков и дороги. Повсюду сновали рабочие с тачками, бежала по рельсам вагонетка с огромной грудой стеклянного лома. Из труб вместе с дымом вырывался звук, похожий на тяжелое дыхание больного, — это дышала жаром плавильная печь. Поль провел машину в ворота, остановился у сторожки сразу за ними, вышел и, не

сказав больше ни слова, зашагал через двор ко второму большому зданию позади строения с высокими трубами.

Я пошел следом за ним и, пробираясь между рельсами для вагонеток, догадался по хрусту под ногами, что земля покрыта крошечными частичками стекла, мягкими, как песок на взморье. Стекланный песок был повсюду, в грязи под ногами, в самой почве, и горы отходов тоже были из стекла, голубого, зеленого и желтого. Рабочие с ручными тележками останавливались, чтобы меня пропустить, и я заметил, что Полю они кивали, мне же улыбались, правда без особой почтительности, но с теплотой и дружелюбием, как своему; чувствовалось, что они искренно рады меня видеть. Это польстило моему тщеславию, я постыдно радовался тому, что их симпатия проявлялась по отношению ко мне, а не к Полю.

Поль подошел к длинному двухэтажному дому восемнадцатого века с крышей из покрытой лишайником красной черепицы и, открыв дверь, переступил порог квадратной обшарпанной комнаты с панелями на стенах и каменным полом; я за ним. Посреди комнаты стоял стол, заваленный книгами, скоросшивателями и бумагами, в углу — большая конторка. Когда мы вошли, из-за стола поднялся лысый человек в очках, со впалыми щеками, одетый в темный костюм.

— Bonjour, monsieur le comte, ^[32]— сказал он мне. — Значит, вам стало лучше?

Я понял, что Поль рассказал ему какую-то сказку о том, что я болен, или у меня похмелье, или и то и другое, и заметил, что улыбка у этого человека была боязливая, робкая, а не приветливая и сердечная, как у рабочих, и глаза за очками смотрят тревожно.

— А со мной ничего не было, — сказал я. — Я просто спал как убитый.

Поль засмеялся — невеселым презрительным смехом человека, которому вовсе не смешно.

— Да, наверно, приятно поваляться утром в постели, — сказал он, — мне это недоступно уже много лет, да и Жаку тоже, если на то пошло.

Тот сделал примирительный жест, глядя то на меня, то на Поля, не желая задеть ни одного из нас, затем сказал:

— Может быть, вы хотите обсудить что-нибудь наедине? Если так, я вас оставлю.

— Нет, — сказал Поль, — будущее фабрики касается вас не меньше, чем нашей семьи. Я, как и вы, хочу услышать, чего Жан добился в Париже.

Они смотрели на меня, я — на них. Затем я подошел к стулу у конторки, сел и вынул сигарету из лежащей там пачки.

— Что именно вы хотели бы знать? — спросил я, наклонившись, чтобы прикурить; это помогло мне скрыть от них лицо — я боялся, как бы оно не выдало мои сомнения в том, какого ответа от меня ждут.

— О, Mon Dieu... [33] — сказал Поль в отчаянии, точно мой осторожный, уклончивый ответ был последней каплей, переполнившей чашу терпения. — Нас всех интересует только один вопрос: закрываем мы фабрику или нет.

Кто-то — кажется, мать? — говорил что-то насчет контракта. Поездка в Париж была связана с этим контрактом. С каким-то Корвале. Жан де Ге должен был его заключить. Этого они все ждали. Что ж, прекрасно, они его получают.

— Если ты хочешь спросить, удалось ли мне возобновить контракт с Корвале, отвечаю: да, — сказал я.

Они глядели на меня во все глаза. Жак крикнул «Браво!», но Поль прервал его:

— На каких условиях, с какими поправками? — спросил он.

— На наших. Без всяких оговорок.

— Ты хочешь сказать, что они будут брать наш товар на прежних условиях, несмотря на более низкие цены, которые они платят другим фирмам?

— Я их уломал.

— Сколько раз вы встречались?

— Несколько.

— Но как ты можешь это объяснить? Зачем тогда все эти письма? Что они хотели — взять нас на пушку? Заставить понизить цену — или что?

— Не могу сказать.

— Значит, ты уехал из Парижа вполне довольный переговорами и мы можем продолжать работать по крайней мере еще полгода?

— Вроде бы так.

— Не могу этого понять. Тебе удалось добиться того, что я полагал невозможным. Прими мои поздравления.

Он взял с конторки сигареты, протянул Жаку, закурил сам. Они принялись что-то обсуждать, не обращая на меня внимания, а я повернулся на вращающемся кресле к окну, спрашивая себя, о чем все-таки у нас шла речь. Возможно, через минуту они опять начнут задавать мне вопросы, не имеющие для меня никакого смысла, и моя полная безграмотность в стекольном деле тут же меня изобличит, но пока... пока — что?

Я посмотрел в окно и увидел заросший фруктовый сад, золотой от солнца, яблони, густо усыпанные яблоками, под грузом которых ветви клонились до самой земли. На лугу за садом паслась старая-престарая лошадь с длинной белой гривой. В огороде мотыжила землю какая-то женщина в черном переднике и серой шали, в сабо на ногах; в разрыхленной ею земле клевали что-то куры. Глядя на эту мирную, идиллическую картину, обрамленную перекладинами оконного переплета, я представил, что передо мной гравюра или офорт, и пожелал и дальше быть сторонним наблюдателем, а не участником событий, путником, сидящим в поезде у окна и смотрящим, как проносится мимо белый свет. Однако раньше я именно на то и сетовал, что не участвую в общей жизни, не знаю здешних обычаев, не связан с людьми.

— У тебя контракт с собой? — спросил Поль.

— Нет, — ответил я. — Они его вышлют.

Женщина с мотыгой подняла голову и посмотрела на окно. Она была крупная, пожилая, с широкими бедрами и загорелым морщинистым крестьянским лицом; взгляд ее был подозрительный, настороженный, но, заметив меня, она улыбнулась и, бросив мотыгу, тяжело зашагала к дому.

— Я думаю, господин Поль, можно объявить всем, что мы не закрываемся, — сказал Жак. — Я, естественно, никому ничего не говорил, но вы и сами знаете, как разносятся слухи. Всю прошлую неделю рабочие гадали, чем все кончится...

— Еще бы мне не знать! — сказал Поль. — Атмосфера была невыносимая. Да, сообщите новость, как только сочтете нужным.

Женщина тем временем подошла к самому окну, и Поль, только сейчас заметив ее, сказал:

— А вот и Жюли, и, как всегда, ушки на макушке. Хорошие ли новости, плохие, ей надо первой растрезвонить о них.

Он высунулся из окна:

— Господин Жан добился в Париже успеха. И не делайте вида, будто не понимаете, о чем я говорю.

Лицо женщины расплылось в широкой улыбке. Протянув руку, она сорвала с лозы на стене большую гроздь винограда и королевским жестом подала ее мне.

— Угощайтесь, — сказала она, — специально для вас растила, господин граф. Ешьте сразу, пока не сошел налет. Значит, все в порядке?

— Все в порядке, — подтвердил Поль; он внезапно оттаял, стал больше похож на человека.

— Я так и думала, — сказала женщина. — Нужно быть с головой, чтобы задать им жару. Да и кто они такие, хотела бы я знать! Считают, раз они известны в Париже, так могут диктовать нам. Их давно пора было проучить. Надеюсь, вы усовестили их, господин Жан?

В ней была надежность Гастона, его сила, то же пламя преданности в глазах, но если те, кому она отдала свою любовь, не оправдают ее ожиданий, она не задумается им об этом сказать. Я перевел взгляд с ее доброго загорелого морщинистого лица на поникшие под плодами ветви яблонь, на пасущуюся лошадь и на опушку леса за полями.

— Значит, тонка будет реветь, трубы дымить и стекло покрывать пылью пол моей сторожки, и целых полгода можно не думать о том, что нас ждет впереди, — сказала она. — Вы не забудете зайти к нам, господин граф, перемолвиться словечком с Андре? Вы, само собой, слышали, что с ним приключилось?

Я вспомнил разговор насчет раненого рабочего.

— Да, — сказал я, — зайду попозже, — и отвел взгляд от ее преданных, ко любопытных глаз.

Она снова вернулась к своим грядкам, распугав по пути кур, которые били крыльями у ее ног, а я, отвернувшись от окна, увидел, что Поль вешает на плечики пиджак и надевает рабочий халат.

— За то время, что тебя не было, — сказал он, — почта пришла совсем небольшая. Все лежит здесь, на конторке. Жак тебе покажет.

Он раскрыл дверь, через которую мы вошли, и вышел, а я остался наедине с Жаком и кучкой конвертов. Я распечатывал их один за другим; там в основном были счета и требования от разных фирм

перевести деньги за поставленные товары, затем запрос от подрядчика по перевозке и накладная с железной дороги. Я просматривал их от первой до последней и все больше убеждался, что ничего там не понимаю. От меня ожидалось какие-то действия, какие-то указания, я должен был что-то писать или диктовать, но для меня эта беспорядочная куча цифр ничего не значила, я был беспомощен, как ребенок, внезапно брошенный во взрослый мир.

Как ни странно, единственным выходом было сказать правду. Я отодвинул бумаги в сторону и спросил:

— Зачем это мне? Что вы хотите, чтобы я сделал?

Еще одна странность: Жак улыбнулся; казалось, после того как Поль ушел и мы остались вдвоем, он почувствовал себя свободней и ответил:

— Вам вовсе не обязательно этим заниматься, господин граф, раз контракт возобновлен. Тут повседневные дела, я и сам управлюсь.

Я встал из-за конторки, подошел к двери и, стоя на пороге, стал смотреть на низкие строения напротив, на ходивших взад-вперед рабочих, на выезжавший из ворот грузовик, на ферму — дом и хозяйственные постройки в каких-нибудь пятидесяти ярдах от плавильни: приятное, хотя и не совсем уместное соседство. Во дворе фермы важно вышагивали гуси, женщина развешивала на веревках белье, и мычание коров за забором перемежалось металлическим лязгом, долетавшим оттуда, где была плавильная печь. Из высоких труб вырывались клубы дыма, старый колокол на рифленой железной крыше в заплатах вдруг запылал под солнцем, а у входа две гипсовые фигуры — Мадонна с младенцем и святой Жозеф воздевали руки, благословляя здешнюю небольшую общину, всех, кто тут работал и жил. Судя по возрасту зданий и всей атмосфере, община эта существовала и сто, и двести, и триста лет назад, и ни война, ни революция ничего здесь не изменили. Фабрика оставалась на ходу, потому что семья де Ге и рабочие верили в свое дело, потому что они хотели видеть здесь все таким, как оно есть. Небольшая патриархальная стекольная фабричка была органичной частью этих мест, как ферма, как поля, как лес, как старые-престарые яблони, и погубить ее было все равно что выдернуть из земли корни живого растения.

Я посмотрел через плечо на Жака, сидевшего за конторкой, и сказал:

— Сколько времени такая вот фабрика может конкурировать с большими фирмами, у которых есть современное оборудование и деньги, чтобы хорошо платить рабочим?

Он поднял голову от бумаг, в которых я не мог разобраться, глаза испуганно заморгали за линзами очков.

— Это зависит от вас, господин граф. Мы все знаем, что долго нам не продержаться. Фабрика не приносит дохода и из забавы богатого человека превратилась в обузу. Если вы идете на то, чтобы терять деньги, это ваше дело. Только...

— Только — что?

— Вы бы не несли сейчас такие убытки, если бы раньше взяли на себя немного больше труда позаботиться о том, что вам принадлежит. Простите меня за прямоту. Не мое дело это вам говорить. Как бы вам объяснить, господин граф... Фабрика похожа на семью, на домашний очаг. Кто-то должен ее возглавлять, быть ее стержнем, ее основой, и, в зависимости от того, кто встанет во главе, она процветает или приходит в упадок. Как вы знаете, я никогда не работал на вашего отца, я приехал сюда позднее, но его очень уважали, он был справедливый человек, и господин Дюваль был таким же. Если бы он не погиб, он жил бы с семьей в этом доме и рабочие чувствовали бы, что у фабрики есть будущее. Он понимал рабочих, он бы сумел приспособиться к изменившейся ситуации, но так, как обстоят дела сейчас...

Он поглядел на меня извиняющимся взглядом, не в силах продолжать.

— Кого вы обвиняете — меня или моего брата? — спросил я.

— Господин граф, я никого не обвиняю. Обстоятельства сложились против нас всех. У господина Поля очень сильное чувство долга, и с самого конца войны он целиком посвятил себя фабрике, но нельзя закрывать глаза на то, что все это время он вел борьбу против издержек и заработной платы, заведомо обреченную на провал, и вы знаете не хуже меня, что с рабочими он не ладит и порой это сильно затрудняет дело.

Я подумал, как незавидно положение Жака. Буфер, посредник, он с утра до ночи трудится не покладая рук, на его плечах лежит все

самое неприятное: проверка заказов, переговоры с кредиторами, попытки сохранить хоть какой-то баланс; последняя опора и поддержка приходящей в упадок фабрики, он, возможно, к тому же мишень проклятий и хозяев, и рабочих.

— А как насчет меня? — спросил я. — Выкладывайте по-честному. Вы же на самом деле думаете, что провалил дело я.

Он улыбнулся снисходительной, мягкой улыбкой и протестующе пожал плечами, красноречиво сказав о своих чувствах без всяких слов.

— Господин граф, — проговорил он, — здесь все вас любят... никто никогда и словечка не вымолвит против вас. Но вас ничто здесь не интересует, вот и все. Вам неважно — пусть фабрика хоть завтра развалится на части. Во всяком случае, я полагал так до сегодняшнего дня. Все мы думали, что вы поехали в Париж развлечься, а оказалось... — Он взмахнул руками. — Вы, как выразился господин Поль, добились невозможного.

Я перевел с него глаза на открытую дверь и увидел, что Жюли опять, тяжело ступая, идет по двору к сторожке, рабочие со смехом окликают ее, а она весело кричит что-то в ответ, перекидываясь с ними шутками.

— Вы не обиделись на меня, господин граф, за то, что я сказал? — спросил Жак с трогательным смирением.

— Нет, — ответил я. — Нет, я вам благодарен.

Я вышел из конторы и подошел к плавильне.

Внутри, возле печи, люди работали полуголые из-за жары. Повсюду вокруг меня были чаны и бочки, брусья и соединительные трубы; стоял страшный шум и лязг; откуда-то доносился непривычный, резкий, но довольно приятный запах. Когда я подошел поближе, рабочие расступились, улыбаясь мне той же радушной, дружелюбной улыбкой, что раньше: снисходительно, ободряюще — так улыбаются ребенку, если ему вздумалось позабавиться; ведь чем бы он ни занялся, это будет всего лишь игра.

Я пробыл там недолго и снова вышел на свежий воздух, затем подошел к другим, меньшим строениям. Здесь рабочие в комбинезонах были заняты более тонким делом. Я держал в руках голубые, зеленые и желтые обломки отбракованного стекла, казавшегося мне безупречным, флаконы и бутылочки разной формы и

размера. Оттуда я направился к помещениям, где шла сортировка и упаковка готовых изделий и лежали партии товаров, готовых к отправке, и ни разу нигде я не видел, чтобы люди работали равнодушно, автоматически, как обычно бывает на фабриках. Видел я другое: небольшое предприятие, где рабочие разделяют интересы хозяев и смотрят на свой труд как на личное право и личную обязанность, и это не меняется с течением времени, так было, есть и будет.

— Развлекаетесь, господин Жан?

Я поднял глаза от стакана, который держал в руках, — передо мной было широкое улыбающееся лицо Жюли, женщины из сторожки.

— Можете назвать это и так, если хотите, — сказал я.

— Оставьте серьезную работу господину Полю, — продолжала она. — Такая его доля. Ну как, пойдете повидать Андре?

И двинулась вперед через ворота по песчаной дороге мимо домиков, где жили рабочие. Они были выкрашены в желтый цвет, как и контора на территории фабрики, с такими же пятнистыми черепичными крышами и слуховыми окнами; их окружали садики, огороженные полуманьями заборами. Жюли ввела меня в дверь третьего домика, состоявшего из одной-единственной комнаты — вместе гостиной, кухни и, очевидно, спальни, так как перед очагом на постели со сбитыми простынями лежал мужчина, а в углу играл ломаным грузовиком ясноглазый мальчуган примерно того же возраста, что Мари-Ноэль.

— Ну-ка посмотри, кто к нам пришел, — сказала Жюли. — Сам господин граф. Сядь-ка повыше и покажи, что ты еще жив.

Мужчина улыбнулся. Он был бледным, с ввалившимися глазами, и я увидел, что от шеи до пояса его обматывают бинты.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я. — Что случилось?

Жюли, бранившая мальчика за то, что он не встал, когда мы вошли, обернулась к нам.

— Что случилось? — повторила она. — Он чуть не прожог себе бок, вот что. И это называется современное оборудование, современные печи! Да кому они такие нужны?! Садитесь, господин Жан. — Она скинула кошку с единственного кресла, обмахнула его передником. — Ты что, язык проглотил? — спросила она мужчину, но

тот слишком плохо себя чувствовал, чтобы говорить. — Господин граф вернулся из Парижа — повеселился там на славу — и сразу пришел к тебе, а ты даже улыбнуться ему не можешь. Смотри, еще обидится и уедет обратно... Подождите, я сварю кофе.

Она наклонилась над очагом и помешала огонь согнутой кочергой.

— Сколько вам придется пролежать в постели? — спросил я мужчину.

— Они мне не говорят, господин граф, — ответил он, нерешительно поглядывая на Жюли, — но, боюсь, пройдет немало времени, пока я приду в форму и смогу опять работать.

— Все в порядке, — сказала Жюли, — господин Жан все прекрасно понимает. Незачем тревожиться. Он последит, чтобы тебе выплатили что положено и компенсацию за увечье тоже. Да и никто не останется без работы, да, господин Жан? Мы снова можем свободно вздохнуть. Эти акулы в Париже не настолько глупы, чтобы ответить нам отказом. Ну-ка, ну-ка, пейте кофе, господин Жан. Я знаю, вы любите много сахара. Всегда любили.

Она достала из шкафчика пакет с рафинадом, и, заметив это, мальчик подошел к ней и, назвав grand-mère, ^[34]стал кланчить один кусочек.

— Убирайся! — закричала она. — Как ты себя ведешь?! Ах, с тех пор как ушла твоя мама, с тобой нет никакого сладу. — И мне — громким шепотом, которого мальчик не мог не слышать: — Беда в том, уж очень он, бедняжка, по ней скучает. И Андре болен, приходится мне баловать его. Ну что же вы, пейте кофе. Подбавит румянца вашему бледному городскому лицу.

Румянец-то нужен был лежащему в постели Андре, а не мне, и кофе тоже, но Жюли ничего не предложила ему; глядя по сторонам, я заметил, что со стен валится штукатурка, а на потолке — большое сырое пятно, которое станет еще больше после первого же дождя. Зоркие карие глаза Жюли сразу углядели, куда я смотрю.

— Что я могу сделать? — сказала она. — Постараюсь найти минутку и подправить это место. Я уж и не припомню, когда в наших домах был ремонт, но что толку приходить к вам с жалобами. Мы знаем, что у вас самого нет денег, как и у всех нас, а забот хватает.

Возможно, через год, два... Как поживают все в замке? Как чувствует себя госпожа графиня?

— Не очень хорошо, — сказал я.

— Что поделать, мы все не становимся моложе. Как-нибудь зайду ее повидать, если смогу вырваться. А госпожа Жан? Когда она ждет?..

— Не могу сказать точно. По-моему, довольно скоро.

— Если родится здоровенький мальчик, все будет по-иному. Была бы я не такая старуха, пришла бы нянчить его, напомнило бы мне прежние дни. Хорошее было время, господин Жан. Люди изменились, никто больше не хочет работать. Если бы не работа, я бы умерла. Знаете, почему плохо госпоже графине? Ей нечего делать. Пейте кофе. Положите еще сахару. Один кусочек.

Я видел, что измученные глаза Андре прикованы к моей чашке, глаза мальчика — тоже, знал, что оба они хотят сладкого кофе, но ни тот, ни другой не получают, и не потому, что Жюли скупится, а потому, что ни кофе, ни сахара просто не хватило бы на всех. А не хватило бы, так как не на что было купить хоть небольшой запас. Андре зарабатывал для этого на фабрике недостаточно денег, а фабрика принадлежала Жану де Ге, которому было наплевать, если она хоть завтра закроется навсегда. Я поставил чашку с блюдцем обратно на плиту.

— Спасибо, Жюли, — сказал я, — я чувствую себя куда бодрей.

Я встал, и, поскольку визит прошел по ритуалу и закончился надлежащим образом, она без протестов проводила меня до двери.

— Андре больше не сможет работать, — сказала она, когда мы вышли наружу. — Вы, конечно, и сами это увидели. Ему-то это говорить ни к чему, только разволнуется. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Хорошо еще, что я могу за ним присматривать. Передайте привет госпоже графине. Я срежу ей несколько гроздей винограда, она раньше очень любила его... После вас, господин граф.

Но я не пошел с ней обратно под предлогом, что мне надо взять что-то в машине, и смотрел, как она пересекает ухабистый двор, проходит мимо груд стеклянных отбросов, давит в пыль тяжелыми сабо мелкие осколки и сливается наконец с серыми от дождей и времени стенами фабричных зданий, — ее спокойная крепкая фигура в черной шали и черном переднике как нельзя лучше вписывалась в окружающую обстановку. Когда она исчезла в запущенном садике

позади конторы, я залез в «рено» и повел машину обратно по идущей вверх лесной дороге тем путем, которым приехал сюда. Километра через четыре на запад, перед развилкой, я остановился у обочины, закурил сигарету, вышел и посмотрел на панораму внизу.

Позади на лесной прогалине пряталась покинутая мной небольшая община рабочих со стекольной фабрики, а спереди, за опушкой леса, до самого горизонта простирались поля и луга, виднелись разбросанные там и сям фермы, а еще дальше — деревушки, увенчанные каждая церковным шпилем, а за ними опять поля и леса. Прямо у моих ног была деревня Сен-Жиль, торчал шпиль ее церкви, но замок скрывался за гущей деревьев. Видны были только ферма — желтые строения казались еще ярче под осенним солнцем — и крепостные стены — светлая полоса на темном фоне.

О, если бы я мог смотреть на все это со стороны бесстрастными глазами! Утреннее настроение почему-то испортилось, мне стало грустно, детская игра в «тайного агента» больше не казалась забавной, она обернулась другой стороной — кинутый мной бумеранг мне же нанес удар. Чувство собственной мощи, ликование, что мне удалось провести ничего не подозревавших людей, претворилось в стыд. Мне хотелось, чтобы Жан де Ге оказался на деле другим. Было неприятно на каждом шагу обнаруживать, что он пустое место. Возможно, достанься мне роль человека хорошего, это вдохнуло бы в меня новую жизнь, я старался бы стать его достойным, другое обличье послужило бы к этому стимулом. Но оказалось, что я сменил свою жалкую персону на такое же ничтожество. И Жан де Ге имел огромное преимущество передо мной: ему все было безразлично. Или все-таки нет? Поэтому он и исчез?

Я продолжал смотреть на тихую, уединенную деревушку, заметил стадо черно-белых коров, бредущих мимо церкви, а позади пастушонка, и тут за спиной у меня раздался голос. Обернувшись, я увидел улыбающееся лицо старого кюре; он ехал — подумать только! — на трехколесном велосипеде, из-под длинной, подтянутой кверху сутаны виднелись черные сапожки на пуговицах. Станный и трогательный вид, умиляющий своей комичностью.

— Приятно постоять на солнышке? — окликнул меня кюре.

Мне вдруг захотелось открыться ему. Я подошел к велосипеду, положил руки на руль и сказал:

— Святой отец. У меня тяжело на душе. Я прожил последние сутки во лжи.

Лицо его сочувственно сморщилось, но из-за кивающей без конца головы он был так похож на китайского болванчика в витрине посудной лавки, что не успел я вымолвить эти слова, как разуверился в его помощи. Что он может сделать, спросил я себя, здесь, на вершине холма, сидя на детском велосипеде, для человека, погрязшего в трясины притворства и обмана?

— Когда вы в последний раз исповедовались, сын мой? — спросил он; это напомнило мне школьные дни, когда, задав похожий вопрос, старшая сестра давала мне порцию слабительного.

— Не знаю, — ответил я, — не помню.

Продолжая кивать — из сочувствия и потому, что не кивать он не мог, — он сказал:

— Сын мой, зайдите ко мне попозже вечером.

Я получил тот ответ, какого заслуживал, но что в нем было пользы? Попозже будет поздно. Ответ был мне нужен сейчас и здесь, у развилки дороги. Я хотел, чтобы мне сказали, имею ли я право уехать и оставить обитателей замка справляться с жизнью своими силами или нет.

— Что бы вы обо мне подумали, — спросил я, — если бы я покинул Сен-Жиль, скрылся, исчез и не вернулся обратно?

На его старом, розовом, как у младенца, лице вновь появилась улыбка; он потрепал меня по плечу.

— Вы никогда так не поступите, — сказал он. — Слишком много людей от вас зависит. Вы думаете, я бы вас осудил? Нет. Не мое дело клеймить позором. Я продолжал бы молиться за вас, как молился всегда. Полно, хватит болтать чепуху. Помните: если у вас хандра, если дух ваш в смятении, это хороший признак. Это значит, что *von Dieu* ^[35] где-то рядом. Идите кончайте свою сигарету на солнышке и подумайте о Нем.

Он помахал мне рукой и тронулся с места, зацепив педалью сутану; я видел, как он съезжает со склона свободным ходом, как наслаждается своей коротенькой прогулкой. Вот он свернул в деревню, объехал стадо, остановился у церкви и, прислонив велосипед к стене, исчез в дверях. Я докурил сигарету, залез в машину и направился следом за ним; пересек деревню и подъехал по мосту ко

входу в замок. Заметив Гастона у стены неподалеку от служб, я крикнул ему, чтобы он отвел машину обратно на фабрику для Поля. Затем вошел в дом, поднялся по лестнице в гардеробную и нашел на столе пачку писем, которую уже видел в кармане чемодана.

Среди них было письмо с печатным адресом и названием фирмы Корвале на обратной стороне конверта. Я прочитал его от корки до корки, все оказалось именно так, как я опасался. Там говорилось, что они весьма сожалеют о своем неблагоприятном для нас решении, в особенности учитывая наши многолетние связи и последнюю личную встречу, однако по здравом размышлении, рассмотрев все «за» и «против», они не находят возможности возобновить наш контракт.

Глава 9

Меня в настоящий момент не волновала судьба Жана или кого-нибудь из членов семьи здесь, в замке; судя по всему, они были готовы к худшему и не так с облегчением, как с удивлением увидели, что пока еще не идут ко дну. Они смогут и дальше жить на доходы с земель или на капитал, полученный по наследству; конечно, замок будет ветшать, все вокруг приходило в запустение, сами они постареют, будут вечно всем недовольны, станут винить весь мир за то, что с ними случилось. Ну и пусть. Меня волновали прежде всего рабочие, которых я видел сегодня на фабрике: полуодетые, они обливались потом у плавильных печей или в отдельных мастерских умело выполняли каждый свою задачу. В особенности тревожили меня лежащий в постели Андре с обожженным забинтованным боком и Жюли, угостившая меня кофе с сахаром из своих жалких запасов. Мне было не все равно, как они на меня посмотрят, когда я вернусь на фабрику и они узнают, что новости вовсе не хорошие, а плохие, что я им лгал, контракт с Корвале не возобновлен; я больше не увижу их дружелюбных, доверчивых улыбок, говорящих, что они рады мне; они и смотреть на меня не станут, отведут глаза, даже не сочтут нужным выразить свое презрение, а когда Жак объяснит им, что произошло недоразумение и, к сожалению, при создавшихся обстоятельствах господин граф не имеет возможности вести дело себе в убыток, у них появится — в меньшей степени, ведь физически у них ничего не болит — тот же погасший, безжизненный взгляд, что у Андре, то же отсутствующее выражение. На них обрушится удар, который сами они отвести не в силах, но господин граф мог бы его предотвратить, если бы заглядывал вперед, если бы это его волновало. Они проводят нас глазами, когда мы с Полем сядем в машину и уедем в замок, а затем — печь потушена, машины остановлены, груды флакончиков и пузырьков так и не отправлены в Париж — они вернутся в свои домики на песчаной дороге, домики с облупленными стенами и пятнами сырости на потолке, и скажут друг другу: «Ему все равно, но с нами-то как? Что будет теперь с нами?»

Самой большой загадкой было, почему я принимал это так близко к сердцу. Преданность в глазах Жюли, слепое доверие в глазах Андре, чувство, близкое к восхищению, сменившее враждебность в глазах Поля и Жака, дружелюбие и радушие в глазах рабочих — все это предназначалось не мне, а Жану де Ге. Значит, завтрашнее разочарование и презрение тоже уготованы ему и не могут затронуть мое «я». Человек, который разгуливает в одежде другого, демонстрирует черты его лица, цвет волос и глаз и замашки, не отвечает за него, он просто оболочка, фасад, так же мало похожий на подлинник, как чехол скрипки на укрытый в нем инструмент. При чем тут мои чувства? Я не был так слеп, чтобы хоть на секунду вообразить, будто симпатия ко мне объяснялась какими-то внутренними моими качествами, которые неожиданно прорвались наружу и вызвали в них отклик: их улыбки сияли для Жана де Ге, для него одного, как ни мало он был их достоин. Выходит, я хотел оградить от унижения самого Жана де Ге? Да. Я не мог ронять его в их глазах. Этого человека, не стоящего спасения, надо было избавить от позора. Почему? Потому, что он похож на меня?

Я сидел в гардеробной, глядя на вежливое, но недвусмысленное письмо от Корвале, и спрашивал себя о том, какие мысли проносились в голове Жана де Ге, когда он клал его в кармашек чемодана. Передо мной стоял выбор: или сказать Полю, как только он вернется, что я солгал и контракт расторгнут, или оставить его в заблуждении. Первое повлечет за собой взаимные упреки, необходимость признаться во лжи перед рабочими и немедленную ликвидацию фабрики — то самое, насколько я понял, что так или иначе случилось бы, если бы Жан де Ге вернулся домой. Второе приведет к еще большей неразберихе: производству и отправке в Париж продукции, которую никто не заказывал, и телефонным звонкам от служащих Корвале, удивленно требующих объяснения, почему туда прибыла еще одна партия наших изделий.

По теперешнему контракту у нас в запасе было еще несколько дней... или недель? Я не знал. Даже если бы передо мной лежали сведения и цифры, вряд ли я в них разобрался бы. Я ничего не понимал в коммерции. Я был связан деловыми отношениями лишь с академическими учреждениями, которые платили мне скромное жалованье, да с теми издателями, которые публиковали мои статьи и

лекции. Как, спрашивал я себя, поступил бы владелец стекольной фабрики, если он хочет связаться с фирмой, покупающей его товар? Без сомнения, если дело не терпит отлагательства, он позвонил бы им из конторы. Но я был не в конторе. Я был в гардеробной замка в глуши Франции и даже не знал, где тут телефон.

Я сунул письмо Корвале во внутренний карман куртки и спустился вниз. Было около четырех часов дня. По пути мне никто не попался навстречу. Стояла тишина. Все отдыхали. В воздухе все еще держались запахи пищи; они доносились из кухни, куда я пока не проник, говоря о том, что какие-то частицы снеди с вымытой уже посуды пристали к стенам и низкому потолку, а на смену съеденному уже готовы новые овощи, только что из земли, ждущие, когда их ополоснут и вытрут для вечерней трапезы. Я рискнул подойти к полуоткрытой двери в гостиную, прислушался и, ничего не услышав, переступил порог. В комнате не было никого, кроме Франсуазы, спящей на диване. Я прокрался обратно и вернулся в холл. Рене, без сомнения, была наверху; что она делала — лежала, желая успокоить мигрень, или примеряла мой воздушный подарок, — я не знал и не желал знать. Мари-Ноэль, вынужденная моей внезапной поездкой на фабрику заниматься с Бланш, возможно, была сейчас в ее голой, мрачной спальне, несмотря на то что снаружи светило солнце, заливая лучами голубятню и качели. Я нашел телефонный аппарат в темной нише между макинтошами — худшее место трудно было себе представить, да и сам аппарат оказался допотопным: микрофон был приделан к стене, а трубка висела сбоку. Над ним на такой высоте, что глаз не мог его не увидеть, висело прикрепленное кнопками изображение двух обезглавленных мучеников, чью текущую ручьем кровь лизали алчные псы, — еще одно свидетельство заботы Бланш о наших душах.

Я снял трубку с рычага и стал ждать; через минуту раздалось жужжание и гнусавый голос пропел: «l'écoute». [36] Я не удивился, когда, неловко листая телефонную книгу, обнаружил, что мой номер «Сен-Жиль, 2». С тех пор как поставили аппарат, здесь, должно быть, ничего не изменилось. Я попросил соединить меня с Парижем, дав номер, напечатанный на письме от Корвале. Скорчившись в своей темной норе, я стал считать минуты; казалось, прошла целая вечность. Когда мне наконец сообщили, что контора Корвале на

линии, мне послышались на лестнице чьи-то шаги, и я в панике уронил и письмо, и трубку. Со станции повторили вызов — в болтающейся трубке бубнил монотонный речитатив; схватив письмо, чтобы разобрать размашистую подпись внизу бумаги, я пробормотал в микрофон, чтобы позвали господина Мерсье. «Кто его просит?» — донесся вопрос. «Граф де Ге», — ответил я. И внезапно — теперь, когда меня никто не видел, — мой обман показался мне еще чудовищней. Меня попросили подождать, и через несколько секунд господин Мерсье объявил, что он к моим услугам.

— Господин Мерсье, — сказал я, — тысяча извинений за то, что я побеспокоил вас без предупреждения, а также за то, что столь неучтиво не подтвердил получение вашего письма. Я был вынужден внезапно уехать из-за болезни одного из моих домашних, не то непременно еще раз посетил бы вас, чтобы окончательно договориться по одному или двум вопросам, которые остались неясными. Я уже повидался с братом, мы обсудили с ним все пункты и готовы понизить цену согласно вашим требованиям.

После некоторого молчания на другом конце линии вежливый, но крайне удивленный голос сказал:

— Но, господин граф, на прошлой неделе мы с вами обговорили все до мельчайших подробностей. Вы выложили свои карты на стол, за что мы вам благодарны. Вы хотите сказать, что готовы вновь вступить в переговоры с нашей фирмой?

— Именно, — подтвердил я. — Мы с братом готовы пойти на любые жертвы, лишь бы не закрывать фабрику и не выбрасывать на улицу рабочих.

Снова молчание. Затем:

— Простите меня, господин граф, но это прямо противоположно тому, что вы сами дали нам понять.

— Не спорю, — сказал я, — но, честно говоря, я действовал, не посоветовавшись с семьей. Вы же знаете, фабрика — наше фамильное дело.

— Само собой разумеется, господин граф. Именно поэтому мы всегда учитывали и ваши интересы. Мы весьма сожалели о том, что были вынуждены пересмотреть контракт, а в особенности о том, что вам придется закрыть фабрику, если мы не сможем договориться, как это, увы, и оказалось. Но ведь вы сказали, если я не ошибаюсь, что вас

лично это мало трогает, фабрика — удовольствие, которое вам не по средствам.

Ровный, невозмутимый голос продолжал журчать, и я представил себе говорящего и Жана де Ге лицом к лицу в кожаных креслах: они угощают друг друга сигаретами, пожимают равнодушно плечами и не успевают закончить беседу, как выбрасывают ее из головы. Ну, не забавно ли — я, чужак, делаю из себя посмешище, сражаясь за безнадежное дело потому только, что не хочу, чтобы горстка рабочих, пожилая крестьянка и ее искалеченный сын презирали своего хозяина, а он и не заметил бы этого, а если бы и заметил, не придавал бы значения.

— Все, что вы говорите, — сказал я, — абсолютно верно. Речь идет только о том, что я передумал, изменил свое решение. Я пойду на любые оговорки, лишь бы фабрика продолжала работать. Издержки — моя забота. Я прошу возобновить контракт на ваших условиях, не важно, какие они.

Более длительное молчание, затем быстро:

— Вы сами понимаете, господин граф, как мы были огорчены, когда пришлось оборвать деловые связи с вами и вашей семьей, но мы не видели другого выхода. Однако, если вы готовы пойти нам навстречу в отношении цен — естественно, решить этот вопрос экспромтом, по телефону, невозможно, — я посоветуюсь со своими коллегами-директорами. Возможно, конечный результат удовлетворит обе стороны.

Неуверенность, прозвучавшая в его голосе, подтвердила собственные мои опасения. От меня ждут письма, после чего будет заключен новый контракт согласно новым условиям. Мы обменялись любезностями, раздался щелчок — Мерсье повесил трубку. Я протянул руку за своим платком — вернее, платком Жана де Ге — и вытер пот со лба; мало того что в норе между макинтошами было жарко — разговор потребовал таких усилий, что совершенно вымотал меня. Я связал себя обязательствами, не имея понятия, как их выполнить. Если цена, которую фирма Корвале платила нам за все эти флакончики, пузырьки и бутылочки, не покрывала издержек производства и заработной платы рабочим — как, видимо, и было, иначе нельзя объяснить практическое положение дел, — должен быть найден другой источник денег... И тут я услышал чье-то дыхание в

трубке, которую все еще бессознательно держал у уха: кто-то подслушивал мой разговор по телефонному отводу — я почти не сомневался в этом — и теперь ждал, не узнает ли чего-нибудь еще. Я ничего не сказал и продолжал плотно прижимать трубку. Через несколько минут присоединилась центральная станция, меня спросили, переговорил ли я с Парижем, и, когда я ответил «да» и линия замерла, я вновь услышал чье-то дыхание, затем негромкий щелчок — тот, кто подслушивал мой разговор, повесил трубку. Тот, но кто? Где был второй аппарат? Я тоже повесил трубку и вышел в холл. Шаги, которые раздались на лестнице, когда меня соединили с Парижем, возможно, были плодом моей тревоги и воображения. Так или иначе, вниз никто не спустился, всюду была тишина. Но дыхание у самого уха я не вообразил. Я вышел на террасу — какое это теперь имело значение, заметят меня или нет? — и посмотрел на крышу здания, но увидел лишь основной телефонный провод, проведенный внутрь между башней и стеной. Высокие трубы башенки, даже головы горгулий, скрывали все остальные электрические и телефонные провода, если они и были, к тому же я был слишком невежествен в этих вопросах, чтобы догадаться, куда шел какой провод.

Я знал теперь, что в замке есть второй аппарат и кто-то меня подслушал, но это могло подождать. Гораздо важней и безотлагательней было выяснить финансовое положение Жана де Ге. В наполовину использованной чековой книжке, за которой я поднялся в гардеробную, были внесены какие-то загадочные цифры и буквы, но баланса я не нашел, и единственное, что я узнал и что могло мне пригодиться, было название его банка и адрес филиала в соседнем городке. Ни бюро, ни конторки здесь не было. Но ведь где-нибудь в замке должна быть комната, где его владелец пишет письма и держит деловые бумаги. Я вспомнил про библиотеку, в которой семья собралась перед ленчем. Я снова спустился в холл и прошел через столовую. Распахнув закрытые двери, я очутился в полумраке, так как ставни высоких окон в другом конце библиотеки были закрыты для защиты от солнца. Я распахнул их и увидел в углу то, что искал, — секретер. Он был заперт. Но связка ключей, а также мелочь, бумажник, чековая книжка и водительские права — личные вещи Жана де Ге, ни одну из которых мне не довелось пустить в ход до этой минуты, — были при мне с того времени, как я надел его костюм. Я

попробовал ключи, и один подошел. То, что я занимаюсь взломом, не волновало меня. Я снова играл в «тайного агента», и кому я причинял этим вред?

Я откинул крышку, и взору предстал чудовищный хаос, как обычно в шкафах у большинства людей, — не сравнить с идеальным порядком в бумагах у меня дома, — битком набитые верхние ячейки, письма отдельно от конвертов, счета, квитанции — все вперемешку, сунуто как попало. С ящиками было не лучше. Заполненные до отказа книгами и документами, бумагами и фотографиями — здесь, без сомнения, заключалась не только история жизни владельца замка, но и летопись всего рода де Ге, — чуть приоткрывшись, они намертво застревали. Упорное нежелание пыльных ящиков расстаться со своим содержимым доводило меня до исступления. Поиски были тщетны. Как вор, который ищет жемчужное ожерелье и не может его найти, я был готов схватить что угодно, лишь бы удовлетворить неутоленное любопытство. Наконец на глаза мне попался красный кожаный переплет, это вполне мог быть грессбух. Я с трудом вытащил его из упрямого ящика, но это была всего-навсего охотничья книга с бесконечными списками фазанов, куропаток и зайцев, убитых еще до войны. Я просунул руку в освободившееся место и нашарил сперва револьвер, а затем еще один, пахнувший плесенью фолиант; он оказался старомодным альбомом, полным выцветших, засунутых в прорези фотографий.

Банковские счета вылетели у меня из головы. Я не мог побороть желания хоть мельком взглянуть на прошлое моего двойника. На первой странице альбома был герб: голова охотничьей собаки на фоне дерева, а под гербом узким косым почерком было написано: «Мари де Ге». Я перевернул страницу и увидел молодую женщину лет двадцати пяти — без сомнения, графиня; на месте теперешней тяжелой нижней челюсти был округлый, хоть и решительный подбородок, на месте седой гривы — густые белокурые волосы, завитые щипцами; блузка с оборочками украшала покатые плечи, теперь сутулые, укутанные шальями; надень я платье с накладным бюстом и парик, чтобы участвовать в шарадах, эта фотография могла быть сделана с меня. Внизу стояла дата: 1914. Затем один за другим последовали все остальные члены семьи: Жан де Ге, отец, — вот в кого Поль, — но со щетинистыми усами и пронизательным взглядом, снятый в ателье на

чудовищном фоне из драпировок и искусственных цветов; оба, он и тапан, вместе, взирающие с любовью и затаенной родительской гордостью на холеного и украшенного лентами младенца, судя по всему — Бланш. Затем пошли друзья и родственники старшего поколения, тут — дядюшка, там — тетушка, престарелый дедушка в коляске. Даты были написаны не всегда, и мне частенько приходилось гадать, в какое именно лето маленькие мальчик и девочка катались верхом на пони или какой зимой — возле голубятни, покрытой снегом; эта же пара в шарфах и рукавицах позировала перед объективом, обняв друг друга за шею. Брат и сестра всегда были вместе. Если один стоял с удочкой или ружьем, другая обязательно виднелась где-то рядом, и я с удивлением, даже какой-то брезгливостью, заметил, что эта вторая, скрывающаяся фигура, Бланш, была в детстве точной копией сегодняшней Мари-Ноэль — те же длинные ноги, худенькое тельце и коротко остриженные волосы. Меняться она начала лишь позднее, лет в пятнадцать, — овальное лицо удлинилось, взгляд стал более недоверчивый, более серьезный, и все равно я не мог узнать в этом задумчивом и несомненно привлекательном лице теперешнюю тонкогубую старую деву.

Молодой Жан серьезен не бывал никогда. На каждой карточке он смеялся, или стоял в смешной позе, или насмешливо смотрел на того, кто его снимал, и я подумал, как сильно отличались снимки Жана, хотя мы и были на одно лицо, от снимков мальчика с тревожным и тусклым взглядом — моих собственных детских фотографий. Поль нечасто появлялся в альбоме. Обычно он был не в фокусе — самая расплывчатая фигура в группе — или наклонялся завязать шнурок в ту секунду, когда щелкал затвор. Даже на самой четкой фотографии, засунутой между страницами, где все трое были сняты подростками, он был наполовину заслонен крепким плечом Жана, да и вообще вытеснен его победоносной улыбкой.

Я узнавал на групповых карточках то одну, то другую фигуру: вот кюре, худее, моложе, но с тем же ангельским лицом, а перевернув обратно страницы, там, где были детские снимки, я узнал Жюли с Полем на руках. На более поздних страницах альбома — чем дальше, тем чаще — стал появляться человек по имени Морис. Он был в группах рабочих стекольной фабрики и в замке, а на одной фотографии они с Жаном стояли вместе возле каменной статуи в

парке. Внезапно снимки кончились. Оставались три или четыре пустые страницы. То ли Жан де Ге-старший умер, то ли началась война, то ли графине вдруг надоело фотографировать — трудно было сказать. Эпоха кончилась, цикл был завершен.

Я захлопнул альбом со странным ностальгическим чувством. Для меня, с головой ушедшего в изучение истории, привыкшего рыться в старых письмах, документах и прочих памятниках далекого прошлого, в этом взгляде украдкой на летопись современной мне семьи, семьи моего поколения, было что-то, непонятным образом трогательное сердце. Меня волновало не то, что красивая графиня с первых страниц альбома постарела и ее белокурые волосы стали седыми, а то, как именно она постарела: властные, уверенные глаза стали заискивающими, тревожными, гордый рот сделался алчным, округлые шея и плечи отяжелели, покрылись жиром. Меня волновало, что Бланш, такая грациозная и привлекательная в детстве, такая серьезная и пытливая в юности, изменилась до неузнаваемости, превратилась в грубую карикатуру на самое себя. Даже Поль, смазанный на всех снимках, укравшийся за смеющимся Жаном или стоящий на одной ноге с краю группы, на глазах — упавшая прядь волос, вызывал умиление. А сейчас он неприятный, мрачный, все видит в черном свете и из апатии вышел лишь тогда, когда я ткнул его в больное место — видит Бог, не нарочно, — уличив в изъяне, которого он стыдился, и выставив в смешном виде.

Но тут покой, исходивший от этих картинок прошлого, был нарушен вторжением настоящего. Я услышал, как кто-то трогает ручку дверей в столовую, и только успел сунуть альбом обратно в ящик, как передо мной возникла Рене. Она, как и Франсуаза, отсутствовала на выцветших фотографиях. На их долю выпали уныние и мрак дальнейшей жизни в замке, однообразие и скука Сен-Жиля без прошлого очарования. Рене закрыла за собой дверь и теперь стояла, не сводя с меня глаз.

— Я слышала, как подъехала машина, — сказала она, — и подумала, вдруг Поль вернулся вместе с вами. Но Шарлотта — я встретила ее в коридоре — сказала, что вы приехали один. Франсуаза все еще отдыхает в гостиной, и я догадалась, что вы здесь. Вы не собираетесь попросить прощения?

Неужели мне опять слушать укоры за эти злосчастные подарки? Безусловно, на ее взгляд, я их заслужил. Я вздохнул и пожал плечами.

— Я уже извинился перед Полем, — сказал я. — Не хватит ли?

Напряженное тело, дрожащие руки — все выдавало затаенное волнение, а взгляд, которым она смотрела на меня, озадаченный и вместе с тем исступленный, раздражал и тревожил одновременно; я тут же посочувствовал Полю, которому, без сомнения, приходилось больше всех страдать от ее настроений.

— Зачем вы это сделали? — спросила она. — Все и так непросто, зачем еще вызывать у них подозрения, а главное — причинять боль Полю? Или вы устроили это нарочно, чтобы и меня поставить в глупое положение?

— Послушайте, — сказал я, — я выпил лишнего в Ле-Мане и напрочь забыл, что в каком пакете. Я вообще думал, там книги.

— И вы ждете, что я этому поверю? — сказала она. — Когда вы давали подарок Франсуазе, вы не ошиблись. Кстати, сколько он стоил? Или вы не платили?

Завидовать тому, что муж подарил подарок жене! Что может быть противней? Я был рад, что медальон с миниатюрой достался Франсуазе, а не Рене.

— Я привез Франсуазе то, что, я знал, она оценит, — сказал я. — Если вы разочарованы своим подарком, мне очень жаль. Отдайте его Жермене, мне абсолютно безразлично, что вы сделаете с ним.

Можно было подумать, что я ее ударил. Лицо женщины залилось краской, и, не сводя с меня глаз, она отошла от двери и медленно направилась к секретеру; я уже запер его и спрятал ключи. И прежде, чем я догадался, что она хочет сделать, Рене обвила меня руками и прижалась щекой к щеке. Я стоял как деревянный, как третьестепенный актер на провинциальной сцене.

— В чем дело? — спросила она. — Что с вами стало? Почему вы так изменились? Бойтесь, что про нашу связь узнают?

Вот оно что! Возможно, мне следовало и самому догадаться, но ее слова поразили меня как гром с ясного неба и привели в смятение. Я не хотел ее целовать, цепляющиеся за меня руки вызвали отвращение, слишком жадно ищущий меня рот охлаждал, а не разжигал ответный пыл. Чем бы Жан де Ге ни занимался здесь со скуки, этого не будет делать его заместитель.

— Рене, — проговорил я, — сюда кто-нибудь может войти. — Слабая, пустая отговорка всех трусливых любовников, чья страсть угасла, и я весьма нелюбезно попятился назад, чтобы избежать ее неожиданного и тягостного соседства. Но даже сейчас, когда я, полусогнувшись, прикинул к секретеру, она не отступила: руки ее по-прежнему тянулись ко мне с ласками, и я подумал, как некрасиво и жалко выглядит мужчина, становясь жертвой насилия, а когда нападают на женщину, ее слабость и хрупкость лишь придают ей очарования.

Мои попытки убаготворить Рене выглядели неубедительно: неуклюжее похлопывание по плечу, приглушенный поцелуй в волосы не могли утолить ее жажду, и я попробовал удержать ее на расстоянии потоком слов.

— Мы должны быть осторожны, — сказал я, — и не терять головы. Думаю, Поль понял, почему я подарил вам эту безделушку. Я отмахнулся от разговора, свел все к шутке и с Франсуазой объясняться не намерен, но наши встречи здесь, в замке, надо прекратить. Нас могут увидеть слуги, а стоит им что-то заподозрить, наша жизнь сильно осложнится.

Слова лавиной катились с моих губ: мотивы, поводы, резоны, и чем дальше, тем мне становилось яснее, что я сам ставлю себя в безвыходное положение. Я не отрицал их интрижку и, как последний трус, упускал счастливую возможность сказать пусть грубо, зато честно: «Я вас не люблю, и я вас не хочу. Это конец».

— Вы имеете в виду, — прервала меня Рене, — что нам нужно встречаться в другом месте? Но как? Где?

Ни слез, ни смиренной мольбы о любви. На уме у нее одно, только одно. То, что Жан де Ге затеял для развлечения — в этом я не сомневался, — превратилось в обязанность. Интересно, как глубоко он увяз и до какой степени, когда прошел первый угар, она ему опостылела.

— Я что-нибудь придумаю, — сказал я, — но не забывайте, мы должны быть осторожны. Слишком глупо погубить будущее счастье какой-нибудь нелепой оплошностью.

Сам Жан де Ге не смог бы произнести эти слова с таким двуличием. Оказывается, быть подлецом совсем нетрудно. Мои слова успокоили ее, а ее непрошенные ласки, как ни быстро я положил им

конец, должно быть, разрядили напряжение и притупили аппетит. И тут, к моей радости, из соседней комнаты донесся голос Мари-Ноэль. Рене, сердито пожав плечами, отошла от меня.

— Папа! Где ты?

— Здесь. Я тебе нужен?

Девочка влетела в комнату, и я инстинктивно раскинул руки, спрашивая себя, в то время как она повисла на мне, точно обезьянка, не смогу ли я в дальнейшем использовать ее в качестве буфера между собой и взрослым миром, предъявляющим на меня свои права.

— Бабушка проснулась, — сказала девочка, — я уже поднималась к ней. Она зовет нас обоих к чаю. Я рассказала ей про подарки и как дядя Поль был недоволен. И знаешь, папа, с подарком для тети Бланш ты тоже напутал. Она не хотела его открывать, и тогда мы с татап сами развернули пакет и нашли внутри записку: «Моей красавице Беле от Жана», а вовсе не Бланш. Там оказался огромный флакон духов под названием «Femme» ^[37] в хорошенькой коробке, завернутой в целлофан; там даже цена сохранилась: десять тысяч франков.

Глава 10

Когда мы поднимались, держась за руки, по лестнице, Мари-Ноэль сказала мне:

— Ничего не пойму; похоже, от этих твоих подарков у всех испортилось настроение. Утром мама так радовалась своему медальону, а после завтрака сняла его и положила в шкатулку вместе с остальными украшениями. Тетя Рене даже и не поглядела толком на рубашку, а сейчас, когда я рассказала тебе об ошибке с подарком для тети Бланш, я думала, что тетя Рене ударит нас обоих. Кто эта Бела, папа?

Слава богу, я этого не знал. Избавляло от дальнейших осложнений. И все же Жану де Ге следовало быть предусмотрительней и не ограничиваться одной кое-как нацарапанной буквой «Б».

— Кто-то, кто любит дорогие духи.

— А мама ее знает?

— Сомневаюсь.

— Я тоже. Когда я спросила ее, кто это, она скомкала записку и сказала, что, наверно, какой-нибудь деловой знакомый пригласил тебя на обед и духи — ответный жест вежливости.

— Возможно, — сказал я.

— Понимаешь, плохо то, что у тебя стала хуже память. Надо же так все перепутать и подарить духи тете Бланш! Я сразу поняла: тут что-то не так. Я не помню, чтобы ты хоть раз ей что-нибудь дарил. Я никогда не могла понять, почему взрослые так странно себя ведут. Но даже я понимаю, что нет смысла дарить человеку подарок, если он не разговаривает с тобой целых пятнадцать лет.

Пятнадцать лет... Это оброненное мимоходом неожиданное сообщение так меня потрясло, что, забыв о своей роли, я остановился на полпути и вытаращил на девочку глаза; она нетерпеливо потянула меня вперед.

— Пошли же, — сказала она.

Я молча последовал за ней. Я не мог прийти в себя. Значит, то, что я считал временным разладом, было пустившей глубокие корни

враждой и не могло не влиять на взаимоотношения всех членов семьи. Мимолетный роман с Рене, если это можно было назвать так, по сравнению с этим был пустяком. Естественно, настоящий Жан де Ге никогда бы не стал дарить сестре подарок. Вот почему все так удивились. Открытие вывело меня из равновесия, в этом было что-то зловещее, особенно если вспомнить снимки двух детей, стоящих в обнимку. Между Бланш и Жаном де Ге вторглось нечто касающееся лишь их двоих, ожесточившее их друг против друга, а вся семья, даже девочка, принимали это как должное.

— Вот и мы, — сказала Мари-Ноэль, распахивая дверь огромной спальни, и опять, как и накануне, меня захлестнула волна жара от горячей печи. Терьеры, отсутствовавшие утром, снова были здесь. Они выскочили из-под кровати, заливаясь пронзительным лаем, и как Мари-Ноэль ни успокаивала их, то браня, то гладя, они не желали умолкнуть.

— Поразительно, — сказала девочка. — Все собаки в доме взбесились. Утром Цезарь вел себя точно так же: лаял на папу.

— Шарлотта, — сказала графиня, — выводили вы сегодня Жужу и Фифи или проболтали внизу все это время?

— Естественно, я выводила их, госпожа графиня, — ответила, обороняясь, Шарлотта, задетая за живое. — Я гуляла с ними по парку не меньше часа. Неужто я могу про них забыть?

Она бросила на меня укоризненный взгляд, точно не графиня, а я возвел на нее поклеп, и я подумал, что она никак не выдерживает сравнения с честной, крепкой и телом и духом Жюли со стекольной фабрики; тощее сложение, кислое лицо, глазки-бусинки, даже то, как она разливает чай, говорит о ее скаредном и раздражительном характере.

— Поторапливайтесь, забирайте их отсюда, — сердито приказала графиня. — Девочка передаст нам все, что нужно.

Подняв на меня глаза с подпертой валиком подушки — серое, обвисшее складками лицо, глубокие тени под глазами, — она протянула руку и привлекла меня к себе. Целуя дряблую щеку, я подумал о том, что эта семейная ласка, как ни странно, не вызывает во мне протеста, напротив, приятна мне, а легкое прикосновение хорошенькой Рене было тягостно и омерзительно.

— Mon Dieu, — шепнула графиня, — ну и позабавила меня малышка! — Затем, оттолкнув меня, громко сказала: — Садись и пей чай. Чем ты занимался весь день, кроме этой путаницы с подарками?

И снова, как прежде, я чувствовал себя с ней как дома, я болтал, я смеялся, словно мановением волшебной палочки она вызывала на свет веселость, которую я даже не подозревал в себе. Нам троим — графине, девочке и мне — было легко и свободно друг с другом; графиня, налив чай в блюдце, пила его маленькими глотками — последние капли выклянчили собаки, — а Мари-Ноэль, возведенная в почетное звание хозяйки дома, не спуская с нас глаз, откусывала крошечные кусочки тоста.

Я сообщил о посещении verrerie; зная, что мой конфиденциальный звонок в Париж привел, вернее, мог привести к временному решению вопроса, я ощущал большую уверенность в себе; графиня стала подробно расписывать, как это свойственно пожилым людям, добрые старые времена, и мы слушали ее: я — со скрытым любопытством, Мари-Ноэль — с восторгом. Она рассказывала нам, что когда-то, уже на ее памяти, стекло выдували вручную, а еще раньше, до нее, плавильную печь топили дровами из соседнего леса — именно по этой причине все стекольные фабрики ставили в лесу, — и о том, как лет сто, а то и больше назад в verrerie были заняты около двухсот лошадей, и женщины, и дети. Имена рабочих, их жен и детей были записаны в какой-то книге, возможно, та лежит в библиотеке, она не помнит.

— Да что говорить, — вздохнула графиня, — всему этому пришел конец. Старых дней не вернешь.

Ее слова напомнили мне о Жюли, она так же безропотно приняла перемены, так же вычеркнула из памяти то, что нельзя было вернуть, но когда я сообщил татам о своем посещении Жюли и бедном искалеченном Андре, лежащем в постели, она с неожиданным бессердечием пожала плечами.

— Ох уж эти мне люди, — сказала графиня. — Они вытянут из нас последний франк, если смогут. Хотела бы я знать, на сколько Жюли нагрела на мне руки в свое время. Что до ее сына, он всегда был бездельник. Я не виню его жену за то, что она убежала в Ле-Ман к механику.

— Их домик в чудовищном состоянии, — заметил я.

— Не вздумай там ничего делать, — сказала графиня. — Стоит только начать, просьбам конца не будет. Мы и так обнищали. Да нищими и останемся, если только Франсуаза не родит сына или...

Графиня замолкла, и, хотя я не понял, о чем речь, тон ее и взгляд, который она бросила на меня искоса, привели меня в замешательство. А она продолжала:

— В наше время каждый заботится о себе. И по какому поводу они ворчат? Чем недовольны? Им не нужно платить за жилье.

— Жюли не ворчала, — сказал я. — И ни о чем не просила.

— Надеюсь, нет. Не сомневаюсь, у нее немало припрятано в кубышке под полом. Я бы не отказалась иметь столько же...

Ее слова и тон расстроили меня. Разрушили чары. Жюли, верная и честная Жюли, выставлена выжигой, а щедрая и веселая только минуту назад графиня оказалась черствой, лишенной понимания. Инстинктивная искренняя симпатия, которую они во мне вызывали, почему-то ослабла, и, пытаюсь разобраться, в чем дело, пока Мари-Ноэль наливала мне вторую чашку чая, я понял, что не графиня лишена понимания, а я. Я сентиментальный человек, который хочет, чтобы люди были добрее, щедрее и великодушнее, чем они есть.

— Знаете, — сказала Мари-Ноэль, неожиданно вторгаясь в разговор, — было так странно, когда мы с татап открыли папин подарок на глазах у тети Бланш. Матап сказала: «Ну, не упрямытесь, Бланш. Не умрете же вы от этого; раз Жан привез вам подарок, значит, не такой уж он бесчувственный; своим подарком он и хочет вам это показать». Тетя Бланш опустила глаза и через тысячу лет сказала: «Можете его развернуть. Я не возражаю... Мне все равно». Но я знаю, ей тоже было интересно посмотреть, потому что она сложила губы так, как она иногда это делает. Поэтому мы развернули пакет, и, когда татап увидела этот большущий, огромный, полный до краев флакон с духами, она сказала: «О Боже, ничего другого он не придумал!», и тете Бланш пришлось посмотреть на флакон, и, знаете, она стала вся белая-белая, поднялась из-за стола и вышла. Я сказала татап: «Это же не лекарство, как то, что папа подарил дяде Полю. Почему она обиделась?», и татап сказала как-то странно: «Боюсь, это все же шутка, и довольно жестокая». Ну а потом мы, конечно, нашли записку кому-то другому, какой-то Беле, и татап сказала: «Нет, это не шутка,

это ошибка. Подарок не предназначался Бланш». Но я так и не понимаю, почему они считают, что это жестоко.

Казалось, ее слова проделали в тишине дыру. В воздухе колебались волны молчания. Как ни удивительно, мы с Мари-Ноэль были в равном положении: мое неведение и ее невинность соединяли нас в одно. Матан пристально смотрела на меня, и в ее взгляде было нечто, чего я не мог расшифровать. Не осуждение, не упрек, скорее, догадка, словно, не веря сама себе, она пыталась нащупать во мне слабую струну, словно — хотя я знал, что это невозможно — какое-то внутреннее чувство помогло ей разоблачить меня, раскрыть мою тайну, поймать с поличным. Но когда она заговорила, слова ее были обращены к Мари-Ноэль.

— Знаешь, малышка, — сказала она, — поступки женщин бывают необъяснимы, особенно тех, кто очень религиозен, как твоя тетя. Помни об этом и не становись, подобно ей, фанатичкой.

У графини вдруг сделался утомленный вид, она на глазах постарела. Шумная веселость иссякла. Движение, которым она скинула с постели собачонок, было нетерпеливым, раздраженным.

— Ну-ка, — сказал я Мари-Ноэль, — давай уберем на место чайный столик.

Мы отодвинули его обратно к стене, туда, где он стоял подле туалетного столика; среди серебряных щеток для волос я заметил большую раскрашенную фотографию Жана де Ге в военной форме. Что-то подсказало мне взглянуть на графиню. Она тоже смотрела на снимок с тем же странным выражением, что и раньше, словно догадываясь о чем-то. Наши глаза встретились, и мы одновременно опустили их. В этот момент в комнату вошла Шарлотта, за ней — кюре. Мари-Ноэль подошла к нему и присела.

— Добрый вечер, господин кюре, — сказала она. — Папа подарил мне житие Цветочка. Принести сюда книжку, чтобы вам показать?

Старик погладил ее по голове.

— Попозже, дитя мое, попозже, — сказал он. — Покажешь мне ее, когда я спущусь вниз.

Он подошел к изножью кровати и, сложив руки на круглом животе, смотрел на серое, измученное лицо графини.

— Значит, сегодня мы в миноре? — сказал он. — Слишком бурный день вчера; не удивлюсь, если это привело к бессонной ночи и дурным снам. У святого Августина есть что сказать об этом. Он тоже страдал.

Из складок сутаны он извлек какую-то книгу, и я видел, каким огромным усилием воли графиня сосредоточила блуждающие мысли на словах кюре. Она жестом указала ему на кресло, с которого я только что встал, и, расправив подол сутаны, кюре сел рядом с ней. В дальнем конце комнаты Шарлотта тоже расположилась, чтобы слушать, — скрестила руки на груди, опустила голову.

— Можно я останусь? — прошептала Мари-Ноэль; глаза ее горели, словно она просила разрешения посмотреть спектакль.

Когда я кивнул, не зная, чего от меня ждут, девочка взяла скамеечку, стоящую у туалетного столика, и поставила ее возле самых ног кюре. Затем, кончив возиться, она, как актриса, вживаясь в роль, изменила озабоченное выражение лица на восторженно-умиленное — глаза закрыты, ладони сложены перед собой, губы безмолвно шевелятся, вторя молитве старика. Я взглянул на графиню. Вежливость и воспитание поддерживали ее, как подпорки, на высоких подушках, но тяжелая голова слегка поникла на грудь, а смыкающиеся то и дело веки говорили не столько о благоговении, сколько о невыносимой усталости.

Я вышел из комнаты и, спустившись вниз, в парк, стал бродить по дорожкам, ведущим к каменной Артемиде, темным и мрачным в сгущающемся сумраке. Смеркалось, и замок, на солнце сверкавший, как алмаз, принимал все более грозный вид. Крыша и башенки, ранее сливавшиеся с небесной голубизной, стали резче выделяться на темнеющем небосводе. Наверно, подумал я, когда ров был полон воды, до того еще как в XVIII веке фасад центральной части здания соединил башни раннего Возрождения, замок выглядел как настоящий бастион. Еще неизвестно, кому было здесь более одиноко — одетым в шелк изнеженным дамам тех дней, выплывавшим наружу через узкие окна-прорези, или Франсуазе и Рене — теперешним обитательницам родового гнезда, на крошащихся стенах которого проступают липкие пятна сырости, а деревья, густые, раскидистые, подходят к самым дверям. Там, где сейчас пасется скот, верно, копал землю рылом дикий кабан с горящими яростью глазками, а ранним

утром, когда туман еще льнет к деревьям, звучал пронзительный рожок егерей. По подъемному мосту скакали под топот копыт подвыпившие шумливые рыцари из Анжу, направляясь на охоту или смертельную битву. А какие безумные страсти кипели здесь по ночам, какие бывали долгие мучительные роды, какие внезапные кончины... И сейчас все это происходит вновь, в совсем другое время, правда на иной лад, ведь чувства наши заглушены, а желания загнаны внутрь. Сегодня жестокость пубже, она ранит душу, причиняет страдание нашему внутреннему «я», хотя в те дни она была беспощадней: выживали самые выносливые; в те дни одинокая Франсуаза и обиженная судьбой Рене гасли как задутая свеча, оплаканные, а скорее всего — нет, их господином и повелителем, который — истинный прототип Жана де Ге — продолжал пировать и сражаться, беспечно пожимая облитыми бархатом плечами.

Кто-то ходил по комнатам, закрывая одно за другим высокие окна и захлопывая ставни, — замок загоразживался от ночи, замыкался в своей скорлупе. То, что происходило здесь, внутри, закончилось, сошло на нет, замок превратился в гробницу, живыми были лишь жующие сырую траву, шумно вздыхающие коровы, да крикливые галки, устраивающиеся на ночлег, да лающая где-то за церковью в деревне собака.

Второй вечер моего маскарада и по сути, и по форме напоминал второй вечер в интернате. Я уже познакомился с окружающей обстановкой, ничто больше не вызывало во мне удивления, моя дерзость, действовавшая на меня накануне как наркотик, казалась теперь вполне естественной, и когда я открывал дверь, входил в комнату или сталкивался нос к носу с кем-нибудь из родных Жана, в этом не было ничего неожиданного. Я узнавал звуки, запахи, голоса; знал, кто где сидит; гонг больше не заставлял меня внутренне сжиматься, я мыл руки и переодевался к обеду, не придавая этому значения, с тем же стадным инстинктом, что и подражающий школьным товарищам новичок, который делает все как другие, отрекаясь от самого себя и своих домашних привычек до следующих каникул, надевая на время семестра яркую защитную оболочку, сверкающую маску, чтобы завоевать одобрение соучеников и учителей, и воображает, будто этот занявший его место незнакомец, который так ему нравится, и есть он сам. Пить, есть, брать со стола

газету было мне теперь интересно само по себе, ведь делал это не я, а Жан де Ге. Спящего не удивляет его сон, даже самый фантастичный, и я стал свободно двигаться среди окружавших меня фантомов, неважно — говорили они со мной, улыбались мне или не обращали на меня внимания. Ритуал был установлен, колесо, приводившее все в движение, продолжало крутиться, и я, составная часть всего устройства, безропотно крутился вместе с ним.

Обед прошел в молчании. За столом нас было только четверо. Мари-Ноэль, как оказалось, поела в семь часов — бульон с бисквитами — и не спустилась вниз, а Бланш, по словам Гастона, решила поститься. Она у себя в комнате, сказал он, и сегодня вечером больше не сойдет.

Разговор шел вяло. Франсуаза, моя опора во время ленча, выглядела усталой и со все затухающим интересом затрагивала всякие мелкие темы, лишь бы нарушить тишину: болезни в деревне, вечернее посещение кюре, письмо от кого-то из родственников из Орлеана, беспорядки в Алжире, крушение на железной дороге к северу от Лиона. Скучные материи, но как раз это действовало как бальзам на мои нервы. Голос ее, когда исчезали жалобные, плачущие нотки, был чистым и мелодичным. Рене, в блузке с высоким воротом, которая очень ей шла, с пятнами румян на скулах и, как вчера, зачесанными наверх волосами, чтобы показать уши, то ли хотела ослепить меня своими прелестями, то ли уязвить остроумием, то ли вызвать ревность, заведя оживленный разговор с Полем. Каков был ее замысел — я не знал, но, если он у нее был, он сорвался. Меня все это не затронуло, а Поль просто не понял, что у нее на уме. Он сосредоточенно ел, не поднимая глаз от тарелки, громко жуя, буркал что-то в ответ между плотками и, как только с обедом было покончено, занял самое светлое место в гостиной и, закулив сигару, скрылся за раскрытыми во всю ширину листами «Figaro» и «L'Ouest France». [38]

Сверху спустилась Мари-Ноэль в халатике, и мы втроем, Франсуаза, девочка и я (Рене сидела на диване, держа в руках книгу, страницы которой ни разу за весь вечер не перевернула), стали играть в шашки и домино: мирное семейное трио, которое, должно быть, и раньше, вечер за вечером, точно так же проводило свой досуг. Наконец часы пробили девять, и Франсуаза, зевая от усталости, сказала:

— Ну, *cherie*, [39]пора в кроватку.

Девочка без возражений встала, убрала шашки в коробку и положила ее в ящик, поцеловала мать и тетю с дядей и, взяв меня за руку, сказала:

— Пошли, папа.

Таков, по-видимому, был заведенный здесь порядок. Мы поднялись в башенку, в спальню-детскую. Кукла — на этот раз без пронзавшего ее пера — была избавлена от мук и изображала теперь кающегося грешника, стоя на коленях перед перевернутой вверх дном жестяной — должно быть, исповедальной; роль священника исполнял большой кривобокий утенок Дональд, без одной лапки, с головой, обмотанной черным лоскутком, что должно было изображать шапочку.

— Садись, — потребовала девочка и, сняв халатик, задержалась перед тем, как подойти — так я думал — к самодельному алтарю.

— Ты хочешь посмотреть, как я буду умерщвлять плоть? — спросила она.

— Что-что? — воскликнул я.

— Понимаешь, я согрешила, когда угрожала вчера вечером, что убью себя. Я рассказала об этом тете Бланш, и она говорит, что это очень-очень плохо. Мне еще рано идти к исповеди, поэтому я решила наложить на себя епитимью, такую же тяжелую, как мой грех.

Она скинула с себя ночную рубашку и осталась передо мной голышом: тоненькая, кости и кожа.

— Дух крепок, но плоть слаба, — сказала девочка.

Подойдя к книжному шкафчику, где книги стояли как попало, и порывшись там с минуту, она вытащила небольшую кожаную плетку с узлом на конце, зажмурилась и, прежде чем я понял, что она собирается делать, хлестнула себя по спине и плечам. Без поблажки. Она невольно подпрыгнула, громко втянув воздух от боли.

— Сейчас же перестань! — крикнул я и, встав с места, вырвал плетку у нее из рук.

— Тогда сам меня накажи, — сказала Мари-Ноэль, — сам постегай меня.

Она не сводила с меня блестящих глаз; я поднял с полу сброшенную ею рубашку.

— Надень, — отрывисто сказал я, — да поскорей. А потом скажи на ночь молитву, и в постель.

Она повиновалась, и то, с какой быстротой она это сделала, с какой пылкой готовностью выполнила то, что я велел, было в каком-то смысле хуже, чем прямое непослушание. Внешне покорная, она сгорала от внутренней лихорадки, и, хотя я ничего не понимал в детях, ничего не знал об их играх, ее экзальтированное состояние казалось мне противоестественным, нездоровым.

Молитва у самодельного аналоя тянулась битый час, но так как Мари-Ноэль шевелила губами беззвучно, я не мог сказать, молится она или только делает вид. Но вот девочка прекрестилась, поднялась с пола и со смиренным видом легла в постель.

— Спокойной ночи, — сказал я и наклонился, чтобы ее поцеловать; кому должно было служить наказанием холодное, отчужденное выражение ее поднятого ко мне лица — ей или мне, я не знал.

Я вышел, прикрыл за собой дверь, спустился по винтовой лесенке. Взглянув на изношенную узловатую плетку, которую нес в руке, повернул налево и, повинаясь внезапному порыву, направился в дальний конец первого коридора. Подергал ручку двери. Дверь была заперта. Я постучал.

— Кто там? — спросила Бланш.

Я не ответил и постучал снова. Послышались шаги и скрип ключа в замке. Затем дверь отворилась. На пороге стояла Бланш в халате; ее распущенные, падающие на лоб волосы, не собранные больше в узел, придавали ей сходство с Мари-Ноэль. Выражение ее глаз — изумленных, испуганных — помешало моему намерению. Ее вражда с братом меня не касалась. Но насчет девочки ее, во всяком случае, надо было предупредить.

— Оставь это у себя, — сказал я, — или выкинь. Как хочешь. Мари-Ноэль пыталась хлестать себя этой плеткой. Было бы невредно ей объяснить, что бичевание не изгоняет дьявола, а, напротив, загоняет его внутрь.

В глазах Бланш вспыхнула такая жгучая ненависть, а на бледном, неподвижном лице отразилась такая непримиримость, что я не смог отвести от нее взгляд, словно под влиянием чар или гипноза. Но тут, прежде чем я успел что-нибудь добавить, она захлопнула дверь и заперла ее на ключ, и я остался стоять в коридоре, ничего не добившись, а возможно, еще больше восстановив Бланш против себя.

Я медленно пошел обратно; передо мной стояли ее глаза, злобные, неумолимые. Это поразило меня, привело в смятение, ведь когда-то в них было доверие, была любовь. Вернувшись к лестничной площадке, я остановился, не зная, куда мне свернуть и что положено теперь делать по здешнему распорядку, и тут увидел, как вверх по лестнице в спальни идут гуськом все трое: бледная, с погасшим взором Франсуаза, Рене, с пятнами румян, все еще горящими на скулах, в блузке с высоким воротником, подчеркивающим высокую прическу, и зевающий Поль — газета, местная на этот раз, под мышкой, рука тянется к выключателю. Все трое подняли на меня глаза. Слабая струйка света падала на их лица, и, поскольку я не входил, как они полагали, в их число, был чужак, человек извне, заглянувший в их мирок, мне казалось, что все трое стоят передо мной обнаженные, без масок. Я видел страдание Франсуазы: один миг — волшебный миг — она была на седьмом небе от счастья, и тут же разочарование вновь свергло ее на землю. Что поможет ей выдержать? Только терпение. Я видел торжество Рене: уверенная в привлекательности своего тела, она не таила ненасытного вождения, лишь бы вызвать ответную страсть. Видел растерянного, усталого, терзаемого завистью Поля, спрашивающего себя, как сотворить чудо или как погрузиться в забытие.

Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись парами, как фехтовальщики. Идя следом за Франсуазой по коридору, я философски спрашивал себя, что было бы, если бы женой Жана де Ге оказалась не она, а Рене. Настолько ли близка природа влечения и безразличности, что вынужденное соседство перекинуло бы мост через пропасть и соединило нас? Я был избавлен от дальнейших размышлений на эту тему, так как, зайдя в гардеробную, увидел там перемены: в комнате появилась походная кровать с подушкой, простынями и одеялами. Как ни странно, я почувствовал не облегчение, а вину. В чем дело? Затем, подойдя к комоду, я увидел на нем огромный флакон духов с жирной надписью «Femme». Он был не раскупорен.

Подождав немного, я прошел через ванную комнату в спальню. Франсуаза сидела у туалетного столика, накручивая волосы на бигуди.

— Ты хочешь, чтобы я спал в гардеробной? — спросил я.

— А ты разве не предпочел бы это? — сказала она.

— Мне все равно — что там, что здесь.

— Я так и думала.

Она продолжала накручивать волосы. Сейчас один из тех переломных моментов супружеской жизни, подумал я, который может привести к примирению, или к слезам, или к бесконечным столкновениям, и ничего бы этого не случилось, если бы не флакон духов с небрежно нацарапанной на обертке буквой «Б». Мы оба напортачили, ее муж и я, и поскольку я полагал, что он ничего бы ей сейчас не ответил, я поступил точно так же.

— Прекрасно, — сказал я, — буду спать в гардеробной.

Я вернулся в ванную комнату и открыл кран, чтобы набрать воды. И в то время, как я чистил зубы, припомнив, которая из щеток и чашек мои, мне снова пришли на память давно забытые вечера на следующий день по приезде в школу. Все в ванной комнате было уже мне знакомо, и хотя вода лилась в ванну не с таким звуком, как дома, звук этот был привычным, и когда, не обменявшись со мной ни словом, Франсуаза прошла мимо, чтобы взять крем, она вполне могла быть одним из моих товарищей по спальне давно прошедших дней, с которым я был в ссоре. Мне казалось ничуть не странным и даже вполне уместным то, что сам я был в жилете, а она — в волочащемся по полу пеньюаре. И место действия, и действующие лица отвечали сценарию, лишь молчание наше выпадало из общей тональности. Когда в пижаме и халате я зашел в спальню пожелать спокойной ночи и, оторвавшись на миг от чтения, Франсуаза равнодушно подставила мне бледную щеку, я опять почувствовал не столько облегчение от того, что сегодня обошлось без вчерашних горьких упреков, без жалоб и слез, сколько стыд за то, что прегрешения Жана де Ге были десятикратно умножены его козлом отпущения.

Я вернулся в гардеробную и открыл окно. Каштаны стояли недвижно, небо затянула дымка, звезды были не видны, не видно было и одинокой фигурки в башенном оконце. Я забрался в постель и закурил сигарету. Это была моя вторая ночь под крышей замка; с моего приезда в Сен-Жиль прошло немногим более суток, а все сделанное и сказанное мной за это время запутало меня больше, затянуло глубже, привязало еще тесней к человеку, кто и телом и духом не имел со мной ничего общего, чьи мысли и поступки были

неизмеримо далеки от моих и при этом чья внутренняя сущность отвечала моей природе, совпадала, пусть отчасти, с моим тайным «я».

Глава 11

Когда я проснулся на следующее утро, я знал, что я должен что-то сделать. Что-то, что не терпит промедления. Затем я вспомнил о разговоре с Корвале и то, что я связал себя, вернее, стекольную фабрику обязательством продолжать производство стекольных изделий на их условиях, не имея даже отдаленного понятия о ресурсах семьи. Все, что у меня было, это чековая книжка Жана де Ге и название и адрес банка в Вилларе. Надо было как-то добраться до этого банка и переговорить с управляющим, придумав предлог для моих расспросов. Без сомнения, он сможет хотя бы в общих чертах познакомить меня с финансовым положением графа.

Я встал, умылся, оделся — Франсуаза завтракала в постели — и, пока пил кофе, попытался мысленно представить карту здешних мест и дорогу, по которой мы добрались сюда из Ле-Мана. Где-то, километрах в пятнадцати отсюда, дорога эта проходила мимо Виллара. Это имя попадалось мне на глаза, когда я смотрел, как лучше проехать от Ле-Мана к Мортаню и монастырю траппистов. У меня не было больше с собой путеводителя, но найти город не составит труда. Когда Гастон вошел в гардеробную, чтобы почистить мне костюм, я сказал ему, что еду в Виллар, в банк, и мне нужна машина.

— В какое время, — спросил Гастон, — господин граф намеревается ехать в Виллар?

— В любое, — ответил я. — В десять, половину одиннадцатого.

— Тогда я приведу «рено» ко входу в десять, — сказал он. — Господин Поль может поехать на фабрику в «ситроене».

Я забыл о второй машине. Это упрощало дело. Избавляло меня от вопросов Поля, от грозившего предложения отправиться вместе со мной. Однако я не учел домашних дел. Гастон, естественно, не стал делать секрета из моего намерения поехать в Виллар, и, когда я клал в карман мелочь, собираясь спуститься вниз, в дверь постучалась маленькая *femme de chambre*. ^[40]

— Извините, господин граф. Мадам Поль спрашивает, можете ли вы подвезти ее в Виллар? Она записана к парикмахеру.

Я мысленно пожелал мадам Поль еще один приступ мигрени. Меня вовсе не привлекал очередной tête à tête с Рене, но избежать этого было, по-видимому, нельзя.

— Мадам Поль знает, что я выезжаю в десять? — спросил я.

— Да, господин граф. Она договорилась с парикмахером на половину одиннадцатого.

И скорее всего, специально, чтобы оказаться со мной наедине, подумал я и добавил вслух, что, конечно же, я подвезу мадам Поль туда, куда ей нужно. А затем, словно по наитию свыше, прошел через ванную комнату в спальню. Франсуаза еще не встала.

— Я еду в Виллар, — сказал я. — Ты не хочешь присоединиться ко мне?

Я тут же вспомнил, что мужу положено поцеловать жену и пожелать ей доброго утра, даже если ему было отказано в супружеском ложе, и, подойдя к постели, я выполнил этот ритуал и спросил, как она спала.

— Проворочалась всю ночь с боку на бок, — сказала Франсуаза. — Тебе повезло, что ты спал отдельно. Нет, в Виллар поехать я не смогу. И не встану. В первой половине дня должен заехать доктор Лебрен. А тебе обязательно туда? Я надеялась, ты повидеешься с ним.

— Мне нужно в банк, — сказал я.

— Пошли Гастона, — сказала Франсуаза, — если дело в деньгах.

— Нет, деньги тут ни при чем. Мне нужно поговорить о делах.

— По-моему, господин Пеги все еще болен, — сказала Франсуаза. — Не знаю, кто его сейчас замещает. Кто-нибудь из младших служащих, скорей всего. Вряд ли от них будет много толку.

— Неважно.

— Нам надо окончательно решить, поеду я рожать в Ле-Ман или останусь здесь.

Голос ее снова звучал жалобно — таким обиженным тоном мы говорим, когда думаем, что нам не уделяют должного внимания.

— А ты что бы предпочла? — спросил я.

Она пожала плечами с апатичным, покорным видом.

— Решай сам, — сказала она. — Я хочу одного: чтобы меня избавили от этого кошмара и мне не надо было ни о чем тревожиться.

Я отвел взгляд от ее обвиняющих глаз. Сейчас бы и приласкать ее, и пожалеть, и поговорить о требующих решения вопросах, о мелких неприятностях повседневной жизни, которые делят между собой муж и жена. Но поскольку стоящий перед ней вопрос не имел ко мне отношения, а время для разговора было выбрано неудачно, я лишь почувствовал раздражение из-за того, что она затеяла его тогда, когда единственное, о чем я мог думать, была необходимость попасть в банк.

— Бесспорно, правильнее всего довериться доктору Лебрёну, — сказал я, — и следовать его совету. Спроси, каково его мнение, когда он сегодня приедет.

Я не успел закончить фразу, как почувствовал ее фальшь. Франсуаза говорила не об этом. Ей нужна была поддержка, утешение, она чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. Мне отчаянно хотелось сказать ей, чтобы снять с себя бремя вины: «Послушайте, я не ваш муж. Я не могу посоветовать, что вам делать...» Вместо этого, словно подал милостыню, желая облегчить угрызения совести, я добавил:

— Я еду совсем ненадолго. Возможно, когда я вернусь, доктор Лебрён все еще будет здесь.

Франсуаза ничего не ответила. Вошла Жермена, чтобы забрать поднос с посудой, и сразу следом за ней — Мари-Ноэль. Поцеловав нас по очереди и пожелав доброго утра, она тут же потребовала, чтобы ее взяли в Виллар.

Это был идеальный контрманевр против Рене, странно, что я сам до него не додумался. Когда я сказал, что возьму ее с собой, глаза ее заплясали от радости, и, пока мать расчесывала ей волосы, девочка нетерпеливо переминалась с ноги на ногу.

— Сегодня рыночный день, — сказала Франсуаза. — Если ты будешь толкаться в толпе, ты обязательно что-нибудь подцепишь. Блох, если не хуже. Жан, не пускай ее на рыночную площадь.

— Я за ней присмотрю, — сказал я, — и, во всяком случае, Рене тоже едет.

— Рене? Зачем?

— Тетя Рене едет к парикмахеру, — сказала Мари-Ноэль. — Как только она услышала, что папа собирается в Виллар, она пошла в комнату тети Бланш звонить.

— Смешно, — сказала Франсуаза. — Она мыла голову четыре или пять дней назад.

Девочка сказала что-то насчет la chasse, ^[41] что тетя Рене хочет красиво выглядеть в этот день, но я слушал ее вполуха. Мое внимание привлекло другое: сказанные мимоходом слова о том, что второй телефонный аппарат находится в комнате Бланш. Значит, это Бланш сняла трубку и подслушивала мой разговор с Парижем. Если не она, то кто? И как много она услышала?

— Я постараюсь задержать доктора Лебрена до твоего возвращения, — сказала Франсуаза. — Но ты же знаешь, как это трудно. Он всегда спешит.

— А зачем он приедет? — спросила Мари-Ноэль. — Что он будет здесь делать?

— Послушает через трубочку твоего маленького братца.

— А если он ничего не услышит, значит, братец умер, да?

— Нет, конечно. Не задавай глупых вопросов. Ну, беги.

Девочка переводила глаза с меня на Франсуазу и снова на меня с встревоженным, выжидательным видом, затем вдруг, без всякой видимой причины, прошла «колесом».

— Гастон говорит, у меня очень сильные руки. Большинство девочек совсем не может стоять на руках.

— Осторожней! — крикнула Франсуаза, но было поздно: взметнувшиеся вверх ноги перевесили и, грохнувшись на столик возле камина, скинули с него фарфоровые фигурки кошечки и собачки; фигурки разбились вдребезги. Настала мгновенная тишина. Девочка поднялась с пола, вспыхнув до корней волос, и посмотрела на мать. Та сидела в постели, потрясенная непоправимой утратой.

— Моя кошечка!.. Моя собачка!.. Мои любимые зверюшки! Которые я привезла из дома! Которые мне подарила мама!

Я надеялся, что горестное потрясение, вызванное неожиданной катастрофой, окажется настолько велико, что вытеснит гнев из сердца Франсуазы, но тут ею овладело такое смятение чувств, что она потеряла всякий контроль над собой и горечь месяцев, возможно, лет, хлынула на поверхность.

— Дрянная девчонка! — вскричала она. — Разбила своими ужасными неуклюжими ногами единственное, чем владею и что люблю в этом доме! Лучше бы твой отец учил тебя порядку и

хорошим манерам, вместо того чтобы забивать голову всякими лупостями — всеми этими святыми и видениями. Ничего, подожди, пока у тебя родится братец, тогда уж баловать и портить будут его, а тебе достанется второе место; это пойдет тебе на пользу, да и всем остальным тоже. Оставьте меня, не хочу никого видеть, оставьте меня, ради бога...

Вся краска схлынула с лица Мари-Ноэль, и она выбежала из комнаты. Я подошел к кровати.

— Франсуаза, — начал я, но она оттолкнула меня; в глазах ее было страдание.

— Нет, — сказала она. — Нет... нет... нет...

Она снова откинулась на подушки, зарылась в них лицом, и, в тщетной попытке как-то помочь, хоть что-то сделать, я собрал осколки фарфоровых животных и унес их в гардеробную, чтобы они не попались на глаза Франсуазе, когда она посмотрит на пол. Там я механически завернул их в целлофан и бумагу, служившие оберткой огромному флакону духов, все еще стоявшему на комод. Мари-Ноэль нигде не было видно, и, вспомнив вчерашний вечер и плетку и — еще страшнее — угрозу прыгнуть вниз, я вышел из гардеробной и, охваченный внезапным страхом, взлетел по лестнице в башенку, перескакивая через три ступеньки. Но, войдя в детскую, я с облегчением увидел, что окно закрыто, а Мари-Ноэль раздевается, аккуратно складывая свои вещи на стул.

— Что ты делаешь? — спросил я.

— Я плохо себя вела, — ответила девочка. — Разве мне не надо лечь в постель?

И я вдруг увидел мир взрослых ее глазами — его силу, отсутствие логики и понимания, мир, где, принимая это как должное, ты раздеваешься и ложишься в постель без четверти десять утра и комнату заливают солнечные лучи — через час после того, как поднялся, потому лишь, что взрослые сочли это подходящим наказанием.

— Думаю, что нет, — сказал я. — Что в этом пользы? И к тому же ты не хотела их разбить. Тебе просто не повезло.

— Но ведь в Виллар ты меня теперь не возьмешь, да? — спросила девочка.

— Почему бы и нет?

На лице Мари-Ноэль была растерянность.

— Это удовольствие, — сказала она. — Ты не заслужил удовольствие, если разбил ценную вещь.

— Ты же не хотела разбить эти фигурки, — сказал я. — Вот в чем разница. Главное, что теперь надо сделать, это попробовать их починить. Может быть, найдем в Вилларе мастерскую.

Она покачала головой:

— Сомневаюсь.

— Посмотрим, — сказал я.

— Я не упала бы, если бы не руки, — сказала Мари-Ноэль. — Я оперлась о пол возле самого столика, и у меня ослабли запястья. Я кувыркалась раньше в парке миллион раз.

— Ты выбрала неподходящее место, вот и все.

— Ага.

Она жадно всматривалась в мои глаза, словно хотела получить подтверждение какой-то невысказанной мысли, но мне нечего было ответить ей на немой вопрос, да и вообще нечего больше сказать.

— Мне снова одеться, да? — спросила она.

— Да. И спускайся вниз. Скоро десять.

Я зашел в гардеробную и взял пакет с осколками. Внизу машина уже стояла у входа, а в холле меня ждала Рене.

— Надеюсь, я вас не задержала? — сказала она.

В голосе ее звучало предвкушение победы и уверенность в себе; то, как она прошла мимо меня на террасу, спустилась по ступеням, то, как она двигалась, как, взглянув на солнечное, безоблачное небо, пожелала доброго утра Гастону, стоявшему у «рено», говорило яснее ясного о ее возбуждении и желании добиться своего. Декорации были установлены. Шел ее выход. Впереди ждал успех. А затем на террасу выбежала, догоняя нас, Мари-Ноэль в белых нитяных перчатках, с белой пластиковой сумочкой, свисавшей на цепочке с руки.

— Я еду с вами, тетя Рене, — сказала она, — но вовсе не для удовольствия. Мне надо сделать очень важные покупки.

Никогда еще не приходилось мне видеть, чтобы апломб так быстро уступал место растерянности.

— Кто тебе сказал, что ты едешь? — воскликнула Рене. — Почему ты не пошла заниматься?

Я поймал взгляд Гастона и прочел в нем такое понимание, такую тонкую оценку ситуации, что мне захотелось пожать ему руку.

— Тете Бланш удобнее заниматься со мной днем, — сказала Мари-Ноэль, — и папа рад, что я с ним еду. Да, папа? Можно, я сяду спереди, а то я укачаюсь?

В первую минуту я подумал, что Рене вернется в замок, — столь сокрушительным был удар по ее планам, столь полным провал ее надежд. Но после секундного колебания она взяла себя в руки и молча забралась на заднее сиденье.

Мне ни к чему было волноваться, найду ли я дорогу в Виллар. Как всегда, из затруднения меня вывела правда.

— Давай притворимся, — сказал я Мари-Ноэль, — будто я впервые в этих местах, а ты моя проводница.

— Давай! — воскликнула она. — Как ты хорошо это придумал!

— Чего проще?

В то время как, покинув Сен-Жиль, мы ехали по проселочным дорогам среди мерцающих под октябрьским небом золотисто-зеленых полей, я думал, как легко и радостно дети погружаются в мир фантазии; не будь у них этой способности к самообману, умению видеть вещи в ином свете, чем они есть, вряд ли им удалось бы вынести свою жизнь. Если бы я мог, не нарушая веры Мари-Ноэль в отца, раскрыть ей правду, сказать ей, кто я на самом деле, с каким жаром она отдалась бы игре и стала бы моей соучастницей, моей доброй феей, как помогала бы мне своим колдовством, подобно джинну из «Лампы Аладдина».

Вскоре мы покинули волшебный мир полей, лесов и ферм, песчаных дорог и тополей, роняющих листья, и покатали по твердому, прямому шоссе, ведущему в Виллар. Мари-Ноэль выкрикивала нараспев названия всех поворотов, единственная моя пассажирка продолжала молчать; лишь однажды, когда я резко затормозил, чтобы не налететь на идущую впереди машину, которая внезапно снизила скорость, и Рене кинуло вперед, она не удержалась и вскрикнула: «Ах!», выдав свой гнев и раздражение.

— Мы забросим тетю Рене к парикмахеру и припаркуем машину на площади Республики, — сказала Мари-Ноэль.

Я остановился перед небольшим заведением, в витрине которого красовалась женская голова, покрытая кудряшками, словно барашек

перед стрижкой, и раскрыл заднюю дверцу. Рене вышла, не сказав ни слова.

— К которому часу вы будете готовы? — спросил я, но она не ответила и, не оглянувшись, вошла в парикмахерскую.

— По-моему, тетя Рене сердится, — сказала Мари-Ноэль. — Интересно почему?

— Неважно, бог с ней, — сказал я, — продолжай указывать мне дорогу, ты забыла — я здесь в первый раз.

Присутствие Рене сковывало нас, но теперь настроение мое, как и у девочки, стало праздничным. Возле ряда грузовиков мы нашли место, где поставить машину, и, позабыв предупреждение насчет блох, окунулись в рыночную толпу.

Здесь все происходило с куда меньшим размахом, чем в Ле-Мане. Не было ни крупного, ни мелкого рогатого скота, ни свиней, но временные прилавки, сгрудившиеся на тесной площади, ломились от курток, макинтошей, передников, сабо. Мы с Мари-Ноэль не спеша бродили между рядами, не в силах — что она, что я — оторвать глаз от одних и тех же вещей: носовых платков в крапинку, шарфов, фарфорового кувшина в форме собачьей головы, розовых воздушных шаров, коротких и толстых цветных карандашей — половина красная, половина синяя. Мы купили клетчатые, белые с серым, шлепанцы для Жермены, а затем, заметив, что в другом месте продают такие же туфли зеленого цвета, не постеснялись перекинуться ко второму продавцу. Не успели нам завернуть покупку и получить деньги, как нас охватило жгучее желание приобрести толстые шнурки для ботинок, для себя и для Гастона, и две губки, связанные веревкой, и, наконец, большой брусок молочно-белого мыла с выдавленной на нем русалкой верхом на дельфине.

Когда, нагруженные покупками, мы повернули обратно в узком, забитом людьми проходе, я заметил, что за нами с веселым интересом наблюдает какая-то блондинка в ярко-синем жакете, держащая в руках охалку георгинов. Обратившись к ближайшему продавцу, она сказала через голову Мари-Ноэль:

— Значит, правда, что стекольная фабрика в Сен-Жиле закрывается, а вместо нее откроют склад дешевых товаров?

А затем, протискиваясь мимо меня — она шла в противоположном направлении, к церкви, — шепнула мне на ухо:

— Père de famille ^[42]— ради разнообразия?

Заинтригованный, я обернулся ей вслед и следил с улыбкой, как синий жакет исчезает вдаль, но тут Мари-Ноэль дернула меня за руку:

— Ой, папа, смотри, кусок кружева! Как раз то, что мне надо для аналая.

И мы снова полностью отдались покупкам. Мари-Ноэль кидалась от прилавка к прилавку, а я, разомлев на солнце и желая побаловать ее, и думать забыл о цели нашей поездки, и лишь когда часы на церкви пробили половину двенадцатого, с ужасом подумал о том, что в двенадцать банк закроется, а я еще ничего не успел.

— Идем скорей, мы опаздываем, — сказал я, и мы поспешили к машине, чтобы забросить туда свои приобретения.

Пока Мари-Ноэль раскладывала их на заднем сиденье, я снова вытащил чековую книжку и посмотрел на адрес, стараясь его запомнить.

— Папа, — сказала Мари-Ноэль, — а как же мамины фигурки? Мы и не вспомнили о них.

Взглянув на девочку, я увидел, что она не на шутку встревожена, радостное оживление исчезло.

— Не беспокойся, — сказал я, — займемся этим попозже. Банк важнее.

— Но все магазины и мастерские закроются, — настаивала она.

— Ничего не поделаешь, — сказал я. — Придется рискнуть.

— Интересно, не чинят ли фарфор в этом магазинчике возле городских ворот? — сказала Мари-Ноэль. — Там, где в витрине стоят подсвечники.

— Не знаю, — сказал я. — Не думаю. Послушай, ты не подождешь меня в машине? В банке тебе будет скучно.

— Ну и пусть. Я лучше пойду с тобой.

Но мне не очень улыбалось, чтобы ее чуткие ушки уловили, о чем я буду говорить.

— Право, не стоит, — сказал я. — Я могу там задержаться. И разговор будет долгим. Куда лучше остаться здесь или пойти в парикмахерскую, подождать там тетю Рене.

— Ой, нет, — воскликнула девочка, — это гораздо хуже банка... Папа, а можно я пойду в тот магазинчик у городских ворот, спрошу,

чинят ли они фарфор, а потом приду встречу тебя у банка?

Она выжидательно подняла на меня глаза, довольная этим новым решением. Я заколебался.

— Напомни мне, где это, — сказал я. — Там сильное движение?

— Внутри городских ворот, — нетерпеливо ответила Мари-Ноэль. — Там вообще никто не ездит. Ты же знаешь, это возле магазина, где продают зонты. Обрато я пойду мимо церкви прямо в банк. Это каких-то пять минут.

Я обвел глазами аллею, где поставил машину. Над деревьями возвышался готический шпиль церкви. Куда бы девочка ни пошла, далеко она не уйдет.

— Хорошо, — сказал я, — вот пакет. Смотри, будь осторожней.

Я дал ей в руки обломки, завернутые в целлофан и бумагу.

— Тебя там знают, в этом магазине? — спросил я.

— Само собой, — ответила она. — Надо только сказать, что я — де Ге.

Я подождал, пока Мари-Ноэль перейдет через дорогу, а затем повернул налево, к рыночной площади, — стоявшее на углу здание было по всем признакам банком. Я прошел в дверь и, доверившись мгновенной вспышке памяти, попросил позвать господина Пеги.

— Очень сожалею, господин граф, — сказал клерк, — но господин Пеги все еще болен. Могу я быть вам чем-нибудь полезен?

— Да, — ответил я, — я хочу знать, сколько денег у меня на счету.

— На котором, господин граф?

— На всех, что есть.

Женщина, сидевшая за машинкой позади стойки, подняла голову и уставилась на меня.

— Простите, господин граф, — сказал клерк, — вы имеете в виду, что вам нужен чистый баланс, или вы хотели бы познакомиться со всеми цифрами?

— Я хочу видеть все, — повторил я.

Клерк вышел, а я зажег сигарету и, прислонившись к стойке, стал слушать, как звонкое «клик-клак» машинки перемежается более медленными ударами стенных часов. Было душно, как всегда бывает в банках; сколько раз, подумал я, я получал наличные деньги по туристскому чеку в подобных банковских филиалах по всей стране, а

теперь — чем не гангстер? — собираюсь выведать тайну вклада в одном из них. Клерк вернулся со связкой бумаг в руке.

— Вы не хотите присесть, господин граф? Внутри, в конторе? — спросил клерк и провел меня в небольшую комнату со стеклянной дверью.

Он оставил мне бумаги и вышел, и, переверачивая страницу за страницей, я увидел, что так же мало разбираюсь в этих колонках цифр, как в счетах и ведомостях стекольной фабрики. Я просматривал один документ за другим, но понять, что к чему, не мог. Вскоре появился клерк, чтобы узнать, не нужны ли мне еще какие-нибудь сведения.

— Это все? — спросил я. — У вас больше нет никаких моих бумаг?

Он вопросительно взглянул на меня, на его лице отразилось недоумение.

— Нет, господин граф, если, разумеется, вы не желаете взглянуть на бумаги, которые хранятся в вашем сейфе внизу, в подвалах.

Перед моим мысленным взором предстали позвякивающие мешки с золотом в массивном сейфе.

— В моем сейфе? — спросил я. — А что у меня в сейфе?

— Не знаю, господин граф, — сказал он с обиженным видом и пробормотал, как, мол, неудачно, что господина Пеги нет в банке.

— А я успею заглянуть в сейф до перерыва? — спросил я.

— Конечно, — ответил он; выйдя на минуту, он вернулся со связкой ключей, и я последовал за ним по длинной лестнице в цокольный этаж здания.

Одним из ключей он открыл дверь, и мы очутились в огромной низкой комнате, по стенам которой стояли пронумерованные сейфы. Клерк остановился перед семнадцатым сейфом и, отделив от связки еще один ключ, вставил его в замок и повернул. Я ожидал, что дверь раскроется, но клерк вынул ключ, отошел назад и выжидающе посмотрел на меня. Видя, что я ничего не делаю, он удивленно спросил:

— Господин граф забыл захватить ключи?

Ругая себя за то, что я, как последний дурак, не догадался, чего он от меня ждет, я вытащил из кармана связку ключей, принадлежавшую Жану де Ге. Один из них — больше и длиннее других — показался

мне подходящим, и, сделав шаг вперед, с уверенным видом, несомненно казавшимся ему так же, как мне, притворным, я всунул ключ в замочную скважину; слава богу, он повернулся, и, когда я потянул за ручку, дверца сейфа распахнулась.

Клерк, пробормотав, что он не станет мешать господину графу искать нужные ему бумаги, вышел из подвала, а я сунул руку внутрь сейфа, где не оказалось никаких мешков с золотом, зато было много бумаг, все — перевязанные тесьмой. Как это ни смешно, разочарованный, я вынул их и поднес к свету. Мои глаза привлекло название одной из связок: «Брачный контракт Франсуазы Брюйер». Только я начал развязывать тесьму, как в дверях появился клерк.

— Там пришла ваша малышка, — сказал он. — Она просит передать, что насчет фарфоровых фигурок она договорилась, и спрашивает, нельзя ли ей вернуться домой в грузовике вместе с мадам Ив.

— Что-что? — нетерпеливо переспросил я; мои мысли были заняты бумагами, которые я держал в руке.

Он сухо повторил данное ему поручение, но, хотя я опять ничего не понял, я не хотел выяснять, кто такая мадам Ив и откуда этот грузовик, так как, видимо, я должен был это знать.

— Хорошо, хорошо, — сказал я, — передайте, что я через минуту буду свободен.

Не успел я развязать тесьму и раскрыть папку, как забыл, что нахожусь в подвале провинциального банка: несмотря на юридическую терминологию, вопрос, о котором шла речь, был мне достаточно хорошо знаком — я не раз листал подобные бумаги в архивах Блуа, или Тура, или в читальном зале Британского музея. «Regime dotal... majorat... usufruit...» ^[43]— эти хитроумные пункты французского брачного права всегда завораживали меня своей двусмысленностью, и теперь, позабыв про время, я сел и стал читать контракт.

Отец Франсуазы, некий господин Робер Брюйер, был, по-видимому, богатый человек, который мало верил в постоянство Жана де Ге и не имел особого желания служить подпорой беднеющему роду де Ге. Поэтому приданое Франсуазы, составлявшее кругленькую сумму, было завещано ее наследнику мужского пола, а доходы со всей этой вверенной попечению родителей собственности до

совершеннолетия вышеуказанного наследника должны были идти поровну в пользу попечителей, то есть его матери и отца. В случае невыполнения Франсуазой супружеского долга и непоявления на свет сына и наследника к тому моменту, как Франсуазе исполнится пятьдесят лет, все оставленные ему деньги должны быть разделены между ней и дочерьми от ее брака с Жаном де Ге или, если она скончается раньше своего супруга, между ним и дочерьми. Соль контракта заключалась в том, что получить эти доходы родители могли только и исключительно при условии рождения сына-наследника, а если этого не произойдет, никто не имел права тронуть ни единого су до того времени, как Франсуаза достигнет пятидесяти лет, если, разумеется, она доживет до этого возраста. В день свадьбы Жану де Ге была выделена крупная сумма денег для его собственного употребления, но она составляла менее четверти всего приданого.

Я прочитал этот запутанный документ раз десять, если не больше, и наконец-то понял намеки, оброненные Франсуазой и некоторыми другими, насчет того, как важно, чтобы у нее родился мальчик. Я спросил себя: только ли прихоть заставила ее отца заморозить наследство и хотел ли, женись на ней, Жан де Ге просто воспользоваться своей долей приданого или делал ставку на сына? Бедняжке Мари-Ноэль, если у нее появится братец, не достанется ровным счетом ничего... Что до самого Жана де Ге, он получит в свое владение половину основного капитала только в том случае, если у него не будет сына, а Франсуаза умрет до того, как достигнет пятидесяти лет.

— Прошу прощения, господин граф, вы еще надолго здесь задержитесь? Мне пора перекусить. Я ухожу. Мы закрываемся в двенадцать, как господину графу, без сомнения, известно, а сейчас уже первый час.

Возле меня стоял клерк; на его лице было обиженное выражение человека, у которого отняли несколько минут его собственного драгоценного времени. Я с трудом вернулся к реальности. На какой-то миг мне было показалось, что я вновь сижу в огромной башенной спальне, вновь слышу голос графини: «Нищие... и такими мы и останемся, если Франсуаза не произведет на свет сына или...» Теперь ее слова стали мне понятны, хотя что означали ее тон и брошенный искоса взгляд, все еще оставалось загадкой. Я только смутно ощущал,

что между нами существуют крепкие, нерушимые узы, что мы, мать и сын, живем в тайном мире, куда нет доступа чужаку — ни жене, ни ребенку, ни сестре, — что ряженный, под личиной которого я скрывался, вот-вот приподнимет завесу над манящей к себе, пусть и пугающей, тайной.

— Иду, — сказал я, — я не знал, что так поздно.

Когда я клал документы обратно в сейф, из них выпала бумага, не связанная тесьмой с остальными; похоже, ее сунули туда в спешке. Взглянув на нее, я увидел, что это письмо от некоего Тальбера, поверенного в делах, написанное недели две-три назад. В глаза бросились отдельные слова: «...verrerie... rentes... placements... dividendes...», ^[44]и, подумав, что здесь может крыться ключ к решению всей финансовой головоломки, я положил письмо в карман. Повторив ритуал с ключами, я вышел вслед за клерком из подвала и поднялся по ступеням в контору.

Все еще погруженный в свои мысли, занятые подробностями брачного контракта, я рассеянно оглянулся вокруг и только тут вспомнил о Мари-Ноэль.

— Где девочка? — спросил я.

— Уехала несколько минут назад, — ответил клерк.

— Уехала? Куда?

— Господин граф, вы же сами велели ей передать, что не возражаете против ее просьбы поехать домой вместе с какой-то женщиной в грузовике.

— Ничего подобного.

Ответ прозвучал резко, я был в ярости и на себя, и на него, и клерк, оскорбившись еще больше, повторил сказанные мною слова, придав им смысл, который я и не собирался в них вкладывать. Я видел, что виной всему мое собственное нетерпение — я хотел поскорее вернуться к чтению контракта и отвечал ему, не подумав, лишь бы быстрее отделаться от него.

— Кто была эта женщина, о которой вы упомянули? — спросил я в ужасе от своей безответственности: перед моим мысленным взором возникли цыгане, похитители детей, трупы девочек, убитых в лесу.

— Я думаю, грузовик этот с вашей фабрики, господин граф, — сказал клерк. — Кто-то из рабочих ездил на станцию. Девочка

совершенно свободно чувствовала себя с этими людьми. Она села в кабину рядом с женщиной.

Что я мог сделать? Оставалось положиться на счастье. Будем надеяться, что Мари-Ноэль не погибнет в лесу и благополучно прибудет в замок. Если случится беда, виноват буду я, и только я.

Клерк провел меня мимо пустынной стойки, где больше не раздавались голоса клиентов, выпустил на улицу и запер на засов дверь. Я свернул налево и пересек площадь по направлению к церкви — надо было хотя бы узнать судьбу разбитых фарфоровых статуэток. Мари-Ноэль говорила что-то насчет городских ворот. Где они находятся? Я вернулся к машине и двинулся в ту сторону, куда она пошла после того, как мы расстались. Хотя я был сердит и встревожен, я не мог не залюбоваться городком. Меня поразила своеобразная прелесть извилистых каналов, мирно текущих мимо старинных особняков, узкие пешеходные мостики, переброшенные к садам за домами, и желтые от старости, нависающие над стенами островерхие крыши... Наконец я достиг *porte de ville*. ^[45] Это был бывший вход в город — некогда крепость, — откуда шел каменный мост там, где раньше был подъемный. Пройдя под нависшими сводами, я очутился, судя по всему, на главной торговой улице городка и сразу увидел справа от себя то место, о котором говорила Мари-Ноэль: небольшой антикварный магазин с серебряными и фарфоровыми вещицами в витрине. Но дверь была заперта, а рядом висело объявление, извещавшее, что с двенадцати до трех магазин закрыт.

Я повернул обратно и тут заметил, что с противоположной стороны за мной наблюдает человек, стоящий у одной из лавок.

— *Bonjour, monsieur le comte*, — сказал он. — Вы ищете мадам?

По-видимому, меня здесь знали, но я не хотел ни во что впутываться.

— Да нет, — сказал я. — Зайду в другой раз.

На его лице промелькнула улыбка. Видимо, мой ответ показался ему забавным.

— Это, конечно, не мое дело, — сказал он, — но, когда парадная дверь заперта, внутри звонок не слышен. Лучше войти со стороны сада.

Он продолжал улыбаться, довольный тем, что смог мне услужить, однако я не имел никакого намерения вторгаться с черного хода в дом

хозяйки магазина и нарушать священные часы сиесты. Я поблагодарил его и прошел обратно через городские ворота. Взглянув налево из смутного любопытства, я увидел, что лавки и жилые дома узкой торговой улицы тыльной стороной примыкают к каналу и что антикварный магазинчик занимает лишь переднее помещение небольшого домика восемнадцатого века с балконом и узким садиком и выходит на канал, как миниатюрное палаццо где-нибудь на окраине Венеции. В его распахнутые окна лилось солнце, на балконе стояла клетка с полосатыми попугайчиками. С дороги в сад вел узкий дощатый мостик. Один из тех уголков, которые в туристских проспектах называются живописными. Интересно, сколько цветных открыток с его изображением продается сейчас в городке? Я приостановился, чтобы закурить сигарету, и тут на балкон вышла какая-то женщина и стала кормить птиц; я сразу узнал блондинку в ярко-синем жакете, которая подсмеивалась над нами на рыночной площади. Она — хозяйка антикварного магазина? Если так, я с удовольствием спрошу ее, как они договорились с Мари-Ноэль насчет починки разбитых статуэток.

Я подошел к мостику, хотя подозревал, что преступаю границы дозволенного.

— Простите, мадам, — окликнул я женщину, — я пытался попасть в магазин, но дверь оказалась заперта. Моя дочь заходила к вам сегодня утром?

Вздрогнув от неожиданности, женщина обернулась и тут же, к моему крайнему удивлению, разразилась смехом.

— Идиот, — сказала она. — Я думала, ты давно уехал. Что ты тут делаешь? Болтаешься на углу и валяешь дурака?

Ее непринужденный тон и «ты», принятое лишь между близкими людьми, совершенно ошеломили меня. Я стоял, молча глядя на нее во все глаза, и судорожно пытался найти подходящий ответ. Женщина посмотрела направо, в сторону городских ворот и площади Святого Жюльена. Сиеста еще продолжалась, на улице не было ни души.

— Поблизости никого, — сказала она. — Входи.

Судя по всему, Жан де Ге пользовался в Вилларе довольно сомнительной репутацией. Я был в нерешительности, но тут, взглянув на площадь, увидел Рене. Это перевесило чашу весов в пользу приглашения. Я уже успел забыть про свою невестку, а она, давным-

давно уйдя из парикмахерской, по-видимому, исходила весь городок в поисках меня. Я вспомнил также, что Мари-Ноэль исчезла в неизвестном направлении, уехала на грузовике, и теперь мне придется возвращаться в Сен-Жиль наедине с Рене. Я попал в западню. Блондинка проследила за моим взглядом и поняла, какая передо мной стоит дилемма.

— Быстрей, — шепнула она. — Твоя родственница еще тебя не заметила — она смотрит в другую сторону.

Я кинулся по пешеходному мостику и влетел на балкон; по-прежнему смеясь, хозяйка домика вытащила меня в комнату.

— Повезло, — сказала она. — Еще секунда, и ты был бы пойман.

Она закрыла высокое окно и с улыбкой повернулась ко мне; на ее лице было то же радостное оживление, которое я заметил — и разделил с ней — на рыночной площади. Но сейчас ничто не сдерживало и не скрывало его, женщина смотрела на меня открыто и свободно.

— Твоя дочка — прелесть, — сказала она, — но нехорошо было посылать ее сюда. И ради всего святого, зачем ты завернул осколки в целлофан и бумагу с карточкой, адресованной мне? Девочка говорила что-то насчет ошибки и какого-то знакомого в Париже, но скоро твои шутки, мой ангел, зайдут слишком далеко.

Она сунула руку в карман жакета и вытащила кусок скомканного целлофана и обрывок бечевки.

— Я займусь этими фигурками и всем, что ты сочтешь нужным прислать мне из Сен-Жиля, но не отряжай сюда твою дочку, или жену, или сестру, потому что это ставит их в глупое положение, а я очень уважаю вашу семью.

Она сунула руку во второй карман и вынула смятую визитную карточку. На ней было написано: «Моей красавице Беле от Жана». Осколки фарфоровых животных лежали на столе. Единственным недостающим звеном был огромный флакон духов под названием «Femme».

Глава 12

Хотя Бела закрыла высокое окно и задернула от чужих глаз занавески, комната была полна света. От серо-голубого, холодного вроде бы, оттенка стен и диванных подушек она казалась воздушной. Принесенные с рынка красные и золотые георгины, все еще напоенные солнцем, с трудом умещались в стоящей в углу вазе. Я увидел книжный шкаф, корзину с фруктами на столике, над камином — рисунок Мари Лоренсен. В одном из глубоких кресел умывалась персидская кошка. У окна стоял низкий стол с кисточками и плотной бумагой — принадлежности художника. Пахло абрикосами.

— Что ты делаешь днем в Вилларе? — спросила Бела.

— Заходил в банк, — сказал я, — и позабыл о времени, а я обещал захватить от парикмахера одного из членов моей семьи на обратном пути в Сен-Жиль.

— Ты слишком надолго это отложил, — сказала Бела. — Думаешь, ей доставляет удовольствие бродить по городу?

Она подошла к угловому шкафчику и вынула бутылку дюбонне и два бокала.

— А где девочка?

— Не знаю. Исчезла. Уехала в грузовике с какими-то рабочими.

— Что ж, у нее хороший вкус. Ты правильно ее воспитываешь. Поешь со мной? Все уже готово: ветчина, салат, сыр, фрукты и кофе.

Она отодвинула заслонку окошечка между этой комнатой и соседней, и я увидел полный поднос с едой.

— Как я могу есть, когда моя невестка ждет меня на улице?

Бела подошла к окну и, открыв его, посмотрела на площадь Святого Жюльена.

— Ее уже нет. Если она хоть что-нибудь соображает, она пойдет и посидит в машине, а когда ей надоест ждать, уедет обратно в Сен-Жиль.

Интересно, Рене умеет водить машину? Впрочем, это неважно. Куда любопытней было бы узнать, почему моя сотрапезница называет себя Белой — наследственным именем венгерских королей. Я сел в одно из глубоких кресел и принялся потягивать дюбонне. Внезапно я

почувствовал себя свободным от всех обязательств — пусть все идет своим чередом. В жизни Жана де Ге слишком много женщин.

— Можешь представить, как я разволновалась, — сказала Бела, — когда сегодня утром ко мне заглянул Винсент и сказал, что к нам пришла твоя дочка и просит починить какую-то очень ценную вещь, принадлежащую ее татап. Я и вообразить не могла, что произошло. На какой-то миг у меня возникла бредовая мысль, будто твоя жена каким-то образом узнала, что миниатюру делала я. Кстати, о миниатюре. Ты отдал ее? Она ей понравилась?

Я немного задержался с ответом, подыскивая слова и вспоминая ход событий.

— Да, — ответил я наконец. — Очень. Мало сказать — понравилась, она в восторге.

— И тебе удалось достать ту оправу, о которой я тебе говорила? Оставили для тебя медальон после моего звонка?

— Да. Он идеально подошел.

— Я так рада... Это была блестящая мысль; видно, она пришла тебе в голову в светлый момент. Девочка ничего не говорила о миниатюре, естественно, я тоже не упомянула о ней. Она сказала, что татап была очень расстроена, когда фарфоровые фигурки разбились; из этого я поняла, что они очень дороги ей. Разумеется, починить их нельзя, но я могу заказать копии в Париже. Ты хоть понимаешь, что это датский фарфор? Ну, ладно. Давай есть. Не знаю, как ты, но я умираю с голоду.

Бела накрыла на стол и пододвинула его к моему креслу; я подумал, что впервые с тех пор, как начался мой маскарад, от меня не требуется никаких усилий. Самый приятный момент за все это время. Можно даже сказать — дар судьбы, которая пока не очень-то баловала меня. Единственное, что меня тревожило, была Рене, бродившая в ярости по улицам Виллара.

Должно быть, подруга Жана де Ге прочитала мои мысли, потому что она сказала:

— Винсент вернется с минуты на минуту. Когда он придет, я пошлю его посмотреть, сидит ли она в машине. Где ты припарковался — на площади Республики?

— Да. (Да? Я не был в этом уверен.)

— Не беспокойся. Она вернется домой без тебя. Я бы так сделала на ее месте. А Гастон пригонит машину обратно. Ты шутил, когда сказал, что девочка уехала куда-то в грузовике?

— Нет, это действительно так. Мне сообщили об этом в банке.

— Ты относишься к этому очень спокойно.

— Я думаю, грузовик — с нашей фабрики. Да и что я мог сделать? Грузовик и Мари-Ноэль вместе с ним уже исчезли из виду, когда я поднялся из подвалов.

— А зачем ты туда спускался?

— Хотел заглянуть в сейф.

— Вот тут ты, верно, потерял спокойствие.

— О да.

Я ел ветчину и салат, отламывал кусочки хлеба и думал о том, насколько приятней мой сегодняшней ленч в компании этой сидящей напротив женщины, чем вчерашняя трапеза в столовой замка. Ход мыслей привел меня к единственному еще не врученному подарку.

— В Сен-Жиле на комод в гардеробной комнате стоит для тебя флакон духов, — сказал я.

— Спасибо. Мне что — сбегать за ним?

Я рассказал ей без утайки — теперь я уже мог смеяться над этим — об ошибке по вине буквы «Б».

— Не представляю, как это могло случиться, — сказала Бела, — ведь ты никогда не разговариваешь с сестрой. Или ты наконец решил сделать ей подношение в знак мира?

— Нет, — ответил я, — просто я ничего толком не соображал. Слишком много выпил накануне в Ле-Мане.

— Надо было напиться до полного бесчувствия, чтобы совершить такой чудовищный промах.

— О чем и речь, — сказал я.

Она подняла брови.

— Поездка в Париж оказалась неудачной?

— Весьма.

— У Корвале не захотели пойти навстречу?

— Они не желают продлевать контракт на наших условиях. А я, вернувшись, сказал братцу Полю, что продлил его. Вся семья и рабочие с vergerie думают, что я добился успеха. Вчера я снова начал переговоры по телефону, и в результате они согласились продлить

контракт... на их условиях. Об этом еще не знает никто, кроме меня. Вот почему я поехал сегодня утром в банк — проверить, смогу ли я восполнить урон. Я все еще не знаю ответа.

Я оторвал взгляд от тарелки: ее широко раскрытые синие глаза пристально смотрели на меня.

— Как это ты не знаешь ответа? Прекрасно знаешь. Ты сказал мне перед отъездом, что фабрика работает себе в убыток и, если у Корвале не пойдут на твои условия, ее придется закрыть.

— Я не хочу ее закрывать, — сказал я. — Это будет несправедливо по отношению к рабочим.

— С каких это пор ты беспокоишься о рабочих?

— С тех самых пор, как я напился в Ле-Мане.

Вдали хлопнула дверь. Бела поднялась и вышла в коридор.

— Это вы, Винсент? — окликнула она.

— Да, мадам.

— Пойдите посмотрите, стоит ли машина графа де Ге на площади Республики и сидит ли в ней дама.

— Сейчас, мадам.

Бела вернулась, неся корзинку с фруктами и сыр, налила мне еще вина.

— Похоже, ты основательно все запутал после возвращения из Парижа. Что ты собираешься по этому поводу предпринять?

— Понятия не имею, — ответил я. — Я живу сегодняшним днем.

— Ты живешь так уже много лет.

— Но сейчас в еще большей степени. Говоря по правде, я живу теперь настоящей минутой.

Бела отрезала ломтик швейцарского сыра и передала его мне.

— Знаешь, — сказала она, — неплохо время от времени пересматривать свою жизнь. Так сказать, подводить, итог. Найти свои ошибки. Я иногда спрашиваю себя, почему я продолжаю жить в Вилларе. Я с трудом зарабатываю на хлеб в магазине и существую в основном на то, что мне оставил Жорж, а это сущие пустяки в наше время.

Жорж? Кто это? Вероятно, муж. Видимо, надо было что-то сказать.

— Так почему тогда ты живешь здесь? — спросил я.

Бела пожала плечами:

— Привычка, должно быть. Мне все здесь подходит. Я люблю этот домик. Если ты полагаешь, что я остаюсь здесь ради твоих случайных визитов, ты себе льстишь.

Она улыбнулась, и я спросил себя, действительно ли Жан де Ге льстил себе. В любом случае результат был в мою пользу.

— Тебе не кажется, — спросила Бела, — что твой внезапный интерес к vegetable вызван тем, что ей уже два с половиной века, а у тебя, возможно, появится наконец наследник?

— Нет, — ответил я.

— Ты уверен?

— Абсолютно. Мой интерес вызван тем, что вчера я увидел фабрику новыми глазами. В первый раз я наблюдал за рабочими. Я понял, что они гордятся своим делом, да и хозяин фабрики им не безразличен. Если она закроется, они мало того что окажутся на улице — будут обмануты, потеряют в него веру.

— Значит, тобой движет гордость?

— Вероятно. Можешь назвать это так.

Бела принялась чистить грушу и давать мне ее по кусочкам.

— Твоя ошибка в том, что ты предоставил управление фабрикой брату. Если бы ты не был так чудовищно ленив, ты взял бы все в свои руки.

— Я тоже об этом думал.

— Еще не поздно начать сначала.

— Нет, время упущено. Да к тому же я ничего в этом не смыслю.

— Глупости. Ты бывал на фабрике с самого детства. Даже если стекольное дело ни чуточки тебя не интересовало, ты не мог не набраться каких-то практических знаний. Я иногда спрашиваю себя...

Она замолчала и принялась чистить яблоко.

— О чем?

— Неважно... Я не люблю залезать людям в душу.

— Продолжай, — сказал я. — Ты разбудила мое любопытство. Моя душа к твоим услугам.

— Просто, — сказала Бела, — я иногда спрашиваю себя, уж не потому ли ты не проявляешь интереса к фабрике, что не хочешь ворошить прошлое. Не хочешь думать о Морисе Дювале.

Я молчал. Морис Дюваль — человек, о котором говорил Жак, человек, стоявший на фотографии рядом с Жаном де Ге?.. Я ничего о

нем не знал.

— Пожалуй, — проговорил я.

— Вот видишь, — мягко сказала Бела, — тебе неприятен мой вопрос.

Она ошибалась. Было крайне существенно выяснить все, что можно, о Жане де Ге. Но без риска совершить еще одну оплошность.

— Нет, — ответил я, — ты не права. Прошу тебя, продолжай.

В первый раз Бела отвела глаза и посмотрела поверх моей головы в пространство.

— Оккупация кончилась пятнадцать лет назад, — сказала она. — Во всяком случае, для Мориса Дюваля. Однако люди все еще помнят его — какой прекрасный он был человек и как ужасно умер. Вряд ли у тех, кто был причастен к его смерти, от этого делается легче на сердце.

В дверь тихонько постучали, и на пороге возник невысокий худой человек в берете. Увидев меня, он улыбнулся.

— Bonjour, monsieur le comte, — сказал он. — Рад вас видеть. Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, прекрасно.

— В машине не было никакой дамы. Но на сиденье лежала записка.

Он с поклоном протянул ее мне. Записка была короткая и деловая: «Чуть не целый час искала вас и Мари-Ноэль. Наняла машину, чтобы вернуться в Сен-Жиль. Р.». Я показал записку Беле.

— Можешь теперь успокоиться, — сказала она. — Винсент, будьте другом, отнесите все это на кухню, ладно?

— Разумеется, мадам.

— Тишь да гладь да божья благодать, — проговорила Бела. — Надолго? Для меня — до трех часов. Для тебя — пока ты здесь. Дать тебе еще одну подушку?

— Нет, мне и так чудесно.

Бела убрала все со столика, принесла сигареты и кофе.

— По правде говоря, я рада, что у тебя проснулись нежные чувства к vergerie, — сказала она. — Это показывает, что ты не такой черствый, каким хочешь казаться. Но я все же не понимаю: если ты и так теряешь на ней деньги, а новый контракт с Корвале еще менее выгоден, чем прежний, как тебе удастся продолжать дело?

— Я и сам не понимаю, — сказал я.

— А что, если обратиться к этому твоему приятелю, что приезжает в Сен-Жиль охотиться? Самый подходящий человек. Он ведь всегда дает тебе советы, да?

Бела скинула синий жакет, оставшись в платье из тонкой шерсти неопределенного серого цвета, приятного для глаз. Так покойно было глядеть на нее и знать, что здесь, в этом доме, от меня ничего не требуют. Интересно, часто Жан де Ге приезжал сюда из замка и сидел в этом кресле, откинув голову на подушку, как сижу сейчас я? Небрежное дружелюбие Белы подкупало и влекло к ней. В нем была легкость и свобода, говорившие о взаимном понимании без претензии на глубокое ответное чувство. Как было бы хорошо, подумал я, если бы мой маскарад не требовал от меня ничего иного, если бы я не был владельцем Сен-Жиля и мог остаться здесь навсегда, сидеть, как сейчас, в кресле с кошкой на коленях, греться на солнышке, есть грушу, ломтики которой кладет мне в рот Бела из Виллара...

— Ты не можешь продать какие-нибудь ценные бумаги или часть земли? — спросила Бела. — А как насчет твоей жены? Ее деньги заморожены, да?

— Да.

— Вы получите их, только если у вас родится сын. Теперь я вспомнила.

Бела налила мне еще одну чашку кофе.

— Как она себя чувствует, твоя жена? У нее довольно слабое здоровье, если я не ошибаюсь. Кто ее пользует?

— Доктор Лебрэн, — ответил я.

— Он сильно постарел, ты не находишь? Я бы на твоём месте вызвала врача-акушера. Ты с самого начала почему-то держишься в стороне. Надеюсь, дома ты проявляешь больше сочувствия.

Я притушил сигарету. Бела была единственным человеком, кому правда не причинила бы ни боли, ни вреда, однако, как это ни странно, мне была ненавистна мысль, что она может ее узнать. Я представлял себе ее поднятые брови и веселый смех, ее практический подход к забавной ситуации — надо же решить, что предпринять, — а затем неизбежное отдаление, быстрое, хотя и учтивое, ведь теперь перед ней посторонний человек.

— Я вовсе не держусь в стороне, — сказал я. — И я стараюсь выражать сочувствие. Беда в том, что я недостаточно знаю Франсуазу.

Бела задумчиво смотрела на меня. Ее прямой взгляд приводил меня в замешательство.

— В чем дело? — спросила она. — Речь не только о деньгах, да? О чем-то куда более глубоком? Что в действительности произошло с тобой в Ле-Мане?

Я вспомнил старую детскую игру в наперсток — «холодно — горячо», как ее еще называют, — в которую я играл со своей незамужней теткой. Для нее это была спокойная, легкая игра, ведь от взрослого требовалось одно — сидеть, зажмурившись, на месте, но как билось мое детское сердце, когда я крался на цыпочках по уставленной мебелью гостиной и наконец прятал наперсток позади настольных часов. Затем, открыв глаза, тетя начинала задавать вопросы, которых я так страшился. Когда взгляд ее достигал часов, честность вынуждала меня скрепя сердце сказать: «Теплей, теплей», хотя мне ужасно не хотелось, чтобы золотой наперсток покинул свое уютное, спокойное убежище. На этот раз я сам закрыл глаза и продолжал гладить кошку, лежащую у меня на коленях. Что безопасней — уйти от ответа или сказать правду?

— Ты говорила, что полезно время от времени подводить жизненные итоги. Возможно, последнее время я этим именно и занимался, и вечером в Ле-Мане мои раздумья достигли высшей точки. Тот «я», которым я был, потерпел фиаско. Единственный способ избежать за это ответственности — стать кем-то другим. Пусть этот кто-то берет все на себя.

Бела ничего не сказала. Видимо, обдумывала мои слова. Я ее не видел, мои глаза были закрыты.

— Другой Жан де Ге, — проговорила она, — тот, кто все эти годы скрывался под внешней веселостью и шармом? Я часто спрашивала себя, существует ли он. Если он намерен выйти из подполья, сейчас самое время. Еще немного, и будет поздно.

Интуитивно, каким-то сверхъестественным чутьем она частично догадалась, о чем я думал, но настоящий смысл моих слов от нее ускользнул. Наперсток позади часов был в безопасности, отгадчик «замерзал». Было так покойно лежать в глубоком кресле, что не хотелось двигаться с места.

— Ты не понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать, — проговорил я.

— Нет, понимаю, — возразила она. — Ты не единственный человек с раздвоением личности. У всех нас множество «я». Но никто не пытается таким образом уйти от ответственности. Проблемы все равно остаются, и их надо решать.

«Холодней» и «холодней». Отгадчик ищет наперсток в другом конце комнаты.

— Нет, — сказал я, — ты упустила самую суть. И проблемы, и ответственность за их решение становятся иными, если человек, который за все в ответе, иной.

— А каким ты его видишь, того, кто за все в ответе? — спросила Бела.

На башне главной церкви Виллара пробило два часа. Торжественный звон колокола, откуда бы он ни доносился, всегда напоминал мне благовест, а эти глубокие, звучные удары раздались совсем близко и нарушили мой душевный покой.

— Иногда он кажется мне бесчувственным, — сказал я, — а иногда — слишком чувствительным. То он готов убить самых близких себе людей, то рискует жизнью ради чужих. Он говорит, что человечеством движет одно — алчность и сам он может уцелеть, лишь утоляя ее. Мне кажется, у него в голове сумбур, но он недалек от истины.

Я слышал, что Бела поднялась с места, поставила мою чашку на поднос и отнесла его к окошечку в стене. Затем вернулась и села на подлокотник моего кресла. Странно, мне это было неприятно. Не само это ласковое и естественное, хотя и небрежное, движение, а то, что оно говорило о ее симпатии к моему второму «я», Жану де Ге, за которого она принимала меня. Неприятен мне был и флакон духов, что стоял на комодe в гардеробной.

— Интересно, — сказал я, — почему тот, кто за все в ответе, купил тебе «Femme»?

— Потому, что ему нравится их запах и мне тоже.

— Как ты думаешь — он утоляет этим твою алчность?

— Это зависит от размеров флакона.

— Он огромный.

— Тогда я бы сказала, что он проявляет предусмотрительность.

Вряд ли я узнал бы запах «Femme». Я никогда в жизни никому не дарил духов, почти все употребляющие духи женщины вызывали во мне отвращение, и я старался их избегать. Бела не душилась, от нее пахло абрикосами.

— Дело в том, — сказал я, — что это вовсе не алчность. Тут он ошибается. Это голод. А если это голод, как, спрашивается, мне всех их насытить? Как дать им то, что они хотят, ведь каждому надо свое? Мать, жена, ребенок, брат, невестка, даже рабочие с фабрики — все заявляют на меня права, рвут меня на части. Честно говоря, я не знаю, что мне делать, с чего начать.

Бела не ответила, но я почувствовал ее ласковую руку у себя на лбу. Кто я, где я, как мое имя? Я был в неведомом море между двумя мирами. Уединенный остров, узкий и скалистый, — некогда мое пристанище, моя темница — остался позади, а ждущий меня многолюдный, многоголосый континент, предъявляющий мне свои требования, на мгновение скрылся из вида. Моя личина сулила не только освобождение, но и новые пути. Что-то во мне ожило, что-то иссякло. Если бы можно было забыть все претензии, уйти от действительности, кем бы я был — самим собой или Жаном де Ге?

Я протянул ладони и коснулся ее лица.

— Почему я должен обо всем думать? — сказал я. — Я не хочу.

Бела засмеялась и, чуть коснувшись губами, поцеловала меня в закрытые глаза.

— Потому-то ты и приходишь сюда? — спросила она.

Глава 13

Когда я вышел из домика, все желтые от лишайника крыши горели золотом под предвечерним солнцем. Из ближнего здания высыпали гурьбой ребятишки с ранцами за спиной и учебниками в руках и перебежали на противоположную сторону канала по соседнему мостику. Мимо городских ворот медленно цокала копытами лошадь, запряженная в крытую повозку; сторбившись на облучке, кучер лишь изредка пощелкивал кнутом. На торговой улице ставни были распахнуты, двери открыты. Вдоль платановой аллеи неподалеку от рыночной площади, возле которой во время базарной шумихи и сутолоки стояли повозки и грузовики, теперь сидели старики и старухи, греясь в последних лучах солнца, а рядом, шурша опавшими листьями и роясь в пыли, щебетали дети. Интересно, как он будет выглядеть ночью, этот Виллар обитатели которого, как во всех провинциальных городках, рано ложатся спать, заперев двери и закрыв ставни; тишина, дома объаты тенью, серые от времени островерхие крыши круто спускаются к карнизам, готический шпиль церкви пронзает темно-синее небо; ни звука, разве что раздадутся шаги спешащего домой гуляки да послышится еле уловимый плеск воды в темных, недвижных, подступающих к стенам каналах.

Я никогда не мог устоять против соблазна, встречая en route [46] такие городки, остаться в них ночевать. Поужинав, я, единственный путник на улице, бродил мимо безмолвных домов, окна которых, наглухо закрытые ставнями, ничего не говорили мне об их обитателях; лишь изредка слабый свет, пробивающийся сквозь щель между створками, выдавал, что внутри есть жизнь. Порой глаз, как в темную пропасть, падал в открытое окно на верхнем этаже, порой я видел тени от зажженной свечи, пляшущие по потолку, или слышал плач младенца, но чаще всего кругом было тихо и спокойно, и я один рыскал по городку в компании с тощими голодными кошками, которые бесшумно крались по мощенным булыжником улицам, выискивая в канавах какую-нибудь поживу. Я прошел бы мимоходом под аркой городских ворот, кинул беглый взгляд на канал, посмотрел бы мельком на пешеходный мостик и домик, спрятавшийся в саду, и

вернулся бы в отель, а утром навсегда уехал отсюда, так ничего и не узнав. А теперь, когда вся жизнь моя переменялась и я смотрю на все другими глазами, хотя бы этот уголок Виллара останется со мной навсегда.

Предзакатное солнце окрашивало все в густые, теплые тона. Это был дружелюбный город, все прохожие мне улыбались. «Рено», дожидавшийся меня на площади Республики, показался мне вдруг моим старым «рено», и белая пластиковая сумка Мари-Ноэль на сиденье, там, куда девочка кинула ее, придя с рынка, была не похожа ни на какой другой предмет, замеченный невзначай в чужой машине, полна особого смысла: я сразу увидел, как она болтается на узком запястье поверх короткой белой нитяной перчатки. Даже банк на углу в глубине площади стоял на своем месте, выполнял свое предназначение. Виллар был крепостью, убежищем, и, выезжая из него, я спрашивал себя, почему дар, принесенный мне чужой любовницей, оказался таким удивительным противоядием против моей тревоги, так расслабил натянутые нервы. Теперь я ничего больше не буду принимать близко к сердцу — ни слезы Франсуазы, ни вспышки Рене. Мать можно будет задобрить лаской, дочку — баловать в разумных границах, брата — успокоить, сестру — смягчить; никто из них не представлял больше проблемы, как это было в первые двое суток под кровлей замка.

Почему это так — трудно сказать. Одного физического довольства было недостаточно, в прошлом я имел случаи в этом убедиться. Может изменение личности ускорить внутренний темп, высвободить в мозгу какую-то клеточку, которой прежде твое «я» из некоего предубеждения не давало воли? На свете полно несчастных, неприспособленных людей, которые призраками блуждают по жизни, пытаются спрятаться от нее и обрести себя при помощи женщин. Я не из их числа. Бела из Виллара завершила картину, где уже были мать, жена и дочь. Сердечность первой, доверие второй, смех третьей слились воедино, и возникла четвертая — Бела. Когда я это увидел, я потерял голову. Такова часть ответа, но только часть.

Я не спутал ни одного поворота на пути в Сен-Жиль, и, пока я приближался к замку — липовая аллея, мост через ров, ворота, подъездная дорожка, — а затем, проехав под сводчатым входом в стене, направлялся к службам, которые еще ни разу не видел вблизи,

моя уверенность в себе все росла. Теперь меня ничем не устроишь. Я оказался во двореке, где было два гаража с распахнутыми воротами, сарайчик и пустая конюшня со сломанными стойлами. Когда я вылез из машины, с шумом захлопнув дверцу, на пороге конюшни появилась старуха, с которой я разговаривал накануне в коровнике, и, сказав что-то насчет «господина графа», позвала кого-то через плечо. Следом за ней в дверях возник мужчина в синем комбинезоне. Они, улыбаясь, подошли ко мне, и мужчина спросил, помыть ли машину. Я сказал «да», — возможно, здесь было так заведено; старуха вновь стала что-то бормотать, из чего я разобрал только три слова: «Beau temps» и «la chasse», ^[47] а я кивал и улыбался ей в ответ.

Я прошел обратно через сводчатый проход, и пес тут же подбежал к загородке и залаял. Я остановился и принялся тихонько звать его по имени, но он продолжал лаять, в то же время неуверенно помахивая хвостом. Я приблизился ко входу в его вольер, чтобы он понюхал мою одежду. Он втянул носом воздух и растерянно отошел. Я увидел, что от конюшни на нас смотрит человек в комбинезоне.

— Что приключилось с Цезарем? — спросил он.

— Ничего, — ответил я. — Должно быть, я его напугал.

— Странно, обычно он носится как угорелый от радости, когда видит вас. Будем надеяться, он не заболел.

— Пес в полном порядке, — сказал я. — Правда, Цезарь?

Я протянул руку и потрепал его по голове; успокоившись понемногу от моего тона и ласки, он продолжал молча обнюхивать меня, но, когда я тронулся с места, снова начал рычать.

— Если он будет так себя вести в воскресенье, — сказал мужчина, — много вам будет от него проку... Может быть, дать ему после еды касторки?

— Нет, — сказал я, — не трогайте его. Он скоро придет в себя.

Что такое Цезарь должен делать в воскресенье? — подумал я. Может быть, если я стану сам его выводить, он привыкнет ко мне и подозрительный лай уступит место приветственному повизгиванию? Иначе он привлечет к себе всеобщее внимание, начнутся расспросы, бедного пса обвинят в предательстве по отношению к хозяину, когда на самом деле он — единственное живое существо в Сен-Жиле, которому инстинкт подсказал правду.

Я поднялся по ступеням на террасу и когда вошел в холл, из ниши направо от входа, где висел телефон, вышел навстречу мне Поль.

— Где, черт побери, ты пробыл весь день? — спросил он. — Мы разыскиваем тебя с часу дня. Рене тебя потеряла, вернулась домой в наемной машине, а затем, когда мы кончали завтракать, ко всеобщему удивлению, появилась вдруг Мари-Ноэль и преспокойно заявила, что ее подвезли на грузовике. Лебрен ждал до двух часов, но потом был вынужден уехать. Он только что снова звонил.

— А что случилось? — спросил я.

— Что случилось! — повторил Поль. — Ничего, если не считать того, что Франсуазе плохо и Лебрен запретил ей вставать с постели. Если она не будет осторожна, ее ждет выкидыш и она потеряет ребенка. И сама, скорей всего, будет на волосок от смерти. А больше ничего не случилось.

Я заслужил презрение, звучавшее в голосе Поля. Сейчас виноват был не Жан де Ге, а я. Я обещал вернуться пораньше, чтобы повидать врача. Я не сдержал обещание. Даже не вспомнил о нем.

— Какой у него номер телефона? — спросил я. — Сейчас же ему позвоню.

— Бесполезно, — сказал Поль. — Он снова уехал на вызов. Я ему сказал, чтобы он попытался связаться с тобой попозже вечером.

Поль повернулся на каблуках и, пройдя через столовую, исчез в библиотеке. Больше он не собирался меня ни о чем расспрашивать. И на том спасибо. Я знал, что мне следует сделать. Я напрямик поднялся наверх в спальню. Шторы были опущены, камин зажжен, в ногах кровати стояла ширма, заслонявшая огонь. Франсуаза лежала на высоких подушках, закрыв глаза. Когда я вошел, она их открыла.

— А, это ты, — сказала она, — я уже давно поставила на тебе крест. Сказала им всем, что ты, возможно, сел в поезд и едешь обратно в Париж.

Голос был безжизненный, монотонный. Я подошел к кровати и взял ее за руку.

— Мне следовало позвонить, — сказал я. — Меня задержали в Вилларе, но, честно говоря, я забыл. Мне нечего сказать в свое оправдание. Я даже не прошу простить меня. Как ты себя чувствуешь? Поль передал мне, что доктор Лебрен велел тебе лежать.

Ладонь в моей руке была холодная и вялая, но она ее не отняла.

— Если я встану, я потеряю ребенка. То, чего я боялась с самых первых дней. Я всегда знала, что случится что-нибудь плохое.

— Ничего плохого не случится, — сказал я, — надо только быть осторожной. Вопрос в том, насколько компетентен Лебрэн. Ты не будешь против, если я приглашу акушера?

— Не надо, — сказала Франсуаза. — Я не хочу, чтобы сейчас вмешивался кто-нибудь чужой. Это выведет из равновесия меня, огорчит доктора Лебрэна. Главное — не вставать с постели и чтобы никто меня не волновал. Я чуть с ума не сошла от беспокойства, когда Мари-Ноэль приехала с рабочими в грузовике, а Рене — в наемной машине, так как ты куда-то исчез. А затем, спустя несколько часов, так и не дождавшись тебя, я решила, что с таким же успехом могу махнуть на тебя рукой и надо смириться с тем, что ты не вернешься, что ты нарочно избавился от них обеих и уехал в Париж.

Усталые глаза всматривались в мое лицо, и я понимал, что должен держаться как можно ближе к правде.

— Я застрял в банке, — сказал я. — Тебе я охотно все расскажу, но не хотел бы, чтобы об этом знали остальные. Дело в том, что я нагнал насчет контракта. Мне не удалось его продлить, когда я был в Париже, и я сумел все организовать, лишь позвонив отсюда к Корвалю, а затем и зайдя сегодня в банк. Они согласились подписать новый контракт, но только на их условиях. Это, естественно, значит, что *vergerie* будет работать с еще большим убытком, чем раньше, но тут уж ничего не попишешь. Придется так или иначе изыскать для этого средства.

На лице Франсуазы отразилось недоумение, и я продолжал стоять рядом, держа ее руку в своей.

— Не понимаю, зачем тебе было лгать? — сказала она.

— Наверно, из гордости, — ответил я. — Хотел, чтобы все поверили в мой успех. Возможно, я и добился его... на какое-то время. Я еще не знаю точно, каково наше финансовое положение. Но я хотел бы, чтобы ты держала все это при себе. Я не намерен ничего говорить маман, или Полю, или Рене, разве что обстоятельства сложатся таким образом, что не будет иного выхода.

Впервые Франсуаза улыбнулась и приподнялась на подушках — видимо, хотела, чтобы я ее поцеловал; так я и сделал, затем отпустил ее ладонь.

— Я никому не скажу, — пообещала она. — Я так рада, что ты хоть раз в жизни доверился мне. Только странно, почему тебя так волнует фабрика. Мне казалось, мысль о том, что ее придется закрыть, беспокоила тебя куда меньше, чем Поля и Бланш.

— Да, — согласился я, — возможно, и так. Впервые я задумался о ее судьбе вчера, когда ездил туда.

Франсуаза попросила передать ей с туалетного столика гребенку и зеркало и, выпрямившись среди сбившихся в кучу подушек, принялась зачесывать со лба гладкие белокурые волосы точно таким же движением, которое я видел всего два часа назад. Но различие между моим настроением тогда и сейчас и между самими женщинами — одна беспечная и веселая, другая измученная и вялая — было столь разительным, что странным образом растрогало меня: я бы хотел, чтобы равновесие было восстановлено, чтобы Франсуаза тоже стала энергичной и счастливой, как Бела.

— Почему ты не рассказал мне все это в тот вечер, когда вернулся из Парижа?

— Тогда я еще не пришел ни к какому решению, — сказал я, — не был уверен, что предприму.

— Поль все равно обо всем узнает, — сказала Франсуаза, — как ты сможешь это от него скрыть? К тому же какое это имеет значение, раз контракт уже подписан! Как бы то ни было, всем нашим трудностям придет конец, когда у нас родится сын.

Франсуаза положила зеркало на столик у кровати.

— Мари-Ноэль сказала, что ты спускался в подвалы банка. Никто не мог понять — зачем? Я не знала, что ты держишь что-нибудь в сейфе.

— Разные документы, — сказал я, — ценные бумаги и прочее.

— А наш брачный контракт тоже там?

— Да.

— Ты взглянул на него?

— Да, мимоходом.

— Если у нас снова родится девочка, все останется по-прежнему, да?

— Очевидно, да.

— А что будет, если я умру? Все отойдет тебе?

— Ты не умрешь... Закрывать ставни? Шторы спустить? Зажечь у кровати свет? У тебя есть что читать?

Франсуаза не ответила. Снова откинулась на подушки. Затем сказала:

— Дай мне медальон, который ты привез из Парижа. Пусть лежит тут, рядом.

Я подошел к туалетному столику в алькове и взял небольшую шкатулку для драгоценностей, которую увидел там, и отнес ее Франсуазе. Она подняла крышку и, вынув медальон, нажала на пружинку, как раньше, и посмотрела на миниатюру.

— Где ты его сделал? — спросила она.

— В одном месте в Париже, — ответил я, — забыл, как оно называется.

— Рене говорила мне, что хозяйка антикварного магазина в Вилларе изредка рисует миниатюры.

— Да? Возможно. Не знаю.

— Если это так, закажем ей потом миниатюру Мари-Ноэль. И малыша. Обойдется дешевле, чем в Париже.

— Да, вероятно.

Франсуаза положила открытый медальон на столик у изголовья.

— Тебе бы лучше было сойти вниз и помириться с Рене, — сказала она. — Я слишком плохо себя чувствовала, чтобы утихомирить ее, когда она вернулась; ты же знаешь — с ней сладу нет, стоит ей выйти из себя.

— Ничего, остынет.

Я закрыл ставни, подбросил в камин дрова.

— Девочка, скорей всего, у Бланш, — сказала Франсуаза, — или наверху, у тапан. Я была не в состоянии ее видеть. Скажи ей, что я не думала того, что наговорила сегодня утром, что я была расстроена и больна.

— Думаю, она и сама это понимает.

— Что ты сделал с осколками?

— Не беспокойся. Я позаботился о них... Тебе еще что-нибудь нужно?

— Нет-нет... Буду просто тихонько лежать, и все.

Я прошел через ванную в гардеробную комнату, как накануне, переделся и сменил обувь. Флакон «Femme» все еще стоял на комод.

Он перестал быть безличным, как предмет, увиденный мельком на витрине, он знаменовал собой важный момент моей собственной частной жизни. Я убрал его в ящик и, так как в скважине торчал ключ, сам не зная почему, повернул его и сунул в карман. Затем вышел в коридор и у подножия лестницы столкнулся лицом к лицу с Шарлоттой.

— Господин кюре только что ушел, — сказала она. — Госпожа графиня уже несколько раз о вас спрашивала.

— Я иду к ней, — отозвался я.

И снова, как в первый вечер, она пошла впереди меня. Но теперь, через каких-то двое суток, мне казалось, что с тех пор прошла целая вечность; ряженный, который шел тогда следом за ней, так же отличался от того, кто поднимался сейчас по лестнице, как теперешний я, в свою очередь, отличаюсь от того меня, который проснулся в гостинице в Ле-Мане. В тот первый вечер мужество мое было напускным, сейчас оно стало несокрушимым, моя новая оболочка защищала меня, как броня.

— Господина графа надолго задержали в Вилларе? — спросила Шарлотта.

Я знал, что имею все основания не доверять и не симпатизировать ей, что каждое ее слово фальшиво.

— Да, — ответил я.

— Мадам Поль пила чай у нас наверху, — продолжала Шарлотта. — Она была вне себя из-за того, что ей пришлось нанимать машину, чтобы вернуться в замок, и рассказала всю историю госпоже графине.

— Никакой истории не было, — сказал я. — Я задержался, больше ничего.

Мы уже достигли верхнего этажа, и, обогнав служанку, я прошел по коридору, завернул за угол и направился к дальней двери. Я вошел, приветствуемый визгливым тявканьем собачонок, спокойно отпихнул их ногой и, не задерживаясь, приблизился к креслу у печки, в котором сидела графиня в лиловой шали на массивных плечах. Я наклонился и поцеловал ее, с облегчением увидев, что Бланш в комнате нет и графиня одна.

— Доброе утро и добрый вечер, — сказал я. — Простите, что не смог раньше к вам зайти. Я уехал еще до завтрака. Да вы уже все об

этом слышали. Рад видеть вас на ногах. Как прошел день? Хорошо?

Я встретил насмешливый взгляд графини — казалось, ее глаза выискивают что-то в моих.

— Садись, — сказала она, указав рукой на стул. — Сюда, к свету, чтобы я видела твое лицо. Убирайся, Шарлотта. И чтобы не подслушивала у дверей. Спустись в кухню, скажи, чтобы сюда принесли два подноса с обедом. Ступай, да не задерживайся там. Только сначала убери эти вещи.

Графиня отодвинула на край стола лежащий там молитвенник. Собачонки забрались на кресло и устроились у нее на коленях. Я закурил сигарету, по-прежнему чувствуя на себе ее взгляд.

— Так где же ты был? — спросила графиня, как только служанка вышла.

Я догадывался, что все, известное Рене и Мари-Ноэль относительно моего утра: поездка в Виллар, поход на рынок, посещение банка, возможно, даже час, когда я оттуда ушел, — достаточно было туда позвонить, — уже передано графине. Раз она спрашивает меня, где я был, значит, про домик на канале ей ничего не известно. Эту часть своей жизни Жан де Ге от нее утаил.

— У меня были дела, — ответил я.

— Ты вышел из банка еще до половины первого, — сказала она, — а сейчас половина седьмого.

— А вдруг я ездил в Ле-Ман? — сказал я.

— Не на «рено». Он весь день простоял на площади Республики. Человек, который привез Рене домой, сказал, что видел машину, когда возвращался в гараж. Я велела Рене позвонить и спросить его.

Я улыбнулся. Мамап, как ребенок, не могла скрыть мучившего ее зуда любопытства.

— Если хотите знать правду, — сказал я, — я пытался отделаться от Рене. И мне это удалось. Ничего больше я вам говорить не намерен. Можете выпрашивать меня хоть до полуночи, все равно ничего не узнаете.

Графиня тихонько засмеялась, и я увидел, что уже который раз мое инстинктивное отвращение ко лжи выручило меня.

— Я тебя не виню, — сказала она. — Рене ненасытна. — Не поддавайся ей.

— Она томится от безделья, — отозвался я. — Все вы, женщины, живете здесь сложа руки.

— Было время, — сказала графиня, — до того как умер твой отец, а ты женился, когда дела у меня было хоть отбавляй. Тогда мы, женщины, не сидели сложа руки. А дурочки, вроде Рене и Франсуазы, были еще сопливыми девчонками. Тогда жизнь имела для меня смысл. И для Бланш тоже.

В ее голосе было столько желчи, что я даже вздрогнул и быстро взглянул на нее. Жесткий, как у дочери, сжатый в ниточку рот; только что дразнившие меня глаза прячутся за набрякшими веками.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Ты сам прекрасно это знаешь, — ответила графиня, но тут выражение ее лица вновь изменилось: подбородок отвис, губы расслабились; она пожала плечами. — Я старая, больная женщина, — сказала она, — вот в чем горе, и это угнетает меня, как и тебя будет угнетать, когда придет твой черед. Мы очень с тобой похожи. Мы не хотим заниматься своими болезнями, не говоря уж о чужих. Кстати, как Франсуаза?

Я чувствовал, что стою у порога тайны и, сумею я хоть на миг в нее проникнуть, я пойму, что происходит в сердце графини под этими складками плоти, но ее равнодушный, нарочито небрежный вопрос был задан другим человеком, черствым и бездушным.

— Вы же знаете, я пропустил Лебрена, — сказал я. — Он позвонит попозже, вечером. Он запретил ей вставать. Она очень слаба.

Пальцы графини принялись барабанить по подлокотнику кресла. Три удара, затем два и снова три — четкий ритм. Взглянув на нее, я понял, что движение это бессознательно, она и не подозревает, что ее пальцы шевелятся. Дробный стук сопровождал какую-то еще не оформившуюся мысль, которую графиня могла выразить вслух, а могла и оставить при себе.

— Я разговаривала с Лебреном, — сказала она. — Вряд ли ты услышишь от него что-нибудь новое. Врач он никудышный, хотя и мнит о себе. С этим ребенком Франсуазу ждет то же, что было с прошлым, я знала это с самого начала. Вся разница в том, что на этот раз ей удалось сохранить его немного дольше.

Барабанная дробь по подлокотнику кресла продолжалась. Я как замороженный смотрел на пальцы графини.

— Франсуаза не хочет, чтобы я вызвал акушера, — сказал я. — Отказалась, когда я предложил.

— Ты это предложил? — спросила графиня. — Это еще зачем?

— Ну как же, — сказал я, — а вдруг возникнут какие-нибудь осложнения, что-нибудь пойдет не так...

Наши глаза встретились, и, сам не знаю почему, меня вдруг охватило необъяснимое смущение. Я вспомнил пункты брачного контракта и то, что в случае смерти Франсуазы до рождения сына все ее огромное приданое будет разделено между Жаном де Ге и Мари-Ноэль.

В комнате, и до того душной, стало невозможно дышать. Я встал, распустил галстук. Я чувствовал спиной взгляд графини в то время, как, подойдя к окну, сражался со ставнями. Распахнув их и открыв одну створку окна, я высунулся наружу, жадно плотая воздух. Стемнело, поднялся туман. Дорожки скрылись. Охотницу окутала белая пелена, даже голубятня внизу, на краю лужайки, казалась темным плоским пятном. Рядом на стене была голова горгульи: прижатые уши, щелки глаз, вытянутые вперед губы — сток для дождевой воды. Кровельный желоб был забит листьями; когда начнутся дожди, все это превратится в кашу и польется изо рта горгульи зловонным потоком. Как оплушительно будет звучать шум ливня здесь, под самой крышей: сперва легкий перестук капель по свинцовым полосам кровли затем все более стремительное падение водных струй, омывающих стены, налетающих тучами стрел на окна, с бульканьем кружащих в водовороте над водосточной трубой; кто знает, возможно, для одинокой хозяйки этой комнаты глухой гул дождя и шелест листьев и мусора, извергающихся из горла горгульи, будут единственными звуками, которые она услышит в течение долгих часов зимней ночи.

Я закрыл окно и повернулся к нему спиной. Графиня по-прежнему смотрела на меня, но пальцы ее были недвижны.

— Что с тобой? — спросила она. — Почему ты нервничаешь?

— Вообще нет, — ответил я. — Просто мне душно. Здесь слишком натоплено.

— Если даже так, то ради тебя, — сказала графиня. — Ты вечно жалуешься, что в замке холодно. Подойди ко мне.

Я медленно, против воли, приблизился к ней вплотную. Ее глаза, так похожие на глаза ее сына, на мои собственные, глядящие на меня из зеркала, видели меня насквозь. Она сжала мне руки:

— У тебя что — наконец проснулась совесть?

Считается, что прикосновение руки говорит о человеке. Ребенок вкладывает пальцы в ладонь взрослого и инстинктивно чувствует, доверять ему или нет. Два дня назад руки графини цеплялись за мои; растерянная, в паническом страхе, она молила меня о чем-то, а сейчас ее руки твердо держали мои, сжимали их до боли. Она была сильнее меня. Ее пожатие не прибавляло мне и не лишало меня уверенности в себе, оно переводило ее в иную плоскость. Пусть мать не знает секретов сына и делит с ним лишь малую часть его жизни, ее вера в него так безгранична, что кажется — он все еще в ее чреве: так же привязан к ней, так же слеп, как был до рождения, и она никогда не разорвет эту связь.

— Давай не будем сентиментальны, — сказала графиня, — и станем спокойно принимать все, что пошлет нам судьба. Слишком поздно — для тебя и для меня. Жизнь вовсе не коротка, как утверждают люди, это длинная, слишком длинная история. Мы — и ты, и я — еще не скоро умрем. Прошу тебя, давай, если сможем, не терзаться по пустякам.

Осторожный стук в дверь, и на пороге возникла Шарлотта с подносом в руках, за ней — Жермена со вторым; повторился весь обеденный ритуал, теперь уже знакомый мне. В первый вечер графиня почти не прикоснулась к еде, но сегодня она макала в бульон куски свежего хлеба и ела, не поднимая глаз от тарелки, чуть не касаясь ее подбородком. Я вспомнил про ветчину, фрукты и сыр в домике на канале и спросил себя, как Бела проводит вечера, обедает с друзьями или одна, как выглядит ее комната при закрытых ставнях... Графиня повернулась ко мне и, протягивая на вилке кусочек бифштекса одной из собачонок, сказала:

— Почему ты молчишь? О чем ты думаешь?

— О женщине, — сказал я. — Вы ее не знаете.

— Она подходит тебе?

— Да.

— Все остальное неважно. У твоего отца одно время была в Ле-Мане любовница. Я как-то раз видела ее. Рыжеволосая. Форменная красавица. Он ездил к ней каждую пятницу. Шло ему на пользу, поднимало настроение. А потом она вышла замуж за богатого мясника и уехала навсегда в Тур. Я очень жалела об этом.

Шарлотта внесла в вазочках крем-брюле. Собачонки поднялись в ожидании на задние лапки.

— Так ты позволил Мари-Ноэль вернуться из Виллара с Жюли и ее внуком? — продолжала графиня, переходя на другую тему. — Девочка была полна впечатлений, говорит, грузовик лучше, чем «рено». Я спросила, кто его вел. Она ответила: один из рабочих, молодой, с кудрявыми волосами. Говорит: ей понравилось, как от него пахнет. «Расскажи об этом тете Бланш, — посоветовала я ей. — Послушай, что она тебе скажет».

Значит, мадам Ив — это Жюли. У меня отлегло от сердца. Застав, когда я вернулся, Франсуазу в постели, я совсем забыл о Мари-Ноэль и грузовике.

— Все дети любят кататься в грузовике, — сказал я. — Возможно, я сам тоже.

— Ты? — Она засмеялась. — Лучше не вспоминать, что ты творил в ее возрасте. Помнишь маленькую Сесиль, которую как-то привели к чаю? Ты зазвал ее в голубятню и запер дверь. Мать больше никогда ее сюда не брала. Бедняжка Сесиль... Не спускай глаз с Мари-Ноэль. Она растет как на дрожжах.

— Не очень-то весело, — сказал я, — быть единственным ребенком в семье.

— Глупости. Ей это по вкусу. Она не хочет видеть здесь сверстников. Предпочитает тех, кто постарше. Я знаю, сама была такой в ее возрасте. Влюблялась во всех своих взрослых кузенов. У Мари-Ноэль их нет. Станет влюбляться в рабочих с фабрики.

В дверь постучали.

— Кто там? — отозвалась графиня. — Войдите. Терпеть не могу, когда стучат.

В дверях появилась Жермена.

— Господина графа к телефону. Спрашивает доктор Лебрэн, — сказала она.

— Спасибо.

Я встал, положил на поднос салфетку.

— Лучше попрощаться сейчас. Я устала. Скажи старому олуху, чтобы не устраивал паники. Франсуазе нужно одно: не спускать ноги на пол. Возможно, она и родит тебе сына. Поцелуй меня.

Руки снова сжали мои, глаза не давали отвести взгляд.

— И забудь эти глупости насчет акушера. Слишком дорогое удовольствие, — добавила она.

Я вышел из комнаты, спустился по лестнице и подошел к телефону в нише, где висели плащи. У аппарата я застал одетую в халатик Мари-Ноэль. Лицо ее было бледным, вид — встревоженным.

— Можно я послушаю в тетиной комнате? — спросила она.

— Конечно нет, — ответил я. — Доктор Лебрэн хочет говорить со мной.

— Ты скажешь мне потом, что он говорил?

— Не знаю.

Я легонько оттолкнул ее в сторону и взял трубку.

— Алло? — сказал я; мне ответил высокий старческий голос; слова, обгоняя друг друга, лились бесконечным потоком.

— Добрый вечер, господин граф, так неудачно, что мы разминулись сегодня утром. Днем я был в Вилларе, могли бы повидаться и там, если бы я знал, где вы. Я нашел мадам Жан в крайне нервном состоянии, она со страхом ждет предстоящее событие, и, бесспорно, любое волнение может на данной стадии привести к преждевременным родам, и, если принять во внимание затруднения, которые были у нее в прошлый раз, ее малокровие и прочее, мадам Жан могут ожидать значительные неприятности. Ей необходим полный покой в течение нескольких ближайших дней; седьмой месяц беременности является, как вы понимаете, критическим. Надеюсь, я нас не очень напугал?

Он замолк на миг, чтобы перевести дыхание, и я спросил его, не хочет ли он посоветоваться со специалистом-акушером.

— Покамест нет, — сказал он. — Если ваша супруга будет лежать спокойно и не проявит дальнейших симптомов недомогания, а главное, у нее не начнется кровотечение, все будет хорошо. Я бы посоветовал, чтобы само событие происходило в клинике в Ле-Мане, но мы еще успеем это обсудить в течение ближайших недель. Во всяком случае, я буду держать с вами постоянную связь и завтра

позвоно снова. Между прочим, я полагаю, вы ждете меня в воскресенье?

Возможно, здесь было принято, чтобы он приходил в замок к ленчу, наносил своим пациентам не врачебный, а, так сказать, светский визит.

— Разумеется, — сказал я. — Будем рады вас видеть.

— Удачно, что спальня выходит окнами в парк. Вашу супругу ничто не потревожит. Значит, до воскресенья. Всего хорошего.

— Au revoir, [\[48\]](#) доктор.

Я повесил трубку. «Вашу супругу ничто не потревожит...» Неужели во время воскресного обеда бывает такое бурное веселье, что шум не только долетает до гостиной, но разносится по всему замку? Вряд ли. Интересно, что Лебрен имел в виду? Я вышел из ниши, Мари-Ноэль все еще была тут.

— Ну, что он сказал? — быстро проговорила она.

— Что мама не должна вставать с постели.

— А братец уже готов родиться?

— Нет.

— Почему же все говорят, что готов и если он сейчас появится на свет, то будет мертвым?

— Кто это говорит?

— Все, Жермена, Шарлотта. Я слышала, как они говорили об этом в кухне.

— Тот, кто подслушивает у дверей, правды не услышит.

Из столовой доносились голоса Поля и Рене. Они еще не кончили обедать. Я зашел в гостиную, Мари-Ноэль за мной.

— Папа, — спросила она шепотом, — мама заболела потому, что я разбила ее зверюшек и огорчила ее?

— Нет, — ответил я, — одно к другому не имеет никакого отношения.

Я сел на подлокотник кресла и притянул ее к себе.

— В чем дело? — спросил я. — Почему ты так нервничаешь?

Она отвела взгляд в сторону; ее глаза перебегали с предмета на предмет, смотрели на все, кроме меня.

— Не понимаю, зачем он вам, — сказала она наконец, — зачем вам этот мальчишка. Мама думает, что с ним будет одно мучение. Она давно уже говорила тете Рене: как жаль, что без него не обойтись.

Тревожный вопрос был вполне логичен. Почему ее мать должна иметь ребенка, если она его не хочет? Я бы предпочел, чтобы девочка спросила об этом Жана де Ге. Я не мог достойно его заменить. Пожалуй, в создавшихся обстоятельствах самое лучшее — сказать ей правду так, как я ее видел.

— Понимаешь, — сказал я, — причина тут довольно своеобразная и не заслуживает похвалы. У твоего дедушки Брюйера было очень много денег. Он завещал их таким образом, что твои родители смогут получить их, только если у них появится сын. Поэтому, хотя им вполне достаточно их дочери, рождение сына в материальном плане сделает их жизнь намного легче.

По лицу девочки разлилось блаженство: казалось, ей дали лекарство, успокоившее жестокую боль.

— О! — воскликнула она. — И это все? Только ради денег?

— Да, — сказал я. — Довольно корыстно с нашей стороны, да?

— Ничуть, — сказала Мари-Ноэль. — Я считаю, что это вполне разумно. Значит, чем больше у вас будет мальчиков, тем больше денег вы получите?

— Едва ли, — сказал я. — Это действует один раз.

В избытке чувств — так легко и радостно стало у девочки на душе — она спрыгнула с моего колена и перекувырнулась с дивана на пол; халатик и ночная рубашка задрались ей на голову, представив на обозрение маленький круглый задик. С громким смехом, ничего не видя под ворохом одежды, попка — наружу, она попятилась от меня к двери, и тут в гостиную вошли Бланш, Рене и Поль.

Бланш застыла как вкопанная, не спуская глаз с полуголового резвящегося звереныша, в которого превратилась Мари-Ноэль.

— Это что такое? — быстро проговорила Бланш. — Немедленно одерни халат.

Мари-Ноэль обернулась, тряхнула головой, чтобы высвободиться из одежды, халатик и рубашка скользнули вниз, и, лишь увидев своих взрослых зрителей, улыбаясь, остановилась.

— Все в порядке, тетя Бланш! — вскричала она. — Папа и мама сделали это только ради денег, а не потому, что хотят иметь еще детей. Все на свете стараются родить мальчиков — за них дают большие деньги.

Мари-Ноэль подбежала ко мне и, схватив за руку с видом счастливой собственницы, повернула лицо к родным.

— Знаешь, папа, — сказала она, — тетя Бланш говорила мне, что, когда ты появился, все ее разлюбили, никто больше не обращал на нее внимания, и это послужило ей уроком смирения и обратило к Богу. Но когда появится мой братец, все останется по-прежнему. Вы будете любить меня, как раньше, и, возможно, Святая Дева преподаст мне другой урок смирения, не тот, которому выучилась тетя Бланш.

Девочку, видимо, удивило, что на застывших лицах ее тетушек и дяди не отражается ее собственная радость. Она неуверенно взглянула на меня, затем вновь перевела взгляд на женщин. Из них двух более возмущенной выглядела Рене, хотя Бланш мало ей уступала. Девочка почувствовала это и ласково улыбнулась.

— В конце концов, — сказала она, — существуют и другие добродетели, кроме смирения. Я могу научиться быть терпеливой, как тетя Рене. Не каждому удастся сразу вырастить у себя в животе ребеночка. Тетя Рене уже целых три года замужем за дядей Полем, а у нее пока ничего не вышло.

Глава 14

У меня были все основания благословлять Франсуазу: ее нездоровье послужило мне предлогом для того, чтобы не спускаться вниз. Куда проще было сидеть у ее постели в спальне, чем в гостиной в компании Поля и Рене. Я поднялся в башенку, уложил Мари-Ноэль и, когда она удобно устроилась и я укрыл ее одеялом, вернулся к Франсуазе и повторил здесь все с самого начала. Я принес из ванной горячую воду, губку, мыло и полотенце, затем зубную щетку и порошок, бигуди, чтобы накрутить на ночь волосы, баночку с кремом и ночной чепчик, который завязывался под подбородком. Я ухаживал за ней, как санитар в госпитале или кто-то, кого срочно вызвали, чтобы оказать неотложную помощь. Это напомнило мне те дни во время войны, когда, выйдя из подвала, где я расшифровывал документы, я водил машины «скорой помощи» или делал еще что-нибудь, что подворачивалось в те лихорадочные дни. Внезапная близость с чужими людьми — чаще всего это были женщины и дети, испуганные, страдающие, — вызвала во мне то же чувство смиренного сострадания, которое охватило меня сейчас, когда я помогал перед сном Франсуазе. Подобно им, она была глубоко мне благодарна и не переставала удивленно, словно не веря себе, твердить о моей доброте.

— О чем тут говорить? — возразил я. — Чего еще ты ожидала?

— Я к этому не привыкла, — отвечала она. — Обычно ты не очень ко мне внимателен. Я часто устаю и рано ложусь в постель, а ты обычно остаешься внизу поболтать с Рене и Полем. Но, возможно, ты предпочитаешь сегодня избежать их общества, чтобы не отвечать на вопросы о том, что ты делал в Вилларе?

Она по-своему была так же чутка, как Мари-Ноэль, и, целуя ее на прощание и гася свет, я спросил себя, не догадалась ли она инстинктивно, что я рассказал ей далеко не все, что случилось за день.

Вернувшись в гардеробную, я вспомнил про письмо от Тальбера, которое прихватил в банке. Оно все еще лежало у меня в кармане. Я вынул его и прочитал. Понять его не составило труда. Фабрика, писал поверенный, чем дальше, тем больше работает себе в убыток — ну,

это, по крайней мере, я и сам знал, — и краха можно избежать только в том случае, если субсидировать ее из каких-то других источников — например, продав землю или ценные бумаги; это самое предлагала мне Бела. Он, Тальбер, готов приехать в Сен-Жиль в любой удобный для меня день и, поскольку дело не терпит отлагательства, предлагает воспользоваться ближайшим случаем устроить нашу встречу. По-видимому, именно это письмо сделало жизненно важным личное свидание Жана де Ге с директорами фирмы — вдруг ему все же удалось бы их уломать и они пошли бы ему навстречу.

Следующий день был субботним, и я решил с самого утра, до того еще как Поль встанет и выпьет кофе, отправиться на стекольную фабрику и узнать, не пришел ли ответ от Корвале. Вряд ли директора совещались раньше пятницы, и написанное в тот же день письмо, скорей всего, прибудет сегодня. Я поднялся и пошел в гараж, прежде чем Гастон пришел забрать посуду и почистить мне платье. На этот раз Цезарь не залаял, а когда я просунул руку в загородку и погладил его, завилял хвостом; я почувствовал, что одержал победу. Поблизости никого не было. Судя по звукам, доносившимся из коровника, старуха была внутри; на дальнем поле виднелась склоненная спина мужчины в комбинеzone — он мотыжил землю. Миновав деревню, я свернул налево и поднялся на холм, откуда шла лесом прямая и гладкая дорога. Я вел машину по просеке между дубами и каштанами, и это, как и все, что я делал, казалось мне привычным, было частью моей жизни куда в большей степени, чем события прежних дней. С тем же привычным чувством я остановился у ворот фабрики, вышел, захлопнув дверцу, и поздоровался с рабочими.

На колдобистом дворе по пути к дому позади большой плавильни я встретил почтальона и понял, что интуиция меня не подвела и я не зря приехал сюда так рано. Я поспешил к дверям конторы и, войдя, увидел, что Жак, стоя у стола, сортирует письма. Он обернулся и удивленно взглянул на меня.

— Bonjour, monsieur le comte. Я не думал, что вы приедете сегодня. Мсье Поль сказал, чтобы я не ждал ни его, ни вас.

Интересно почему? Возможно, сегодня какой-нибудь праздник?

— Мне должно прийти письмо от Корвале. От одного из директоров. Я подумал, вдруг оно уже здесь.

Жак продолжал удивленно глядеть на меня. Может быть, мое оживление показалось ему странным.

— Надеюсь, все благополучно? — сказал он.

— Я тоже на это надеюсь, — ответил я. — Это у вас утренняя почта? Ну-ка, давайте взглянем, нет ли тут чего-нибудь из Парижа.

Жак посмотрел на небольшую пачку писем в руке: вторым сверху лежал длинный конверт с отпечатанным адресом фирмы Корвале.

— А, вот оно, — сказал я. — Благодарю, Жак.

Я взял у него письмо и прочитал его, став спиной к окну; Жак тактично отошел к столу посередине комнаты. Все было в порядке. Письмо подтверждало телефонный разговор и сопровождалось контрактом, составленным на новых условиях, сроком на полгода. В письме выражалось удовольствие по поводу того, что наши две фирмы сумели в конце концов прийти к соглашению.

— Жак, — спросил я, — наш контракт здесь, в конторе? Я имею в виду — прежний контракт.

— Он лежит у вас на столе, господин граф, — ответил Жак, — среди прочих бумаг.

— Поищите его, ладно? — сказал я. — А я посмотрю остальную почту.

Жак не задал мне никаких вопросов, но вид у него был озадаченный. Я смотрел, как он перебирает бумаги в пачке, лежащей на столе, в то время как я небрежно вскрывал один за другим конверты, не содержавшие ничего, кроме счетов и расписок. Он молча протянул мне контракт, и я сел за конторку и сравнил его с новым. Формулировки совпадали слово в слово, пока я не подошел к решающему пункту: условия продажи готовых изделий. Не разбираясь совсем в стекольном деле, не зная, каков выпуск продукции фабрики, я все же сумел уловить тот основной факт, что отныне Корвале будут платить за наш товар меньше, чем раньше.

Я нащупал в кармане письмо юриста и положил его рядом с обоими контрактами.

— Я хотел бы хотя бы бегло просмотреть цифры, — сказал я Жаку. — Жалованье рабочим, издержки производства, все наши расходы.

Он удивленно посмотрел на меня:

— Но вы совсем недавно все это видели. Вы, и господин Поль, и я — мы проверили все перед тем, как вы поехали в Париж.

— Я хочу просмотреть все это снова, — сказал я.

На это утомительное, головоломное, но увлекательное занятие нам потребовалось полтора часа, после чего Жак пошел на кухню сварить кофе. Я смог сопоставить окончательные цифры, которые дал мне Жак, с тем, какими они станут согласно новому контракту. И увидел, что для того, чтобы покрыть разницу, Жану де Ге пришлось бы извлечь из своего кармана около пяти миллионов франков. Вполне понятно, что он решил закрыть дело. Если он не хотел продавать землю или ценные бумаги, ему не оставалось ничего другого. Даже при старом контракте фабрика работала себе в убыток, при новом — она вообще переставала существовать как коммерческое предприятие и превращалась в предмет роскоши, в игрушку, такую же недолговечную и хрупкую, как стеклянная посуда, которую она производила. Я сваял дурака. Моя сентиментальность дорого обойдется владельцам.

Я взял новый контракт, положил его вместе с обоими письмами в карман пальто и пошел следом за Жаком в кухню.

— Садитесь, господин граф, — сказал он, — вы немало потрудились, надо и перекусить.

Он протянул мне чашечку обжигаяще горячего кофе.

— Я все еще поражаюсь вашему успеху в Париже, — продолжал он, — мы ведь ни на что не надеялись. Поездка была простой формальностью. Вот как важны личные контакты.

— Теперь никто не останется без работы, — сказал я. — Вот что самое главное.

Жак поднял брови.

— Вас так волновала судьба рабочих? — спросил он. — Я не знал этого. По правде говоря, они бы скоро оправились от удара и нашли новое место. Они уже давно готовы к тому, что фабрику закроют.

Я молча пил кофе. Выходит, я обольщал себя иллюзиями. Возможно, зря вмешался не в свое дело. Кто-то постучал во входную дверь, и Жак, извинившись передо мной, пошел в контору. Я посмотрел вокруг и увидел, что нахожусь в просторной кухне, которая раньше, должно быть, служила целой семье; дверь в противоположной стене вела в остальную часть дома. Мне стало

любопытно, и я открыл ее. Передо мной был широкий коридор, по обеим сторонам располагались комнаты и поднималась лестница на следующий этаж. Я пересек коридор и заглянул в комнаты. Они были пусты, обои выцвели, краска потрескалась, на полу — толстый слой пыли. В самой последней, прекрасной квадратной комнате с деревянными панелями в беспорядке стояла у стены мебель, громоздились поставленные один на другой стулья, ящики с посудой; заброшенность, запустение, словно хозяин всех этих вещей собрал их в одно место и забыл про них. На стене висел старый календарь 1941 года, под ним — коробка с книгами. Я наклонился и открыл одну из них. Внутри была надпись: «Морис Дюваль».

Возле окна послышалось легкое трепетание. Я обернулся. Бабочка, последняя бабочка долгого лета, разбуженная солнцем, пыталась вырваться из опутавшей ее паутины. Я хотел было открыть окно, но его заело. Видимо, его не открывали уже много лет. Я освободил бабочку из темницы, она поднялась разок в воздух, затем снова села в паутину.

Послышались шаги, кто-то шел по коридору от кухни. На пороге появился Жак. Не спуская с меня глаз, потоптался нерешительно у двери, потом прошел на середину комнаты.

— Вы что-нибудь ищете, господин граф? — спросил он.

У Жака был смущенный, неуверенный вид, и я подумал, что, возможно, все эти вещи под его охраной и, обследуя дом, я нарушил какие-то здешние правила.

— Почему мы держим здесь все это? — спросил я, указывая на мебель.

Жак пристально взглянул на меня, затем отвел глаза.

— Это вам решать, господин граф, — сказал он.

Я снова посмотрел на сваленную у стены мебель; лежащая без употребления, забытая, она наводила тоску, а ведь в комнате, должно быть, когда-то жили, она служила гостиной или столовой.

— Обидно, что все зря пропадает, — сказал я.

— О да, — согласился Жак.

Я не осмеливался задать ему вопрос, который Жан де Ге никогда не задал бы, так как знал ответ. Наконец я рискнул:

— Вы не думаете, что стоило бы использовать эти комнаты? — спросил я. — Поселить здесь кого-нибудь, чтобы они не стояли

пустыми?

Жак продолжал молча стоять на том же месте, глядя на все, что угодно — на стены, на мебель, — только не на меня. Ему явно было не по себе. Затем сказал:

— А кого бы вы тут поселили?

Это не было ответом, просто вопросом на вопрос и не могло подсказать мне, как продолжить разговор. Я подошел к окну и посмотрел наружу. Налево были видны фабричные строения, направо — ферма. И то и другое отделялось изгородью от дома и прилегающего к нему сада. Некогда сюда вела с дороги мощеная дорожка, возле нее я увидел старый заброшенный колодец — он был сломан.

— Почему бы вам самому здесь не жить? — спросил я.

Его неловкость еще усилилась, и, взглянув на него, я понял, что он услышал в моих словах своего рода упрек.

— Нам с женой вполне хорошо в Лаури, — сказал Жак. — В конце концов, это совсем близко отсюда, не дальше, чем от Сен-Жиля. Жена предпочитает жить среди людей. Ей здесь будет одиноко... К тому же...

Он внезапно замолчал со страдальческим видом.

— К тому же — что? — спросил я.

— Это покажется странным, — сказал Жак. — Здесь так долго никто не жил, и вдруг... Простите меня, господин граф, но с этим домом связаны не очень-то приятные воспоминания. Мало кто захотел бы поселиться здесь.

Он снова нерешительно приостановился, а затем, собравшись с духом, быстро проговорил — слова посыпались горохом, словно чувство, которое их подгоняло, было сильнее даже, чем уважение ко мне:

— Господин граф, если бы здесь, на территории фабрики, были бои, если бы тут сражались солдаты, с этим можно было бы примириться. Но когда человека, который жил здесь последним, управляющего фабрикой, мсье Дюваля, будят посреди ночи, стаскивают с постели, сводят вниз и убивают такие же французы, как он, а затем кидают в колодец и засыпают стеклом, пусть даже это было давным-давно, вряд ли кто-нибудь захочет жить здесь, где все

это случилось, со своей женой и детьми. Мы все предпочли бы об этом забыть.

Я ничего не ответил. Что я мог ему сказать? Бабочка снова вяло взмахнула крыльями, тщетно пытаясь высвободиться из паутины, и, протянув руку, чтобы снова спасти ее от смерти, я уперся глазами в старый колодец — ржавчина на кованом железе, дерево искрошенное, сруб зарос крапивой.

— Да, — медленно сказал я, — вы правы.

Я повернулся и вышел из комнаты, прошел по каменному коридору на кухню, оттуда — в контору; казенная мебель, застарелый запах сигаретного дыма, скоросшиватели для бумаг и папки с документами придавали ей безликий вид. Я приостановился у стола, глядя на счета, расписки и письма. Делать здесь мне больше было нечего, цифры я узнал — вряд ли я извлеку из этих бумаг еще что-нибудь. Фабрика будет работать, пока однажды кто-нибудь не обнаружит, что ни рабочим, ни по счетам нечем платить.

— Если вы дадите мне конверт, адресованный мсье Мерсье, одному из директоров Корвале, — обратился я к Жаку, который шел следом за мной, — я на обратном пути отправлю назад их экземпляр контракта, а дубликат оставляю нам.

Но дух сотрудничества покинул его. Мы оба думали о пустых комнатах в задней части дома, и возвращение к делам было просто невозможно.

— Я приехал, только чтобы уточнить цифры, — сказал я. — Нет нужды упоминать об этом мсье Полю.

— Само собой, господин граф, — откликнулся Жак и, вынув из ящика конторки конверт, надписал адрес и прилепил марку. Передавая его мне, он сказал — в голосе его вновь зазвучали дружеские нотки: — Вы ждете меня завтра? Думаю, что погода будет хорошая. Сегодня утром по радио обещали на завтра ясный день. Значит, в половине одиннадцатого у замка?

Он сделал шаг вперед, чтобы открыть мне дверь, я сказал «до завтра» и вышел во двор. Завтра воскресенье. Возможно, они с женой ходят к мессе в Сен-Жиле, а затем, вместе с доктором, наносят визит в замок.

Что-то побудило меня повернуть налево и через небольшую калитку пройти в запущенный сад, где накануне мотыжила грядки

Жюли. С этой стороны не были видны фабричные строения, и дом, обнесенный увитой плющом оградой, казался обычным мирным фермерским жилищем, построенным в XVII веке среди зеленых полей и лесов. Пламенея под утренним солнцем, он по всему облику своему принадлежал к другой эпохе, и то, что я видел каких-нибудь пять минут назад — разрушенный колодец с ржавой цепью в зарослях крапивы, — тоже должно было принадлежать этой далекой и мирной эпохе и нести обитателям дома и фабрике жизнь, быть вместилищем прозрачного родника, зародившегося в недрах земли, а не склепом, каким оно стало после убийства. Цепь, которой вытаскивали воду, была сломана, а возможно, и сама вода иссякла: источник высох или изменил свой курс, оставив на дне лишь песок, мусор и осколки стекла, и звенья цепи, которая связывала фабрику и дом управляющего с замком в Сен-Жиле, тоже порвались, единство исчезло, они больше не черпали силу друг в друге. Почему это так меня волнует, спрашивал я себя. Почему Морис Дюваль, бывший некогда здесь управляющим, олицетворяет для меня милые моему сердцу качества: прочность и постоянство, преемственность поколений, когда старшее передает младшему лучшее, что у него есть, и почему мне показалось вдруг, что на мне лежит ответственность за его смерть, уродливую, жестокую, символизирующую ненависть, которую насильственно разъединенные люди одной и той же расы стали питать друг к другу? Почему я решил, что обязан вскрыть и промыть гнойник, в который превратилась память о нем, а не давать ему нарывать в глубине?

Я вышел из сада и только, миновав фабричные строения, подошел к воротам, как возле небольшой сторожки встретил Жюли, держащую в руках охапку огородной зелени. Я поздоровался с ней, и меня вновь поразило ее открытое лицо, пронизательность дружелюбных карих глаз, крепость ее и сила, вся ее стать. Я знал, что доверяю Жюли не потому, что я сентиментален, а потому, что подчиняюсь глубокому подсознательному чувству, потому, что она вызывает во мне душевный отклик так же, как Бела из Виллара.

— Ранняя пташка, господин граф, — окликнула она меня. — А уж в субботние утра мы вообще вас не видим. Как вы себя чувствуете? И как чувствует себя молодая графиня? Вчера ей нездоровилось, я слышала.

В такой небольшой округе вести не лежат на месте, подумал я. Но тут вспомнил, что Жюли подвезла Мари-Ноэль из Виллара и, конечно же, перемолвилась словечком со слугами в замке.

— Ей нельзя волноваться, — сказал я. — Вчера, когда я вернулся, она чувствовала себя лучше. Я должен извиниться перед вами, Жюли. Девочка причинила вам много хлопот. Я не мог взять в толк, где она и что собирается делать. Они все напутали там, в банке.

Жюли рассмеялась, отмахиваясь от меня:

— Не вам передо мной извиняться, мсье Жан, а мне благодарить вас. Мы с внуком возвращались со станции и вдруг видим: она мчится от городских ворот, быстрая как ртуть. Естественно, я велела Поставу остановить грузовик. Я не понимала, почему девочка одна, и тут она рассказала мне, что папа в банке, а сама она больше всего на свете хочет поехать домой вместе с нами. Мы были так рады ей! Настоящий солнечный лучик в нашем темном грузовике. Она не умолкала от Виллара до Сен-Жиля.

Я проводил Жюли до лоскутка земли рядом со сторожкой, где несколько квадратных метров ломались от овощей и цветов, посмотрел, как она кормит кроликов в клетке, не переставая что-то им говорить. Я подумал о графине, скармливающей сахар своим собачонкам. Неожиданно мне подумалось, что обе женщины от природы сильны, мужественны, полны любви и по сути своей одинаковы, но одна из них сбилась со своего пути, запуталась, стала в некотором смысле душевной калекой, и все из-за того, что какая-то частица ее сердца так и не расцвела.

— Жюли, — сказал я, зная, что мой вопрос удивит ее, особенно сейчас, и даже если нет, Жан де Ге никогда бы его не задал, так как ответ был ему известен. — Жюли, как здесь, в Сен-Жиле, было во время оккупации?

Как ни странно, она не удивилась. Возможно, де Ге все же мог его задать, возможно, он, как и я, чувствовал, что эта крестьянка, так близко стоящая к сущности вещей, может добавить такой штрих к картине, о котором не узнаешь ни от кого, кроме нее.

— Вы сами понимаете, господин Жан, — сказала Жюли, немного помолчав, — что для человека вроде вас, который уехал отсюда и участвовал в движении Сопротивления, у войны есть свои законы и ведется она по правилам. Что-то вроде игры, где ты или выиграешь,

или проиграешь. Но для тех, кто остался здесь, это было совсем не так. Казалось, будто ты сидишь в тюрьме без решеток и замков и никто не знает, кто тут преступник, кто тюремщик, кто лжет, кто кого предал. Люди потеряли веру друг в друга. Если то, что ты считал сильным, оказывается слабым, тебе делается стыдно, ты спрашиваешь себя: кто виноват? Ты спрашиваешь, кто проявил слабость, ты сам или другой, но никто не знает ответа и никто не хочет брать на себя вину.

— Но вы, Жюли, — настаивал я, — что вы делали тут? О чем думали?

— Я? — переспросила она. — А что я могла делать? Только жить дальше так, как я всегда жила, выращивать овощи, откармливать кур, ухаживать за моим бедным мужем, который был тогда еще жив, и говорить себе: «Так случилось и раньше, будет и потом. Надо перетерпеть».

Она отвернулась от клетки, вытерла о передник широкие сильные руки.

— Вы видели, как кролики на воле умирают от миксоматоза? — спросила она. — Недурно, да? До чего мы дошли: чтобы животное было свободным, его надо держать в клетке. Я не очень высокого мнения о человеческом роде, господин граф. Совсем неплохо, что время от времени на свете бывают войны. Людям полезно узнать на собственной шкуре, что такое боль и страдание. Когда-нибудь они истребят друг друга, как истребили кроликов. Тем лучше. Когда не останется ничего, кроме земли и лесов, в мире вновь наступят покой и тишина.

Жюли улыбнулась мне и добавила:

— Зайдите-ка в сторожку, мсье Жан, я вам что-то покажу.

Я последовал за ней в небольшое строенье — не больше голубятни на лужайке перед замком. Здесь была печурка с выведенной сквозь крышу трубой, деревянный столик, стул и посудный шкаф до самого потолка. Перед печкой, распушив перья, сидела курица. Жюли прогнала ее, пнув ногой, и та выбежала с кудахтаньем наружу.

— Если она думает, что может снести яйцо здесь, она ошибается, — сказала Жюли. — Она хитрющая, эта курица, и, раз она старая, норовит взять надо мной верх. Подождите, я сейчас найду вам этот снимок.

Из скрытого фартуком кармана юбки она вынула ключи и отперла шкаф. Он был полон бумаг, книг и посуды. Все было аккуратно разложено по полкам, ничто не запыливалось сюда кое-как.

— Подождите, — сказала Жюли, — он где-то здесь.

Она порылась среди бумаг и наконец вытащила тетрадь; открыла ее посередине, вынула конверт, а из конверта — моментальный снимок.

— Вот он, — сказала Жюли. — Вы спрашивали меня насчет оккупации. Из-за этого мальчика меня обвинили в предательстве, в том, что я сотрудничаю с врагом.

Со снимка на меня глядел молоденький солдатик в немецкой форме. В нем не было ничего особенного. Он не позировал, не улыбался, просто был очень молод.

— Что он сделал? — спросил я.

— Сделал? — повторила Жюли. — Он ничего не сделал. Прожил здесь несколько месяцев, как и остальные солдаты. Однажды у него случилась беда. Ожидался смотр, а он по неосторожности выпачкал форму краской. Он постучался ко мне и спросил знаками, не могу ли я отстирать пятно, не то ему грозит наказание. Мсье Жан, я подумала о своих сыновьях: Андре — в плену, Альбер — уже убитый. Он был их ровесник — я в матери ему годилась, и так далеко от дома, и вот теперь он стоял перед моей дверью и просил меня выстирать ему куртку. Конечно же, я выстирала ее. А потом он пришел и сказал мне «спасибо» и подарил этот снимок. Мне было все равно, кто он — немец, японец или упал с Луны. Не сомневаюсь, что он погиб, как многие другие, — всех их ждала смерть, наших тоже. Но за то, что я выстирала ему куртку, мэр Сен-Жиля, и не он один, перестал со мной разговаривать, не говорил года два, а то и больше. Так что вы видите теперь: когда война приходит в вашу деревню, к вашему порогу, она перестает быть общим бедствием, перестает быть безликой. Она становится предлогом к тому, чтобы изрыгнуть на вас ненависть. Вот почему я не такая уж патриотка, мсье Жан, и мне не так уж приятно говорить об оккупации в Сен-Жиле.

Я вернул Жюли снимок, и она присоединила его к остальным письмам, бумагам и книгам, лежавшим в шкафу. Затем обратила ко мне морщинистое обветренное лицо. Оно было спокойным, бесстрастным.

— Да, — сказала она, — со временем все забывается. Такова жизнь. Но если бы я показала вам этот снимок несколько лет назад, господин граф, меня бы не было здесь сегодня, не так ли? Веревка на шею старой Жюли и — ближайшее дерево в нашем лесу.

Я ничего не сказал ей. Что я мог сказать? Война почти не коснулась моей страны. Ненависть, жестокость, страх — все это было мне неизвестно. Я испытал лишь свое личное фиаско, страдал от пустоты и бесполезности своей личной жизни. Я мог понять Жана де Ге, который убежал от ответственности, предоставил мне взвалить ее на свои плечи, но что такое Жан де Ге, офицер армии Сопротивления, было для меня непостижимо. Полагал ли он в те дни, что, если ему суждено выжить, ему придется утолять алчность всех, кто его окружает? Какие внутренние противоречия, какая душевная борьба привели веселого, смеющегося юношу из семейного альбома к цинизму и безразличию? Я внезапно почувствовал пылкое и нелепое желание сказать Жюли от имени Жана де Ге, за которого она меня принимала, как мне жаль, что ей пришлось за это время столько испытать: бедность, страдания, обиды, утраты, как я сочувствую всем горестям, которые выпали ей на долю. Но я знал, что скажи я что-нибудь в этом роде, это обеспокоит и смутит ее, поэтому я только положил руку ей на плечо и легонько похлопал. Затем мы вместе вышли из сторожки и подошли к машине; Жюли открыла мне дверцу и, скрестив на груди руки, стояла, улыбаясь, пока я не уехал.

Когда, помахав ей на прощанье, я тронулся с места, я подумал, что жизнь была бы прекрасна и радостна, если бы я мог прожить ее в обществе Жюли с *vergerie*, Белы из Виллара, ну и, пожалуй, Гастона в придачу. Но представив их вместе, в одном доме, увидев мысленно, как они хлопчут вокруг меня, я понял, что каждый из них слишком незаурядная и независимая личность, чтобы легко сойтись с другим, каждый станет отстаивать свои права и не пройдет и суток, как их нелады разорвут в клочья мирную картину, которую набросало мое сентиментальное воображение. А это значит, думал я, ведя машину обратно в замок по лесной дороге, что взаимоотношения между отдельными двумя людьми ничего не стоят, ведь те, к кому манит нас, обычно не любят друг друга, звенья распадаются, призыв не услышан. Мое сострадание к Франсуазе, одиноко лежащей в постели в замке, не поможет матери, не менее одинокой, отрезанной от всего мира, с

грустью размышляющей о прошлом в своей комнате под крышей башни. А то, что я с первого взгляда оценил Мари-Ноэль, ее юную прелесть, изящество и красоту, не сделает счастливее исполненную горечи ожесточенную тень — ее тетку, Бланш. Почему Бела из Виллара бескорыстно отдает себя в дар, а Рене из Сен-Жиля, как спрут, опутывает своего возлюбленного щупальцами? Когда было посеяно губительное семя разрушения?

Этим утром я узнал три вещи. Первое: что мой телефонный звонок в Париж к Корвале не поможет фабрике, а приведет ее к краху; второе: что последний, любимый всеми управляющий был зверски убит на пороге собственного дома и его тело было брошено в колодезь; и третье: что обитатели Сен-Жиля, как и все прочие люди на свете, воспользовались случаем выместить свое поражение на бывших друзьях.

Немного не доехав до деревни, я остановил машину и нащупал в кармане контракт и бумажник Жана де Ге. В бумажнике были его водительские права. Я раскрыл их. Подпись его, как я и ожидал, была типичная для всех французов, — во время занятий в архивах и поездок по стране я видел сотни таких подписей на различных документах. После того как я несколько раз скопировал ее, я был уверен в успехе. Я вынул контракт и расписался с росчерком внизу страницы, сам Жан де Ге призадумался бы, прежде чем обвинить меня в подлоге. Затем я спустился в деревню, отправил по почте контракт и через ворота подъехал к замку.

Парадная дверь была распахнута, в холле царил суматоха. Гастон в одной рубашке с засученными рукавами с помощью мужчины в комбинезоне из гаража, еще одного человека, которого я раньше не видел, Жермены и дюжей дочери прачки тащил тяжеленный буфет к дверям в столовую. Что все это значит? Как мне узнать, не возбуждая подозрения, чем вызван весь этот переполох? Как только Гастон меня увидел, он проговорил, еле переводя дух:

— Мсье Поль искал вас все утро, господин граф. Он говорит, вы не дали Роберу никаких указаний. Жермена, сходи-ка на кухню, посмотри, может быть, Робер еще там.

Затем, вернувшись к своему делу, сказал, обращаясь к незнакомому мне мужчине, скорее всего — садовнику, судя по его виду:

— Ну-ка, Жозеф, приподними ножку с того бока. Взяли!

Жермена исчезла. Я в нерешительности остался стоять. Кто такой Робер и каких он ждет от меня указаний? Через несколько минут *femme de chambre* [49] вернулась в сопровождении низенького, кряжистого мужчины в бриджах и крагах; волосы у него были с проседью, на щеке — шрам.

— Вот Робер, господин граф, — сказала она.

— Доброе утро, Робер, — протянул я ему руку. Он пожал ее, улыбаясь. — Так что вы хотите от меня услышать?

Он удивленно взглянул на меня, затем неуверенно рассмеялся, словно я пошутил на его счет и он не знает, как ему принять эту шутку.

— Я насчет завтрашнего дня, господин граф. Я думал, вы пошлете за мной уже вчера, чтобы обсудить все приготовления, но Гастон сказал мне, что вас не было с самого утра, а приходиться вечером я не хотел, чтобы не беспокоить мадам Жан, раз она плохо себя чувствует.

Я тупо глядел на него. Мы остались одни — Жермена и все остальные, перетаскив шкаф в столовую, ушли на кухню.

— Насчет завтрашнего дня, — повторил я. — О да, похоже, завтра здесь будет много народу. Вас, быть может, интересует завтрашнее меню?

Лицо его передернулось, словно шутка зашла слишком далеко.

— Право, господин граф, вы сами прекрасно знаете, что ко мне это не имеет никакого отношения. Меня интересует завтрашняя программа. Мсье Поль говорит, что с ним вы ее не обсуждали.

Передо мной внезапно возникли дикие картины: мы прыгаем наперегонки в мешках, сдираем кору с ивовых прутьев, ловим зубами яблоки, плавающие в воде, или что там еще полагается по обычаю делать во второе воскресенье октября, — какая-то увеселительная церемония, в которой я, владелец замка и поместья, должен буду играть главную роль. Я с радостью отказался бы от нее в пользу Поля.

— Вам не кажется, — осторожно спросил я, — что мы могли бы разок оставить все на усмотрение мсье Поля?

Робер уставился на меня во все глаза.

— Что вы, господин граф! — воскликнул он. — Вы ни разу в жизни так не поступали. За все те годы, что я живу в Сен-Жиле, вы ни

разу даже не заговаривали об этом. С тех пор как ваш батюшка, старый господин граф, умер, вы, и только вы, устраивали ежегодную grande chasse. [50]

Теперь уже я, должно быть, выглядел так, будто он отпустил не совсем уместную шутку. Grande chasse! Ну не идиот ли я?! За последние два дня при мне тысячу раз упоминали о ней, а я так ни о чем не догадался. Завтра, в воскресенье, в замок со всей окрести соберутся соседи на большую осеннюю охоту, которую каждый год устраивал в своих угодьях здешний сеньор, граф Жан де Ге.

Робер тревожно смотрел на меня.

— Может быть, вам нездоровится, господин граф? — спросил он.

— Послушайте, Робер, — сказал я, — после того как я вернулся из Парижа, у меня голова была занята совсем другими вещами и, честно говоря, я еще не успел подготовить завтрашнюю программу. Поговорим о ней попозже.

Он был сбит с толку, расстроен.

— Как прикажете, господин граф, — ответил он, — но время не ждет, а дела хоть отбавляй. Могу я прийти к вам в два часа?

— В два так в два, — сказал я и, чтобы избавиться от него, прошел через холл, сделав вид, будто хочу позвонить, и подождал, пока за ним захлопнется дверь на черную лестницу. Затем вышел из холла на террасу, а оттуда спустился к кедру, давшему мне убежище в первую ночь. Два часа дня или полночь — мне было безразлично, все равно ни плана, ни программы завтрашней охоты у меня не будет. Чтение лекций по французской истории не подготовило меня к этому. Я не умел стрелять.

Глава 15

Я помню, что с деревенской колокольни раздался благовест, призывающий на полуденную мессу, а затем послышались голоса садовника и, кажется, Робера; выйдя из боковой двери замка, они направились к службам. Низкие ветви кедра хорошо укрывали меня, и я остался незамеченным. Когда они ушли, я прошел через ворота в стене, поспешно пересек крепостной ров и направился по дорожке под каштанами к одной из длинных аллей к лесу. Не все ли равно, куда идти, лишь бы меня не достиг их зов; я знал одно: мне надо было так или иначе решить, как действовать дальше. Прежде всего мне пришло в голову притвориться больным — внезапное головокружение или таинственные боли в руках и ногах, — но в этом случае немедленно прибегнут к помощи доктора Лебрена, и он сразу же поймет, что я совершенно здоров. Простуда, легкое недомогание тут не годятся. Владелец Сен-Жиля не ляжет в постель в день большой охоты оттого только, что у него разболелся живот. К тому же я думал с ужасом не только о завтрашнем дне, но и о сегодняшней встрече с Робером, когда в два часа дня он придет ко мне за указаниями.

Может быть, использовать в качестве предлога Франсуазу? Но уж очень это выпадает из образа. Болезнь жены, как бы серьезна она ни была, не имела для Жана де Ге никакого значения. Конечно, я мог сесть в машину и исчезнуть, совсем покинуть маскарад. Ничто не мешало мне так поступить в любой час дня или ночи. Возможно, сейчас самый подходящий момент. Я уцелел до сих пор лишь потому, что никто и ничто не посылало мне настоящего вызова. Отношения в семье, интимная связь за пределами дома, хитрости языка, подводные камни непривычного для меня порядка, запутанные дела и финансы — все это я одолел. Я погрузился в неизвестный мне мир, как беспечный путник, вступивший в болото, где каждый шаг засасывает его глубже, а отчаянные попытки выбраться делают ждущую его участь еще более неотвратимой. Но мне больше повезло: если я почувствую, что болото крепко держит меня и тянет в глубины, мне достаточно, чтобы обрести свободу, сделать шаг назад и вернуть себе свое «я», от которого я отказался в Ле-Мане.

Я переходил с аллеи на аллею, то попадая в тенистую чашу, то вдруг выходя на солнце. Все аллеи сходились в одной точке, у статуи Артемиды в центре парка, окружая ее сегментами света. Я не видел выхода из нелепой ситуации, в которой я оказался, не знал, как решить вставшую передо мной дилемму. Оставалось одно: признать свое поражение.

Я медленно подошел к статуе и, остановившись, посмотрел на замок. Небо нахмурилось, вчерашняя сияющая голубизна пропала, блеклое солнце было затянуто бледной осенней пеленой. Сам опоясанный рвом замок казался серым и холодным, и хотя высокие окна гостиной были распахнуты настежь, они не манили к себе, оттуда глядел мрак.

Возле голубятни щипали траву коровы, а в нескольких шагах от них догорал костер — в столбе сизого дыма то и дело мелькал язык пламени и дуновение ветра доносило до меня горький и грустный запах обугленного мокрого дерева и сырых листьев.

Чем дальше, тем больше я становился сам себе противен. Чувство собственного могущества, сознание своих сил и возможностей исчезли, мое сходство с Жаном де Ге было лишь внешним, нелепой клоунской маской, гримом из красок и пудры, который уже начал таять и отваливаться кусками; я видел, что я не изменился, что я такое же ничтожество, каким был всегда. Я никогда не умел обращаться с оружием, не знал, как попасть в цель, и вот теперь это привело меня к крушению. Любой человек с элементарной выучкой добился бы успеха и ввел всех в заблуждение, стреляя куда глаза глядят. Я не мог и этого; единственное, что я различал, это ствол от приклада, все остальное было загадкой.

Я подумал о том, как смеялся бы Жан де Ге, как смеялся бы любой, кому вдруг рассказали бы, в какой я попал переплет. Унижение не так легко перенести, особенно если совсем недавно ты был вполне собой доволен. Когда вчера вечером я ехал в Сен-Жиль из Виллара и мне рисовалось, как Бела кормит на балконе птиц, я был достаточно в себе уверен; и даже сегодня утром, какой-нибудь час назад, возвращаясь с фабрики с контрактом в кармане, я не сомневался в себе. Сейчас из меня вышел весь воздух, мыльный пузырь тщеславия лопнул, растаял как дым.

И, словно в насмешку, знаменуя мое падение, часы Жана де Ге, надетые на левое запястье, упали на землю, и стекло разбилось. Я наклонился и поднял их. Лопнул ремешок, давно надо было заметить, что он износился. Раздосадованный этой новой неудачей, я медленно шел по аллее с часами в руках и тут увидел, что обнаженные стрелки стоят на половине первого. Еще немного, и наступит время послеполуденной трапезы, время сидеть в столовой во главе стола, смотреть на своих домашних, давать указания насчет завтрашней охоты. Я подошел к голубятне, под защиту ее круглых стен, закрывающих меня от окон замка. Здесь, должно быть, играла утром Мари-Ноэль, на качелях лежал забытый ею джемпер. Постоял у костра, шевеля угли носком ботинка, пока не повалил горький, едкий дым и мне стало щипать глаза. И внезапно это напомнило мне колодец перед домом управляющего на стекольной фабрике. Здесь тоже все было в запустении, заросло крапивой, и качели Мари-Ноэль казались такими же старыми и заброшенными, как тот колодец. Веревка снова порвалась и свисала вниз, бесполезная, как конец лопнувшей цепи, и, когда я глядел на нее, перед моим мысленным взором возникла эта колодезная цепь, обмотанная вокруг обвисшего тела мужчины, скручивающая его, и само это тело, летящее в глубокую черную дыру колодца, в воду, на дно. Я видел группу людей, которые, держась за ручку ворота, смотрят вниз, а затем, в смертельном страхе, хватают горсть за горстью осколки из груд отходов позади фабричных строений и кидают их в темную воду, где плавает мертвое тело, чтобы утопить его, погрузить его вглубь, пока наконец не засыпают его стеклом и там ничего больше не видно, кроме отражения клочка ночного неба.

Порыв ветра снова донес до меня запах дыма, и внезапно, так же неожиданно, как перед моими глазами возник мертвец, я понял, что мне надо делать. Я подождал и, когда дым рассеялся, швырнул зажатые в пальцах часы в огонь. Они упали на груды красных углей. Тогда я наклонился и сунул руку в угли, стараясь вытащить часы. Я громко вскрикнул от жгучей боли и боком упал на траву, зажав другой рукой обожженное место, хватая траву, листья, все, что угодно, лишь бы прикрыть ожог. Часы, забытые, валялись рядом.

Я пролежал несколько минут, пережидая, пока пройдет дурнота и позывы рвоты, которые я не мог подавить, а затем, подгоняемый

острой болью, поднялся на ноги и побежал к замку. Мной владело одно желание — заглушить боль, спрятаться от света, от воздуха в мрак распахнутых окон. Я помню, как, спотыкаясь, перешагнул в гостиную через порог стеклянной двери, увидел испуганное лицо Рене, услышал, как она вскрикнула, и упал на диван, — мрак, к которому я стремился, обволок меня со всех сторон, хотя боль не стихла. Я слышал, как Рене зовет Поля, а Поль — Гастона, меня окружали встревоженные лица, раздавались встревоженные голоса. Они пытались высвободить мою руку, прикрытую пальто, но я по-прежнему прижимал ее к себе. Я мог только качаться взад и вперед и трясти головой, не в силах сказать им, чтобы они ушли и оставили меня одного, потому что для меня существовало сейчас лишь одно — боль.

— Надо найти мадемуазель Бланш, — сказал Гастон, и Рене тут же выбежала из гостиной; я слышал, как Поль крикнул, что пойдет звонить доктору, и в моем помраченном сознании забрезжила мысль: как хорошо было бы впасть в беспамятство, тогда исчезла бы и боль.

— Вы ранили себя, господин граф? — спросил стоявший возле меня на коленях Гастон.

— Нет, обжегся, кретин, — сказал я, отвернувшись, и подумал, что, имея я возможность ругаться и сквернословить по-английски, мне стало бы легче.

Вернулись остальные и снова столпились возле меня, тупо повторяя одни и те же фразы: «Он обжегся... это рука... он обжег руку... но где?.., но как?..»

Потом все лица, что всматривались в меня, отодвинулись, а рядом со мной, на месте Гастона, очутилась Бланш. Она протянула руку, чтобы взять мою, но я вскрикнул:

— Больно!

— Подержите его, — сказала она Полю и Гастону, и они схватили меня за плечи и прижали к подушкам дивана.

Бланш взяла мою руку и намазала ее чем-то прохладным и освежающим, разбрызгивая содержимое тюбика по всей поверхности ожога. Затем наложила свободную повязку, сказав окружающим, что минуты через две боль утихнет. Я закрыл глаза; вокруг меня раздавался нестройный шум голосов, слышался один и тот же вопрос: как это могло случиться? — и медленно, очень медленно

всепоглощающая боль стала отступать, уже можно было терпеть ее, я больше не был воплощением страдания, я почувствовал, что состою не только из обожженной руки, у меня есть вторая, есть тело, ноги, глаза, которые могут раскрыться и посмотреть на собравшихся рядом людей, что наконец-то я в состоянии объяснить им, что произошло.

— Ну как, полегче? — спросил Поль.

— Да, кажется, — сказал я, немного обождая; мне не верилось, что боль отпустила меня надолго.

Я увидел, что к кружку возле меня присоединилась Мари-Ноэль; белая, как мел, она не сводила с меня огромных глаз.

— Что вы сделали? Что случилось? — спросила Рене; за ее спиной, держа рюмку коньяка, которого я не хотел, стоял встревоженный и огорченный Гастон.

— Мои часы упали в костер, — сказал я, — тот, что возле голубятни. Мне не хотелось их лишиться, я наклонился, чтобы поднять их, и обжег руку. Сам виноват. Полез, как дурак, в огонь. Что может быть нелепей!

— Вы что, не понимали, к чему это может привести? — спросила Рене.

— Нет, — ответил я, — я не знал, что огонь такой горячий.

— Чистое безумие, — сказал Поль. — Ты же мог вытащить часы палкой, любой деревяшкой, которая валялась у костра.

— Мне это и в голову не пришло.

— Вы, должно быть, стояли очень близко к костру, если часы упали в самую середину, — сказала Рене.

— Да, очень. Дым попал мне в глаза. Я ничего толком не видел — это тоже меня подвело.

— Я позвонил доктору Леброну, он уже едет. Первое, что он спросил, — знает ли Франсуаза. Я сказал: нет. Он предупредил, чтобы мы ни в коем случае ничего ей не говорили. Такая вещь очень ее расстроит.

— Все будет в порядке, — сказал я. — Мне уже не больно. Бланш сотворила чудо.

Я поискал глазами Бланш, но она исчезла. Избавила меня от боли и ушла.

— Одно ясно, — сказал Поль, — в таком виде ты завтра стрелять не сможешь.

— Первое, о чем я подумал, — сказал я.

Все сочувственно смотрели на меня. Гастон с досадой поцокал языком:

— А вы так любите охоту, господин граф, — сказал он.

Я пожал плечами.

— Ничего не поделаешь, — сказал я, — на этот раз поохотятся без меня. Во всяком случае, часы я спас, они лежат там где-то, в золе.

— И все это ради каких-то часов! — сказала Рене. — Никогда не слышала о таком плутом, бессмысленном поступке.

— И часы-то не золотые, мадам, — сказал Гастон. — Золотые часы господина графа все еще в починке в Ле-Мане. Господин граф надевал свои старые стальные часы, те, что мсье Дюваль подарил ему на совершеннолетие.

— Поэтому-то я и не хотел расставаться с ними, — сказал я, — сентиментальность.

Наступила странная тишина. Все молчали. Гастон поставил рюмку с коньяком на стол, минуту спустя Поль предложил мне сигарету.

— Что ж, — сказал он, — хорошо, что все обошлось, могло быть и хуже. Пострадала в основном тыльная сторона кисти, кромка рукава даже не загорелась.

Все это время Мари-Ноэль стояла молча. Жаль, если я ее напугал.

— Не смотри на меня так серьезно, — улыбнулся я. — Все в порядке. Я скоро встану.

— Вот твои часы, — сказала она.

Подойдя поближе, Мари-Ноэль вынула руки из-за спины и подала мне черные от копоти часы. Я не заметил, как она за ними выбегала. Должно быть, это заняло у нее всего несколько минут.

— Где ты их нашла? — спросила Рене.

— В золе, — ответила девочка.

Я протянул к ней левую ладонь, взял часы и положил их в карман.

— Давайте забудем про все это, — сказал я. — Я поднял тут хорошую суматоху. Хватит на одно утро. Ленч уже остыл. Давно пора начинать. Должно быть, уже второй час. — Я задумался. — Франсуаза удивится, почему я не зашел к ней, — сказал я. — Лучше будет, если ей передадут, что я ушел с Робером и еще не вернулся. И пусть кто-

нибудь заткнет рот этой Шарлотте, вечно она выбалтывает все таман, там, наверху. Уходите, оставьте меня одного. Я есть не буду. Когда приедет Лебрэн, проводите его сюда.

Я устал, на душе было скверно. Рука болела, но не так, как раньше, не столько на самом деле, сколько в воображении: с ужасающей ясностью я видел перед собой воспаленные нежные ткани моей обожженной ладони. Я закрыл глаза, и все снова вышли. Некоторое время спустя раздался звонок, и минуты через две надо мной склонилось немолодое бородатое лицо доктора Лебрэна в пенсне на большом носу; рядом с ним с отчужденным видом стояла Бланш.

— Что это вы натворили? — спросил доктор. — Мне сказали, что вы валяли дурака с огнем.

Хоть мне и наскучило это повторять, я покорно пересказал ему все с самого начала и, чтобы подкрепить свои слова, вытащил из кармана часы.

— Да, не очень разумно, — сказал он, — однако кто в своей жизни не делал глупостей? Давайте посмотрим на рану. Мадемуазель Бланш, размотайте, пожалуйста, повязку.

Бланш спокойно взяла мою руку в свои, и они вместе ее осмотрели. Доктор смазал ожог какой-то мазью, которую он принес с собой, и снова перевязал руку, сделав из бинтов кокон; к моему большому облегчению, ни он, ни Бланш не причинили мне боли. Она все еще не оставила меня, но теперь была глухой.

— Ну вот, — сказал Лебрэн, — так вам будет удобней. Ничего серьезного, уверяю вас, через несколько дней вы и места того не найдете, где был ожог. Мадемуазель Бланш, повязку надо менять два раза — утром и вечером, и я думаю, все обойдется. Меня больше волнует, что завтра вы не сможете стрелять.

— Чепуха, — сказал я, — вы прекрасно обойдетесь без меня.

— Боюсь, что нет. — Он улыбнулся. — Вы — как ходовая пружина в этих часах. Если она не работает, весь механизм выходит из строя.

Я видел, что Бланш смотрит на часы, затем на меня. Наши глаза встретились, и в ее изучающем, пронизывающем взгляде было нечто, заставившее меня почувствовать на один кошмарный миг, что она знает правду, потому и пришла забинтовать мне руку и унять боль —

ведь я был чужак. Охваченный раскаянием, я опустил глаза, а она обернулась к доктору и пригласила его в столовую перекусить. Он поблагодарил ее, сказав, что сейчас придет.

Бланш оставила нас вдвоем, и он вновь заговорил о Франсуазе, повторяя то, что я уже слышал от него по телефону. Я старался запомнить его слова, которые он подчеркивал резкими взмахами пенсне, но одновременно думал о Бланш и выражении ее глаз, спрашивая себя, каким образом она сумела проникнуть в мой обман и сорвать с меня маску. А может быть, это всего лишь мое воображение?

Появился Гастон с подносом в руках, но я махнул ему, чтобы он ушел.

— Вечером вам уже захочется есть, — сказал доктор, — сейчас еще рано.

Он вынул из сумки и дал мне таблетки, наказав принимать по одной раз в два часа, а если рука будет сильно болеть, то и по две, затем вышел из гостиной и присоединился ко всем остальным за обеденным столом.

Гастон по-прежнему хлопотал вокруг меня — плед на ноги, еще одну подушку под голову, и я подумал: а ведь узнай он правду, что я всего лишь фантом, копия его хозяина, и сознательно обжег себе руку из страха, как бы меня не разоблачили, и преданность его и забота перейдут в растерянность, затем в недоверие и наконец в презрение. Это выше его понимания, и не только его, а всех обитателей Сен-Жиля. Так не поступают. В чем смысл обмана, если он приносит обманщику одни неприятности? Что он выигрывает? В том-то и «соль». Что я выиграл? Я лежал на кушетке, глядя на забинтованную руку, и вдруг рассмеялся.

— Лучше стало? — сказал Гастон, и его доброе лицо расплылось в улыбке; смех принес нам обоим облегчение.

— Лучше — чему? — спросил я.

— Как — чему? Руке, господин граф, — ожог не болит так сильно?

— Болит, но иначе, — сказал я, — точно руку обжег не я, а кто-то другой.

— Так бывает, когда очень больно, — сказал Гастон, — а иногда вы чувствуете боль в другом месте. Помните моего брата, который

потерял на войне ногу? Он говорил, что у него болит рука. Моя бабка родом из Бретани. В старые времена там насылали болезнь или боль на животных. Если у человека была оспа, брали живую курицу и подвешивали ее в его комнате. И болезнь тут же переходила от человека к птице, и через сутки она была мертвая и полусгнившая, а больной поправлялся. Не послать ли мне за курицей да и подвесить ее в комнате господина графа? Пожалуй, неплохая мысль.

— Не уверен, — сказал я, — а вдруг все выйдет наоборот? Вдруг курица больна и передаст мне свою хворобу... если и не оспу, то что-нибудь не лучше.

Кто из нас ускользнул, кто убежал из тюрьмы — я или Жан де Ге? Вот в чем вопрос.

Когда ленч закончился и все снова столпились вокруг меня, спрашивая, как я себя чувствую, я решил привести в исполнение вторую часть своего плана.

— Поль, — сказал я. — Почему бы тебе вместе с Робером не организовать все, что надо на завтра? Раз я не могу ничего делать, я предпочел бы ни во что не вмешиваться. Вы на пару прекрасно со всем справитесь.

— Глупости! — воскликнул Поль. — Час-другой, и ты будешь в форме. Сам знаешь, этим всегда занимаешься ты. Если возьмемся мы с Робером, ты только станешь наводить на нас критику и заявишь, что мы провалили все дело.

— Не скажу, — возразил я. — Действуйте, не теряйте времени. Я не могу участвовать в охоте, а остальное мне неинтересно.

Я встал с кушетки и сказал, что пойду отдыхать в библиотеку; по их лицам я видел, что они думают, будто мое решение вызвано болью и разочарованием. Рене отвела доктора в сторону и о чем-то его спросила, он покачал в ответ головой:

— Нет-нет, уверяю вас, с ним все в порядке. У него просто шок. Такие ожоги очень болезненны.

Вы правы, подумал я, особенно если причинишь его себе сам, и при этом напрасно. Теперь, когда моя паника по поводу грядущей охоты прошла, я понял, как можно было ее избежать, — стоило лишь заявить, что я не хочу в ней участвовать, и мне бы поверили. Они что угодно примут на веру, ведь им ни разу и в голову не пришло, что я не тот, кем они меня считают.

Когда я ушел в библиотеку, а замок охватила ленивая послеполуденная дремота, я понял, что мое жертвоприношение — палка о двух концах. Еще неизвестно, что хуже — приготовления к охоте или бездеятельность, на которую я себя обрек; теперь, после моего «отдыха», я окажусь во власти родных и буду вынужден отвечать на их расспросы — то самое, чего я стремился избежать. Чтобы чем-то занять время, я пододвинул кресло к бюро и, с трудом приоткрыв одной рукой ящик, снова вытащил альбом с фотографиями. На этот раз я мог не спешить, мне никто не помешает, и, пробежав глазами снимки детей, я не торопясь перешел к взрослым карточкам. Теперь я заметил многое, что упустил при первом беглом просмотре. Морис Дюваль был уже на ранних групповых снимках рабочих *vergerie*. На первом, датированном 1925 годом, он, еще совсем молодой человек, стоял в самом заднем ряду, а затем, как на общих школьных фотографиях, год от года передвигался на более видное место, пока, в конце альбома, не оказался в кресле рядом с самим графом де Ге-старшим. Видно было, что он чувствует себя свободно и непринужденно, что он уверен в себе — типичный староста класса рядом со старшим воспитателем. Мне понравилось его лицо. Энергичное, умное, лицо человека, заслуживающего доверия, который безусловно внушает к себе уважение и любовь.

Я закрыл альбом и сунул его обратно в ящик. Возможно, там были и другие, но одной рукой рыться было бесполезно. Новый контракт все еще лежал у меня в кармане; интересно, что подумал бы обо всем этом Морис Дюваль?.. Я, должно быть, заснул в кресле — вдруг оказалось, что уже шесть часов. Меня потревожили — нет, не Поль, и не Рене, и не девочка, — меня разбудили шаги кюре. Он зажег свет лампы, стоявшей на бюро, и теперь внимательно вглядывался в меня, участливо кивая головой.

— Ну вот. Я вас разбудил. Я не хотел этого, — сказал он. — Я хотел только убедиться, что вы не страдаете от боли.

Я сказал, что все хорошо и сон пошел мне на пользу.

— Мадам Жан тоже спала, — сказал кюре, — и ваша матушка также. Все больные обитатели замка хорошо отдохнули сегодня. Вам не надо ни о чем волноваться, я взял на себя миссию объяснить им обоим, что с вами произошло, и постарался, как мог, представить все в розовом свете. Вы не против?

— Что вы! — сказал я. — Я очень вам благодарен.

— Прекрасно. Ни одна из них не встревожилась, только сожалеют, что вы завтра не сможете принять участие в охоте.

— Чепуха. Я вполне с этим примирился.

— Вы мужественно ведете себя. Я знаю, какое место охота занимает в вашей жизни.

— Вы ошибаетесь, господин кюре. Какое уж тут мужество... Положа руку на сердце, я и физически, и морально — трус.

Кюре улыбнулся мне, продолжая кивать.

— Полно, полно, — сказал он, — не так уж все плохо, как кажется. Иногда, хуля самого себя, мы потворствуем собственной слабости. Мы говорим: «Я достиг дна бездны, дальше падать некуда» — и чуть ли не с удовольствием барахтаемся во тьме. Беда в том, что это не так. Нет конца злу в нашей душе, как нет конца добру. Это вопрос выбора. Мы стремимся вверх, или мы стремимся вниз. Главное — познать самого себя, увидеть, по какому мы идем пути.

— Падать легче, — сказал я, — нам доказывает это закон земного притяжения.

— Возможно, — сказал кюре, — не знаю. Богу нет дела до земного притяжения, хотя оно такое же чудо, как Божья любовь. А теперь, полагаю, мы оба должны принести Ему благодарность за то, что ваш ожог не был гораздо серьезней.

И кюре опустил на колени. При его росте и тучности это было для него нелегко. Он сложил руки, наклонил голову и стал молиться, не переставая кивать и благодарить Бога за то, что Он уберег меня от большей беды и облегчил мои страдания, а затем добавил, что, поскольку я так люблю охоту и лишиться ее для меня такая утрата, не может ли Бог в своей доброте ниспослать мне в утешение небесную благодать, чтобы я смотрел на то, что со мной случилось, как на Господне благословение...

В то время как кюре с трудом опускался на колени, я размышлял насчет его аналогии с бездной и спрашивал себя, сколько еще мне падать и не было ли охватившее меня чувство стыда всего лишь барахтаньем во тьме, как он сказал. Я встал с кресла, проводил его в холл и посмотрел, как он пересекает террасу и спускается к подъездной дорожке. Начался мелкий дождик, кюре раскрыл огромный зонт и стал похож на гнома под грибом.

Я достаточно долго праздновал труса; я могу, по крайней мере, не показывать, как мне больно. Я нашел Франсуазу в постели; сидя в подушках, она читала Мари-Ноэль жизнеописание «Цветочка». Кюре хорошо выполнил свою миссию: Франсуаза сочувствовала мне, но не тревожилась. Она, по-видимому, думала, что я всего-навсего опалил пальцы, и без конца сокрушалась о том, что я не смогу участвовать в охоте — такое для меня разочарование, — хотя, конечно, она рада, что все это не по ее вине и причиной тому не ее нездоровье.

Мари-Ноэль была странно тихой и присмирившей; она не присоединилась к разговору, а взяв книжку, ушла в уголок и стала читать сама. Должно быть, утреннее происшествие сильно ее взволновало и она до сих пор не оправилась от потрясения. К обеду я спустился вниз, так как Шарлотта передала через Жермену, что госпожа графиня рано легла и ее нельзя беспокоить, чему я был рад, так как на ее вопросы было бы нелегко ответить.

Поль и Рене не могли говорить ни о чем, кроме предстоящей охоты: когда придут гости — многих они называли по именам, — как, если будет сыро, устроить завтрак на ферме. Казалось, моя нелепая выходка дала им наконец счастливую возможность показать себя. Поль, судя по всему, с удовольствием играл роль хозяина, а Рене, поскольку Франсуаза не стояла у нее на пути, а Поль повысился в ранге, неожиданно для себя оказалась в роли хозяйки. Она настаивала на том, что принимать гостей надо на террасе, неважно, дождь или солнце; без конца спрашивала Поля, не выпустил ли он из виду то или другое, напоминала, что в прошлом году забыли это и то, то и дело обращаясь ко мне за подтверждением; в их радости, в их стремлении сделать все по высшему разряду было что — то трогательное; они были похожи на дублеров, которым в последний момент предложили заменить ведущих актеров труппы.

Бланш, оказав мне днем помощь, снова погрузилась в молчание. Она не проявляла никакого интереса к приготовлениям на завтрашний день и лишь сказала, встав из-за стола, что, встретятся гости на террасе в половине одиннадцатого или нет, месса будет, как всегда, в девять. Я спросил себя, уж не выбросила ли она из головы назначения доктора Лебрена, ведь он просил ее перевязать мне руку. По-видимому, та же мысль мелькнула у Рене, потому что, когда мы перешли в гостиную, она сказала:

— Если ты рано поднимешься к себе, Бланш, я могу сама заняться рукой Жана. Где бинты?

— Я перевяжу его сейчас, — быстро ответила Бланш и, тут же вернувшись с оставленным доктором перевязочным материалом, по-прежнему молча протянула руку, чтобы развязать мою.

Закончив, она пожелала всем, кроме меня, доброй ночи. Рене, сев на диван, спросила:

— Разве Мари-Ноэль не спустится к нам поиграть в домино?

— Сегодня — нет, — ответила Бланш. — Я почитаю ей наверху. — И вышла из комнаты.

Минуту спустя Рене сказала:

— Странно, девочка никогда не пропускает игры.

— Она очень расстроилась из-за Жана, — откликнулся Поль, беря одну газету и кидая мне другую. — Я сразу это заметил. Ты следи за ней, не то у нее опять начнутся видения. Я не уверен, что так уж разумно было дарить ей жизнеописание святой Терезы из Лизье.

Вечер тянулся медленно, единственным развлечением были газеты; время от времени Рене поглядывала на меня, улыбаясь сочувственной, заговорщицкой улыбкой, беззвучно спрашивая: «Больно? Не легче?», очевидно, чтобы показать мне, что из-за моей раны мне прощен вчерашний день. Я волновался из-за Мари-Ноэль. Она могла забрать себе в голову, что должна обречь себя на еще какой-нибудь мученический подвиг: надеть на шею железный ошейник или спать на гвоздях, поэтому в половине десятого я попрощался с Рене и Полем и пошел наверх. Я направился прямо в башенную комнатку и распахнул дверь. В комнате было темно, и, нащупав выключатель, я зажег свет. Девочка стояла на коленях у аналая, сжимая четки, и я понял, что нечаянно прервал молитву.

— Извини, — сказал я. — Я приду, когда ты закончишь.

Мари-Ноэль обратила ко мне отрешенный взгляд, подняв руку, чтобы я молчал. Я стоял в ожидании, не зная, чего она хочет: чтобы я погасил свет или оставил его гореть. Но вот девочка перекрестилась, положила четки у ног Мадонны, встала с колен и забралась под одеяло.

— Я представляла в уме Страсти Господни, — сказала она, — это всегда приводит меня к такому состоянию духа, какое нужно для

мессы. Тетя Бланш говорит: если думаешь о посторонних вещах, вспоминай Страсти Господни.

— А о чем ты думала? — спросил я.

— Утром я думала об охоте, о том, какое нас ждет удовольствие. А потом весь день я думала о тебе.

В ее глазах было не столько беспокойство, сколько недоумение. Я облегченно вздохнул. Я не хотел ее напугать.

— Обо мне волноваться нечего, — сказал я, подтягивая одной рукой одеяло. — Рана уже куда лучше, и доктор Лебрэн обещает, что через несколько дней все пройдет. Глупый случай — надо же было часам упасть в костер... как я мог забыть, что ремешок еле держится...

— Но часы вовсе не падали в костер, — сказала Мари-Ноэль.

— То есть как — не падали?

Она глядела на меня в замешательстве, дергая простыню, лицо ее залила краска.

— Я была в голубятне, — сказала она. — Я забралась на самый верх и глядела наружу через дырочку возле входа для голубей. Я видела, как ты шел по аллее, размахивая часами. Я хотела тебя позвать, но у тебя был такой серьезный вид, что я передумала. Ты постоял немного у костра и вдруг кинул часы в самую середину. Там не было никакого дыма. Ты сделал это нарочно. Зачем?

Глава 16

Я сел на стул возле кровати. Так было легче говорить, чем стоя. Расстояние между нами стало короче, я был на одном уровне с ней, а не нисходил к ней, как взрослый к ребенку. Я догадался, что Мари-Ноэль объяснила мой поступок желанием избавиться от часов; а когда, пожалев об этом, я попытался вернуть их себе, я и обжегся. То, что я сделал это намеренно, сам причинил себе боль, не пришло ей в голову, но это она легко поймет.

— Часы были только предлогом, — сказал я. — Я не хотел участвовать в охоте, но не знал, как этого избежать, и тут, когда я стоял у костра, мне пришла в голову мысль обжечь руку. Это было просто, но глупо. Успех превзошел ожидания — боль оказалась куда сильнее, чем я думал.

Она спокойно слушала. Подняла забинтованную руку, осмотрела со всех сторон.

— Почему ты не притворился, будто ты болен? — спросила она.

— Это бы ничего не дало. Все догадались бы, что это обман и со мной ничего не случилось. Обожженная рука говорит сама за себя.

— Да, — согласилась Мари-Ноэль, — не очень-то приятно, когда тебя выведут на чистую воду. Что ж, теперь ты умерщвил свою плоть и получил хороший урок. Можно мне снова посмотреть на часы?

Я пошарил в кармане и протянул их девочке.

— Бедненькие, — сказала она, — без стекла и черные от сажи. Их дни сочтены. Все удивлялись, почему ты бросился их спасать. Я держала свой секрет при себе. Никому не сказала, что, прежде чем вытащить часы из костра, ты сам их туда кинул. Как не стыдно было делать им больно! Об этом ты не подумал?

— Пожалуй, нет, — сказал я. — У меня все перепуталось в голове. Я думал об одном человеке, которого убили — застрелили — много лет назад, и вдруг, не отдавая себе отчета, я бросил часы в огонь и в тот же миг сунул туда руку, чтобы спасти их. И обжег ее. Все произошло в одно мгновение.

Мари-Ноэль кивнула.

— Ты, наверно, думал о мсье Дювале, — сказала она.

Я удивленно взглянул на нее:

— Говоря по правде — да.

— Естественно, — сказала девочка, — ведь это он подарил тебе часы, и его застрелили. Все сходится.

— А что ты знаешь о мсье Дювале? — спросил я.

— Он был управляющим *vergerie*, — сказала Мари-Ноэль, — и, по словам Жермены, одни считали его патриотом, другие — предателем. Но он умер ужасной смертью, и мне не позволено о нем говорить. Особенно с тобой и с тетей Бланш. Поэтому я и не говорю.

Она протянула мне часы.

— Кто не велел тебе говорить о нем? — спросил я.

— Бабушка, — сказала Мари-Ноэль.

— Когда?

— О, не помню. Сто лет назад, когда я впервые услышала об этом от Жермены. Я стала рассказывать бабушке, и она сказала: «Сейчас же замолчи. Мало ли что болтают слуги. Все это сплошное вранье». Она очень тогда рассердилась и ни разу с тех пор не говорила со мной об этом. Папа, скажи, почему ты не хочешь завтра охотиться?

Этого вопроса я боялся больше всего — я не знал, как на него ответить.

— Не хочу, и все, — сказал я, — без всякой причины.

— Но у тебя должна быть причина, — настаивала Мари-Ноэль. — Ведь ты любишь охоту больше всего на свете.

— Нет, — сказал я, — теперь не люблю. Я не хочу стрелять.

Девочка внимательно и серьезно смотрела на меня, ее огромные глаза неожиданно — мне даже страшно стало — сделались точь-в-точь такими, как глаза Бланш на детских снимках.

— Потому что не хочешь убивать? — спросила она. — Ты вдруг почувствовал, что лишать жизни — грех, даже если ты убил маленькую птичку?

Мне следовало сразу ответить ей «нет». Я не хотел стрелять потому, что боялся стрелять плохо, а я заколебался в поисках лазейки, и Мари-Ноэль приняла мою нерешительность за положительный ответ. Я видел по ее горящим глазам, что она уже сочиняет в уме фантастическую историю о том, как ее отец вдруг почувствовал внезапное отвращение к крови, ему стала отвратительна сама мысль

об убийстве и он сжег себе руку, чтобы не поддаваться искушению принять участие в охоте.

— Возможно, — сказал я.

Не успел я произнести это слово, как понял, что совершил ошибку. До этих пор я ни разу сознательно не солгал Мари-Ноэль. А теперь я это делал. Я создавал ложный образ Жана де Ге, давал девочке то, чего она просила, чтобы самому закрыть глаза на правду.

Мари-Ноэль встала на колени в постели и, стараясь не задеть повязку, обвила мою шею рукой.

— Я думаю, ты проявил большое мужество, — проговорила она. — Помнишь, как сказано в Евангелии от святого Матфея: «... если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его...» Я рада, что это не глаз, с глазом это было бы куда труднее. Рука у тебя заживет, но ведь главное — это намерение, тетя Бланш всегда так говорит. Жаль, что мы не можем все ей рассказать, хотя лучше пусть это будет наша с тобой тайна.

— Послушай, — сказал я, — совсем ни к чему делать из этого особую тайну. Я обжегся, я не могу стрелять, и я не хочу стрелять. Забудь об этом.

Мари-Ноэль улыбнулась и, наклонившись, поцеловала забинтованную руку.

— Обещаю даже не упоминать об этом, — сказала она, — но думать ты мне не запретишь. Если ты завтра увидишь, что я смотрю на тебя особенным образом, знай, что я думаю о твоём благородном поступке, о твоём смирении.

— Это был не благородный, а глупый поступок.

— В глазах Господа Бога глупцы выше мудрецов. Ты когда-нибудь читал о святой Розе из Лимы?

— Она тоже сунула руку в костер?

— Нет, она носила тяжелый железный пояс и никогда не снимала его, и он так глубоко врезался ей в тело, что сделалась гнойная рана. Она носила его много лет во славу Бога. Папа, тетя Бланш хочет, чтобы я пошла в монастырь. Она говорит, я не найду счастья в этом мире, и, наверно, она права. А теперь, когда я читаю житие святой Терезы из Лизье, я еще больше в этом убеждаюсь. Как ты думаешь?

Я посмотрел на нее. Она стояла, маленькая, серьезная, в белой ночной рубашке, скрестив руки на груди.

— Не знаю, — сказал я, — по-моему, ты еще слишком мала, чтобы это решать. Если тетя Бланш не нашла счастья в нашем мире, это еще не значит, что то же будет с тобой. Все зависит от того, что ты понимаешь под счастьем. Это ведь не горшок с золотом, закопанный под деревом. Спроси господина кюре. Не спрашивай меня.

— Спрашивала. Он говорит, если я буду усердно молиться, Бог ответит мне. Но ведь тетя Бланш молится с утра до ночи и намного старше меня, а Бог так и не дал ей ответ.

Церковные часы пробили десять. Я устал, я не хотел обсуждать душевное состояние Бланш, или Мари-Ноэль, или мое.

— Что с того? — сказал я. — Возможно, тебе повезет больше и ты получишь ответ быстрее.

Девочка вздохнула и легла в постель.

— Жизнь — сложная штука, — сказала она.

— Согласен.

— Как ты думаешь, не легче ли быть кем-нибудь другим, а не самим собой? — спросила она.

— Это и я хотел бы узнать.

— Я бы не возражала быть другой девочкой, но только если была бы уверена, что ты будешь моим отцом, — сказала она.

— Ты на ложном пути, — возразил я, — все на свете иллюзия. Спокойной ночи.

Как ни странно, ее обожание угнетало меня. Я погасил у нее свет и спустился в гардеробную к своей походной кровати. Уснуть мне мешала не рука, она больше меня не тревожила, а сознание, что главное — видимость, что всем им нужно одно — внешняя оболочка Жана де Ге, его наружный вид. Цезарь был единственным, кто понял, что я чужой, но и его я сумел примирить с собой — сегодня он позволил себя погладить и завилял хвостом.

Я беспокойно проспал несколько часов и проснулся оттого, что Гастон раскрыл ставни; утро было пасмурное, сырое, сеял мелкий дождь. И тут же передо мной, вселяя смутную тревогу, встал весь ожидающий меня день — охота, гости, ритуал приема, такой же неведомый мне, как праздник каннибалов, — и я почувствовал, как для меня важно не подвести никого из де Ге, не опозорить семью или

замок, и не потому, что я испытываю особое уважение к отсутствующему хозяину дома, а потому, что традиции святы для меня. В коридоре раздавались шаги, на лестнице — голоса, церковный колокол начал созывать прихожан к мессе. Я поблагодарил Бога за то, что успел побриться, и теперь мне оставалось только надеть темный костюм, приготовленный Гастоном... А тут послышался стук в дверь, и вошла Мари-Ноэль, чтобы помочь мне.

— Ты опаздываешь, — сказала она. — Почему? Опять разболелась рука?

— Нет, — сказал я. — Я забыл про время.

Мы заглянули вместе к Франсуазе пожелать ей доброго утра, а затем спустились вниз, в холл, и вышли на террасу. Мы увидели опередившую нас небольшую семейную группу — они уже прошли через ворота и шли по мосту — Поль, Рене и Бланш, а рядом с ней, опираясь на ее руку, какая-то тучная, сутулая, незнакомая мне фигура в черном. Я хотел было спросить Мари-Ноэль, кто это, как до меня внезапно дошло, что это сама графиня, которую я видел только в кресле или в постели. Две черные фигуры, одна грузная, выше всех остальных, другая, рядом, деревянная, прямая как палка, были похожи на вырезанные из бумаги силуэты на фоне холмов и старой церкви под тусклым серым небом.

Мы догнали их, и я предложил татап свою здоровую руку, чтобы мы с Бланш могли поддержать ее с двух сторон. Я увидел, что она выше, чем я думал: мы с ней были одного роста, но из-за тучности она казалась еще больше.

— Что это за история насчет ожога? Никто никогда не говорит мне правды.

Я кончил рассказывать как раз в тот момент, когда колокола умолкли и мы подошли ко входу в церковь.

— Не верю я тебе, — сказала татап, — только слабоумный мог сделать такую глупость. Или ты действительно выжил из ума?

Кучка деревенских жителей, стоящих на паперти, расступилась, чтобы пропустить нас, и, пока мы шли к нашим местам — графиня все еще опираясь на Бланш и меня, — я думал, не странно ли, что семейство де Ге все вместе приходит сюда замаливать грехи, а двое из них вот уже пятнадцать лет не разговаривают друг с другом... Церковка двенадцатого века, такая ветхая и скромная снаружи, без

украшений, с простой, покрытой лишайником каменной кладкой, внутри оказалась кричаще-безвкусной, с фиолетово-синими окнами, запахом лака, как в методистской часовне, и стоящей у алтаря кукольной мадонной, с удивлением глядящей на младенца Иисуса у себя на руках.

Я надеялся, что, очутившись в церкви и принимая участие в мессе, я забуду про маскарад и почувствую себя истинным владельцем Сен-Жиля. Но вышло наоборот: вновь заявило о себе утихшее было чувство вины. Никогда еще так ясно не отдавал я себе отчета в том, что я совершил обман, причем обманываю я не столько стоящих рядом со мной на коленях родных, которые стали мне своими, чьи недостатки и провинности я знал и отчасти делил, сколько незнакомых мне крестьян, собравшихся в церкви. Что еще хуже, я обманывал доброго старого кюре с розовым лицом херувима, который включил меня в свои молитвы, а я, глядя на его объемистую фигуру, увенчанную кивающей головой, вдруг непочтительно вспомнил африканского знахаря, которого когда-то видел, и должен был отвести от него глаза и прикрыть их рукой, словно целиком отдавшись молитве.

Я был в каком-то двойственном состоянии духа: с одной стороны, корил себя за обман, и каждое слово мессы звучало в моих ушах как обвинение, с другой — зорко подмечал все неудобства, которые испытывали те, кто был рядом со мной: мать, чуть не вслух застонавшая от боли, когда передвинула колени, Поль, как все курильщики, страдавший утром от кашля, Рене, изжелта-белое лицо которой без пудры казалось бледным как смерть, Мари-Ноэль, которая, рабски копируя каждое движение Бланш, склонялась все ниже и ниже над молитвенно сложенными руками. Ни разу еще служба не казалась мне такой долгой, и, хотя в ней был — для меня — особый внутренний смысл, слушали ее вполуха, для проформы, и когда она кончилась и мы медленно двинулись к выходу между рядами, первое, что сказала графиня, тяжело повисшая на моей руке:

— Верно, эта дурочка Рене собирается вырядиться, как попугай, раз Франсуаза не выйдет к гостям. У меня есть большое желание остаться внизу и испортить ей удовольствие.

На паперти Бланш взяла ее под другую руку, и мы все трое медленно спустились с холма к замку и вступили в свои владения,

брат и сестра — не раскрывая рта, мать — повторяя, как она довольна тем, что начался дождь, — значит, праздник не удастся, гости промокнут до нитки, Рене заляпает свои тряпки грязью, если высунет голову наружу, а Поль, которому поручено организовать охоту, при его бестолковости все перепутает и только поставит себя в глупое положение.

— Так что, — тут она стиснула мне руку, — тебе будет над чем посмеяться.

Мы подошли к террасе в половине одиннадцатого; с неба сеяла мелкая изморось; в воротах появились первые машины. Бедняжка Рене, чьи невинные планы оказались сорваны, совсем было скрылась позади грузной фигуры свекрови, которая, опершись на палку, в накинутой на плечи огромной шали стояла на почетном месте у входа в замок и с царственным видом приветствовала подъезжающих гостей. Ее появление внизу было так неожиданно, что даже обожженную руку хозяина дома сочли всего лишь неприятным казусом, а уж отсутствие Франсуазы вообще прошло незамеченным. Госпожа графиня *принимает*, все остальное не имело значения.

Мамап нельзя было узнать. Я не мог поверить, что эта величественная владычица замка, окруженная гостями, собравшимися со всей округи, та самая старуха, которую я видел наверху, в ее спальне, скорчившуюся в кресле или серую, измученную, в огромной, широкой кровати. Но в каждой ее фразе скрывалась какая-нибудь колкость по поводу того, что происходит.

«Лучше оставьте ружье в доме и собирайте каштаны», — одному из гостей, а другому: «Если вам нужен моцион, выведите моих терьеров. Они вам за пять минут такую потеху устроят, какую от Поля вы не дождетесь за пять часов».

Я стоял в стороне, не желая быть причастным к ее злобным выходкам, но мое молчание было истолковано превратно: все сочли, что я не в духе из-за руки, а многократно повторяемые мной слова: «Не спрашивайте у меня ничего — спрашивайте Поля» — насмешка над его стараниями; я видел, что у гостей мало-помалу создалось впечатление, будто никто ни за что не отвечает, дело пущено на самотек и все это имеет несколько смешной характер. Поль, возбужденный, встревоженный, то и дело поглядывал на часы: охотники уже вышли из графика и ему не терпелось покинуть замок.

Вдруг я почувствовал, что меня трогают за локоть. Это был мужчина в комбинезоне, который жил возле гаража; рядом с ним стоял Цезарь.

— Я привел Цезаря, господин граф, — сказал он. — Вы про него забыли.

— Я сегодня не охочусь, — сказал я. — Отведите его к господину Полю.

Пес, опьяненный свободой и чувствуя, что его ждет охота, принялся бегать кругом в поисках хозяина и не обратил никакого внимания на Поля, когда тот крикнул: «Ко мне!», а увидев старого соперника, хорошо натасканного спаниеля, невозмутимо сидевшего на месте, Цезарь, потеряв голову, кинулся на него, и в ту же секунду поднялся страшный шум, собаки яростно рычали и лязгали зубами, престарелый владелец спаниеля кричал во все горло, а Поль, синевато-бледный от злости, громко звал меня:

— Ты что, не можешь успокоить свою недоученную собаку?!

Садовник Жозеф и я кинулись на несчастного Цезаря, но от меня было мало пользы. Все же нам наконец удалось его успокоить и взять на поводок. Всем эта сцена показалась забавной, всем, кроме хозяина спаниеля и Поля, который, проходя мимо меня, сказал:

— Еще одна из твоих шуточек, вероятно? Оставил своего бешеного пса без присмотра, чтобы он устроил здесь драку и испортил нам день с самого утра, и думаешь, что это смешно!

Что я мог сделать? Цезарь не желал меня слушаться, а со стороны казалось, будто я его науськиваю, будто все это для меня потеха и, что бы ни случилось, мне все равно.

— Вы не хотите составить нам компанию? — спросил кто-то из гостей.

— Не сейчас. Позже, — ответил я, и гости стали группами отходить от дома, смеясь и пожимая плечами; кое-кто взглянул на тяжелые дождевые тучи и досадливо сморщил лицо, словно желая сказать: «Представление провалилось. Можно с таким же успехом возвращаться домой».

Когда они исчезли из виду, я обернулся к графине:

— Вы решили погубить этот день для Поля и Рене, и вам это удалось. Я надеюсь, вы гордитесь собой.

Она тупо смотрела на меня, ее взгляд ничего не выражал.

— О чем ты? — спросила она. — Я тебя не понимаю.

— Вы прекрасно меня понимаете, тамап, — проговорил я. — Сегодня у Поля и Рене был единственный шанс хоть как-то здесь распорядиться, и вы сознательно встали на их пути, превратили все в балаган. Никто не замечал Рене, на Поля не обращали внимания; для них обоих день все равно что кончен. Один Бог знает, как будут развлекаться остальные.

Лицо графини посерело, от удивления или гнева — я сказать не мог. Я думал, что мы в холле одни, но Шарлотта ждала ее у порога и теперь подошла, взяла под руку, и они без единого слова стали подниматься по лестнице. Ни Рене, ни Бланш нигде не было видно; в холле осталась одна Мари-Ноэль — второй свидетель сцены; лицо ее горело, она смущенно глядела в сторону, делая вид, будто не слышала моих слов.

Я вышел из себя, играя роль другого человека. Настоящий Жан де Ге никогда бы так не поступил. Будь он на моем месте, он смеялся бы заодно с матерью, подзадоривал бы ее. Я знал, что рассердило меня в действительности: вся эта ситуация вообще не возникла бы, будь здесь Жан де Ге. Даже если что-нибудь помешало бы ему участвовать в самой охоте, он все равно сам лично руководил бы ею. Не мать была виновата в том, что день оказался погублен, а я.

Мари-Ноэль постояла на одной ноге, затем на другой. Она была в макинтоше с капюшоном и надеялась, что мы пойдем пешком за остальными и посмотрим на охоту.

— Болит у тебя рука? — спросила она.

— Нет.

— Я думала, болит, потому ты так мало занимаешься гостями. Верно, жалеешь, что не можешь стрелять.

— Нет, не жалею. Мне только досадно, что все провалилось.

— Теперь бабушке станет плохо. У нее будет приступ. Почему ты так на нее рассердился? Она делала это ради тебя.

А что толку? Все наши мотивы ложны. Я пытался сделать правильную вещь неправильным путем, а может быть, неправильную вещь — правильным путем, не знаю, первое или второе. Мой план не осуществился, план матери — тоже. Даже пес попал в немилость, потому что не получил указаний.

— Где тетя Рене? — спросил я.

— Она поднялась вверх. У нее развалилась прическа. Мне показалось, что она плачет.

— Скажи ей, что Гастон повезет нас всех в машине следом за chasseurs. [\[51\]](#)

Мари-Ноэль просияла и выбежала из комнаты.

Я попросил Гастона привести машину ко входу и с облегчением заметил, что он поставил в багажник ящик с вином. Дня гостей это будет лучшим утешением, лучшим выходом из передраг сегодняшнего дня. Я поглядел на подъездную дорожку и увидел, что к нам приближаются Рене и Мари-Ноэль, а с ними, виляя пушистым хвостом. Цезарь.

— Пес нам не нужен! — крикнул я.

Они остановились в удивлении.

— Он тебе понадобится для дичи, папа! — крикнула в ответ Мари-Ноэль.

— Нет, — сказал я. — Раз я не принимаю участия в охоте, зачем он мне? Я не управлюсь с ним одной рукой.

— А тебе и не надо с ним управляться, — сказала девочка. — Он всегда слушает твою команду. Он не послушался сегодня утром, потому что ты ничего ему не приказал. Пошли, Цезарь.

— Разве у него нет поводка? — спросила Рене. — Где его поводок?

Я сдался. Я не мог спорить. День вышел из-под моего контроля. Я забрался на заднее сиденье машины — собака с одного бока от меня, девочка — с другого. Рене — на переднем сиденье, Гастон — за рулем. Машина подпрыгивала на неровной проселочной дороге, ведущей в лес, и когда меня стало бросать на Цезаря, в его горле заклокотало глухое ворчание — предвестник грозного рыка, и я спросил себя, сколько времени его врожденное достоинство будет держать его в рамках вежливости и как скоро мои невольные толчки выведут его из терпения.

— Что с Цезарем? — спросила Рене через плечо. — Почему он все время рычит?

— Папа его дразнит, — сказала Мари-Ноэль. — Да, папа?

— Ей-богу, нет. И не думаю, — возразил я.

— Эти недоученные собаки, у которых не кончилась натаска, легко приходят в возбуждение, — заметила Рене. — Не забывайте, ему

всего три года.

— Жозеф сказал мне два дня назад, — вступил в разговор Гастон, — что пес странно себя ведет. Несколько раз рычал на господина графа.

— Что мы будем делать, если он взбесится? — спросила Мари-Ноэль.

— Не взбесится, — сказал я, — но кому-нибудь придется следить, чтобы его не спускали с поводка.

Внезапно машина остановилась: мы были совсем близко от охотников, растянувшихся редкой цепочкой вдоль аллеи. Мы вышли, и я тут же почувствовал, что вообще не надо было здесь появляться, так как я не имел ни малейшего представления о том, что мне следует делать. Еще хуже было то, что, несмотря на мои указания, Цезаря выпустили из машины, и сейчас, как и тогда возле дома, он свободно бегал кругом в поисках хозяина.

— Ко мне, Цезарь! — позвал я.

Пес словно не слышал. Он бежал вдоль цепи, сопровождаемый сердитыми криками: «Ловите его!» — в растерянности оттого, что никто его не зовет. Рене неодобрительно поцокала языком:

— Право, Жан, вы даете ему слишком большую волю.

— Я знал, что брать его с собой было ошибкой, — сказал я. — Мари-Ноэль, сбегай приведи его.

Девочка еще не успела отойти, как из леса послышались крики, шум крыльев и прямо над нами пронеслись птицы. Воздух наполнили хлопки выстрелов, и на землю стала падать убитая дичь. Горожанин, попавший в чуждую ему обстановку, непривычный к полевой охоте, я инстинктивно пригнулся и закрыл глаза.

— Что с вами... вам дурно? — спросила Рене, но только я выпрямился, как Цезарь, забыв все, чему его учили, кинулся без приказа вперед, чтобы принести ближайшую птицу, которая, безусловно, — так сказал ему собачий рассудок — была добычей его хозяина. И тут же столкнулся, голова к голове, со своим утренним врагом, старым спаниелем, чей хозяин стоял справа от меня и, вероятно, подстрелил эту птицу. Только я выдавил из горла: «Цезарь!» — как между псами снова началась жуткая драка. Хозяин спаниеля, низенький старичок с пунцовым лицом, в куртке и мятой шляпе из твида, орал не умолкая:

— Отзовите вашу собаку!

И мы все трое — Рене, Мари-Ноэль и я — бросились разнимать бешено дерущихся псов, к которым присоединился еще один. Chasseur, вне себя от ярости, отбежал от нас, чтобы выстрелить в задержавшихся птиц, пролетавших над головой, но от волнения промахнулся, птицы свернули в сторону и опустились в какое-то укрытие далеко позади нас.

Охотник обернулся к нам, чуть не онемев от негодования.

— Для чего нас сюда пригласили, — закричал он, — чтобы издеваться над нами? Вы уже второй раз науськиваете свою собаку на мою. Я ухожу домой.

Наконец нам удалось вытащить Цезаря из свалки, и Рене вместе с Мари-Ноэль, хотя и с трудом, увела его с поля боя. Привлеченные собачьим лаем и яростными криками старичка в шляпе из твида, нас окружили остальные охотники, чтобы посмотреть, что произошло. В дальнем конце аллеи внезапно появился Поль; встревоженный, напуганный, он подошел к нам в тот момент, когда его гость, все еще красный от возмущения, с ружьем под мышкой и хромающей собакой позади, гордо и решительно удалялся по аллее в противоположную сторону.

— Что случилось с маркизом? — крикнул Поль. — Я специально поставил его на это место. Это его любимая позиция. Чем он недоволен?

В море лиц я различил одно знакомое; лицо человека в машине возле железнодорожной станции, который первый принял меня за Жана де Ге. Он улыбался. По-видимому, курьезное происшествие позабавило его.

— Жан валял дурака, — сказал он. — Я видел его, когда вылетели птицы. Он вертелся и крутился, чтобы развлечь вашу жену, а потом послал Цезаря за птицей маркиза, и пес сцепился со стариком Жюстином. Вряд ли маркиз теперь станет с вами разговаривать.

Поль обратился ко мне белое как бумага лицо.

— Что все это значит? — спросил он. — Раз ты сам не можешь охотиться, надо испортить удовольствие всем другим?

Рене вступилась за меня, что было ошибкой.

— Ты несправедлив, Поль! — вскричала она. — Жан вовсе не валял дурака. У него разболелась рука, и он чуть не потерял сознание.

А Цезарь совершенно перестал слушаться. С ним что-то случилось, как бы он не взбесился.

— Тогда надо его пристрелить, — сказал Поль. — А если Жану плохо, зачем вообще было выходить из дома?

Гости тактично отошли в сторону. Кому приятно слушать семейную ссору? Человек из Ле-Мана подмигнул мне и пожал плечами. Я увидел доктора Лебрена, он спешил к нам по аллее.

— Что случилось? — взволнованно спросил он. — Правда, что маркиз де Плесси-Бре прострелил себе ногу?

Поль что-то воскликнул и поспешил вниз за возмущенным гостем, чья приземистая фигура виднелась вдали, — не замедляя шага, он шел к далекой дорожке между живыми изгородями.

— Пожалуй, нам лучше вернуться домой, — сказал я Рене, но по ее лицу увидел, что она огорчилась; Мари-Ноэль тоже. Зачем еще и им портить день?

— Мы же только приехали, — сказала Рене. — Неужели вас задела слова Поля?

— Вы оставайтесь, — сказал я, — а с меня хватит. Ну-ка, передайте мне пса.

Я схватил бедного Цезаря за поводок, но тут впавший в немилость пес, бог знает как учуяв в лесу подранка, вдруг, чуть не выдернув мне руку, сделал огромный скачок, и мы оба нырнули в густой подлесок, темный, как обиталище ведьмы. Мне послышался предостерегающий крик Поля, но я ничего не мог поделать: моя судьба была связана с судьбой Цезаря, а его — с моей, и мы бежали вместе по лесу, пока, запыхавшись и выбившись из сил, не свалились на груды шишек. Цезарь смотрел на меня с собачьей улыбкой, роняя слюну, а затем, видя, что ему не грозят ни брань, ни побои, принялся зализывать раны, полученные в драке.

Я закурил сигарету, оперся спиной о ствол дерева и стал прикидывать, как далеко мы отошли от Сен-Жиля. Не слышно было ни голосов, ни выстрелов, ни птиц, ничего, кроме легкого и унылого шелеста дождя. Вскоре, мокрый и окоченевший, в забинтованной руке — пульсирующая боль, я заставил себя подняться на ноги и, не отпуская пса, стал снова продираться сквозь лесную чашу, чувствуя, как мой предшественник — поэт, что это исчадие ада будет моей

неотступной тенью денно и ночью до конца моих дней, что я не избавлюсь от него никогда.

На плачущем небе не было ни одного просвета, чтобы я мог найти направление. Я не знал, куда мы идем: на север, на юг, на восток или запад. От Цезаря было мало толку. Все еще на поводке, он трусил рядом со мной, послушный, как пудель, останавливался тогда же, когда и я, приноравливался к моему шагу. Внезапно он сделал стойку, и чуть ли не из-под моих ног вылетел фазан и в панике скрылся в подлеске перед нами. Когда мы переходили полосу невысоких деревьев, мы испугнули еще одну птицу, затем еще одну — видимо, мы случайно набрали на фазанье убежище. Я услышал вдалеке крики, потом выстрел, но звуки доносились слева, а испуганные птицы свернули направо от меня.

Я заметил, что деревья наконец кончаются. Перед нами была одна из широких просек, на которые я надеялся выйти гораздо раньше. Мы выбрались на нее, мокрые, заляпанные грязью, покрытые листьями и веточками, как браконьер и его дворняга. И тут я увидел, не дальше чем в двадцати шагах, Поля и Робера, с ужасом глядящих на нас, а вдоль дороги — застывших, как часовые на посту, охотников, ожидающих в своем неведении птиц, которых я раньше времени поднял.

Глава 17

Откуда-то появился Гастон с машиной. У него была с собой также фляжка, которую я видел в Ле-Мане, вновь наполненная коньяком; я пролотил его, сидя ссутулившись на заднем сиденье «рено». Сквозь покрытое изморосью ветровое стекло я наблюдал, как понурые фигуры упустивших свои трофеи охотников исчезают в лесу в надежде найти добычу, которая легче дастся им в руки. Преданный Гастон, озабоченно всматриваясь в мое лицо, предложил сразу же вызвать ко мне Лебрена, но он неверно расшифровал мои симптомы; рука больше не тревожила меня, и жара тоже не было; коньяк был тем самым лекарством, в котором я нуждался.

Вскоре фляжка опустела; мы снова ныряли из ухаба в ухаб по грязной дороге. Я вспоминаю низкое строение фермы, возле которого уже было полно машин, и ждущего у порога арендатора — огромного, краснолицего, типичного французского крестьянина — рядом с крошечной болтушкой-женой. Они завели меня в большущий амбар, и едва я успел пристроиться в дальнем углу, где был заслонен от запахнутых дверей, как туда ввалились мокрые до нитки, усталые и умирающие от жажды охотники, подняв такой галдеж, что зазвенели стропила. Слуги из замка обносили всех вином, которое привез Гастон. Я помню, что с одной стороны от меня была Рене, а с другой — тот человек из Ле-Мана, и Рене во всех подробностях рассказывала ему историю с костром. Она объяснила ему, что с тех пор я нахожусь почти в бредовом состоянии, но никто не понимает этого, кроме нее. Не успела она кончить, как человек из Ле-Мана принялся разглагольствовать о крупных финансовых операциях, удачной игре на бирже, успешных коммерческих авантюрах. У меня голова шла кругом. Здесь, рядом со мной, единственный человек, который может мне помочь, — несомненно, он тот самый, о котором говорила мне Бела, — а я не знаю ни имени его, ни чем он занимается.

— Я сегодня ночью лечу в Лондон, — сказал он. — Обычная ежемесячная поездка. Если могу что-нибудь для вас там сделать, вы знаете, где меня найти.

Отуманенный алкоголем, я на один безумный миг вообразил, что он проник в мою тайну, и изумленно, во все глаза поглядел на него, затем схватил за рукав и сказал:

— На что вы намекаете? Что вы имеете в виду?

— Обмен валюты, — сразу ответил он. — Если у вас есть в Англии друзья, я знаю, как это сделать. Ничего не может быть проще.

— Друзья? — повторил я. — Конечно, у меня есть там друзья. — И глупо улыбнулся; я увидел, что я в безопасности.

Разумеется, он ни о чем не догадался, разумеется, он не понимает, о чем идет речь.

— У меня есть в Лондоне очень близкий друг. Он живет неподалеку от Британского музея, — сказал я. — Он с удовольствием обменял бы фунты на франки, вопрос — где их достать?

И так как говорил я о самом себе, сидящем с ним рядом, и моя шутка казалась мне на редкость смешной, я добавил:

— Дайте мне перо и клочок бумаги.

Он протянул мне записную книжку и вечное перо, и я старательно, печатными буквами, написал свое имя и адрес и, вернув ему записную книжку, с пьяной серьезностью сказал:

— Любая услуга, которую вы ему окажете, это услуга мне самому. Мы с ним ближе, чем братья. — И разразился громким смехом: надо же быть таким ослом, чтобы не понять, о чем я говорю. Тут я почувствовал, что кто-то трогает меня за локоть. Это была Мари-Ноэль, она сказала:

— Дядя Поль хочет знать, кто будет произносить речь — ты или он?

Но прежде чем я ответил, коммерсант уже хлопал в ладоши, и внезапно все, кто был в амбаре, принялись топтать ногами и хлопать, а коммерсант поглаживал меня по плечу, говоря:

— Давайте, Жан, за вами речь.

Окруженный морем лиц, в голове — пьяный чад, я думал: «Вот где я покажу, кто настоящий сеньор Сен-Жиля. Возможно, утреннюю охоту я и сорвал, но сейчас я в полной форме».

— Mesdames et messieurs, ^[52] — начал я, — вновь, с чувством гордости и удовлетворения, я приветствую вас в этот знаменательный день, и хотя, увы, несчастный случай помешал мне принять личное участие в сегодняшнем событии, меня утешает тот факт, что мой брат

Поль столь успешно подменил меня. Не так-то легко занимать чужое место, можете мне поверить. Я еще раз убедился в этом своими глазами, когда вчера утром ездил в verrerie проверять счета... — Я приостановился. О чем я, черт подери, говорю? Мои два «я» слились в одно. — Но как бы то ни было, — стараясь выбраться из затруднения, продолжал я, — я хотел сказать не о verrerie, а о вашей меткой стрельбе.

Я почувствовал, что кто-то дергает меня за рукав, — это был коммерсант. Красный как рак, изменившись в лице, он показывал жестами, чтобы я кончал, затем шепнул мне на ухо:

— Вы с ума сошли, кретин!

Передо мной были и другие лица, удивленные, встревоженные, и тут только до меня дошло, что речь моя вряд ли имеет успех и лучше всего будет, если я поскорей ее кончу какой-нибудь шуточной фразой.

— В заключение, — сказал я, поднимая бокал, — я хочу добавить одно: моя обожженная рука помешала еще большему несчастью. Маркиз поступил благоразумно, отправившись домой. Если бы в моих руках было ружье... — Я замолчал для пущего эффекта. — ...Многие из тех, кто здесь находится, вряд ли остались бы в живых.

Я остановился, почувствовав облегчение от того, что я высказал вслух правду. Но почему никто не аплодирует? Странно. Конечно, шутка моя оставляет желать лучшего, но простая учтивость требует хотя бы вид сделать, что она хороша. Однако вместо хлопков послышалось шарканье ног — гости стали подвигаться к дверям и выходить наружу, как будто в амбаре вдруг сделалось невыносимо жарко и душно и их потянуло на воздух. Конечно, сказал я, увы, немного, но, хоть убей, я не мог понять, что в этих немногих словах могло их обидеть.

Рядом со мной опять очутилась Рене, тут же был доктор Лебрэн.

— Боюсь, у вас легкий приступ лихорадки, — сказал он. — Самым разумным было бы как можно быстрее вернуться в замок.

— Чепуха, — возразил я, — рука не причиняет мне никакой боли.

— Все равно, — сказал он, — будет разумнее лечь в постель.

Я был не в состоянии спорить. Я позволил Гастону проводить меня до машины, и, когда мы выезжали со двора фермы, я увидел наших гостей, идущих вразброд, каждый в место, назначенное ему для слепополуденной охоты. Все еще лил дождь, и я им не завидовал.

— Похоже, что моя речь не очень пришлась по вкусу, — сказал я молча сидевшему рядом со мной Гастону, отчасти оправдываясь, отчасти желая обратить это в повод для смеха.

С минуту Гастон молчал, затем уголок рта дернулся.

— Вы хлебнули лишнее, господин граф, — сказал он, — вот и все, — словно это оправдывало меня.

— Очень было заметно? — спросил я.

Я скорее почувствовал, чем увидел, что он пожал плечами.

— Люди легко обижаются, — сказал Гастон, — особенно если затронуть прошлое. Не стоит смешивать войну и мир и превращать это в шутку.

— Но я не делал ничего подобного, — сказал я, — я говорил совсем о другом.

— Простите, господин граф, — сказал Гастон. — Значит, я вас неправильно понял. Они тоже.

Остальные несколько миль мы проехали в молчании. Когда я выходил из машины, а Гастон стоял, ожидая дальнейших распоряжений, мне вдруг пришло в голову, что, возможно, далеко не все гости вернутся в замок к обеду. Вероятно, многие из них под каким-нибудь предлогом отправятся прямо домой. Я поделился своей мыслью с Гастоном.

— Это одна из тех вещей, господин граф, — сказал он, — которую лучше оставить на их личное усмотрение. Во всяком случае, даже если в столовую промочить горло придут немногие, то кухня, могу поручиться, будет набита битком.

Я поднялся наверх и тихонько вошел в гардеробную, боясь потревожить Франсуазу. Кинувшись на кровать, я моментально уснул. Проснулся я от чьего-то шепота прямо в ухо. Сперва еле слышный, он сливался с тающим сном. Затем стал громче, и, раскрыв глаза, я увидел, что в комнате темно и за окном по-прежнему идет дождь. У кровати стояла чья-то фигура. Это была Жермена, маленькая *femme de chambre*.

— Скорее идемте, господин граф, — услышал я. — Госпоже графине плохо. Она зовет вас.

Я тут нее сел на кровати, включил свет. У Жермены был испуганный вид; я не понимал, почему за мной пришла она, а не Шарлотта.

— Где Шарлотта? — спросил я. — Она послала вас за мной?

— Шарлотта внизу, господин граф, — прошептала Жермена. — В кухне полно людей, все едят и пьют; это люди, что были сегодня на охоте, и Шарлотта велела мне остаться с госпожой графиней, потому что сама хотела пойти вниз. Не так уж часто, сказала она, в замке бывают гости, ничего со мной не будет, если я разок посижу наверху, вдруг госпоже графине что-нибудь понадобится, хотя она все равно спит и все будет в порядке.

Я уже поднялся и с трудом надевал пиджак.

— Который час? — спросил я.

— Девятый, господин граф, — сказала она. — В столовой еще остался кое-кто из гостей с мсье Полем и мадам Поль; мадемуазель Бланш тоже там. Пришло не так много, как ожидали. Гастон объяснил нам, что многие ушли домой, так как промокли до костей и потому также, что вы, господин граф, не совсем хорошо себя чувствуете и все идет не так, как всегда.

Я поправил галстук, пригладил ладонью волосы. По крайней мере, я был опять трезв.

— Что с госпожой графиней? — спросил я.

— Не знаю, господин граф, не знаю, — ответила горничная, и у нее снова сделался испуганный вид. — Она спала, но вдруг стала стонать и звать Шарлотту, но Шарлотта не велела мне за ней ходить, поэтому я подошла к кровати и спросила, не могу ли я ей чем-нибудь помочь. Я солгала ей, я сказала, что мне никак не найти Шарлотту. Тогда она велела позвать вас; не мадемуазель Бланш, не доктора или еще кого-нибудь, только Шарлотту или вас, господин граф, и сказала, чтобы вы сразу пришли, неважно, где вы и чем заняты. Я очень испугалась, так плохо она выглядит.

Жермена вышла следом за мной из гардеробной, и мы поднялись по лестнице. Снизу, из кухни, доносился веселый шум, такой непривычный в Сен-Жиле, обычно погруженном в тишину. Мы прошли через двустворчатые двери в третий коридор, и тут же музыка и смех прекратились. Сюда не было доступа звукам и яркому свету, эта часть замка жила особняком, и веселье внизу ее не касалось.

Подойдя к двери, я приостановился — что-то говорило мне, что зайти туда я должен один, — и попросил Жермену подождать в коридоре. В комнате было темно, лишь отблеск догорающих в печи

углей позволил мне увидеть очертания мебели и кровати; я не хотел тревожить графиню и не стал зажигать лампу, а подошел к окну и приоткрыл ставень — на ковер упала бледная полоска света и немного рассеяла тьму. Когда я открывал ставни, я слышал ровный шум дождя; вода бежала по кровельным желобам, кружа и сталкивая листья, несла их вниз по водосточной трубе, чтобы они изверглись изо рта горгульи, в точности так, как я представлял это, думая о зиме. Взглянув в окно, я увидел, что пал туман. Возвышавшийся над парком замок, отгороженный со всех сторон сухим рвом, был похож на окутанный белесой мглой мертвый остров.

Из глубины огромной кровати до меня донесся голос графини, слабый и почему-то гортанный:

— Кто там?

— Я, Жан.

Я отодвинулся от окна, подошел к ней. Я видел только контуры тела, лицо было скрыто.

— Мне плохо, — сказала она, — почему ты не пришел раньше?

Ее слова: «Le souffre» ^[53] — трудно передать на другом языке — они говорят и о физической, и о душевной боли.

— Чем я могу вам помочь? — спросил я.

Она беспокойно зашевелилась, я встал на колени возле кровати и взял ее за руку.

— Ты прекрасно знаешь чем, — сказала она.

На столике возле кровати лежали лекарства, и я растерянно взглянул туда, но она нетерпеливо, раздраженно махнула рукой и застонала, перекатывая голову по подушке.

— Шарлотта держит его в гардеробной, — сказала она, — в ящике шкафчика. Неужели ты забыл, где оно лежит?

Я встал с пола, вышел в гардеробную и включил свет. В комнате был всего один шкафчик с одним ящиком. Я его открыл. Внутри находились две коробки, одна из них с наполовину сорванной оберткой. Я сразу ее узнал. Это была та самая обертка, которая скрывала подарок в чемодане, подарок, переданный мной Шарлотте из рук в руки в мой первый вечер в замке. Я снял ее и открыл коробку. Она была полна небольших ампул, лежащих одна на другой между слоями ваты. В них была жидкость, какая — говорила этикетка с надписью: «Морфий». Я открыл вторую коробку и увидел шприц для

подкожных впрыскиваний. Больше в ящике не было ничего. Я стоял там, уставясь в одну точку, но тут из спальни донесся голос графини:

— Жан, почему ты не идешь?

Я медленно вынул из коробки шприц, затем одну из ампул и положил их на столик рядом с ватой и бутылочкой со спиртом. Во время войны, когда мне часто приходилось пускать все это в ход, стоя на коленях возле врача в противоздушном убежище или в карете «скорой помощи», я никогда не испытывал того отвращения, что овладело мной сейчас. Тогда мы прибегали к этому из сострадания, чтобы приглушить боль. Сейчас все было иным. Наконец-то я понял, какой подарок Жан де Ге привез матери из Парижа. Но его мать не умирала, не была больна. И не страдала от боли.

Я вернулся в комнату и зажег лампу, скрытую, оказывается, в драпировках кровати. Лежащая на ней женщина ничем не напоминала ту владычицу замка, что горделиво стояла рядом со мной на террасе сегодня утром; серая, старая, напуганная, она беспокойно перебирала руками, уставившись в пространство, и без конца мотала из стороны в сторону головой, перекатывая ее по подушке ужасным, каким-то нечеловеческим движением, как зверь, которого долго держали в клетке без пищи, воды и света.

— Чего ты ждешь? — сказала она. — Почему ты медлишь?

Я встал рядом с ней на колени. Ожог не имел больше значения, я подсунул обе руки ей под затылок и повернул ее голову так, что она не могла больше метаться, была вынуждена смотреть на меня.

— Я не хочу больше этого делать, — сказал я.

— Почему?

Застывшие глаза вглядывались в мои, тяжелое лицо, серое, с обвисшей кожей, казалось, мнетя, перекашивается, искажается, как бумажная маска, надетая на чучело Гая Фокса, которое с криками таскают мальчишки по туманным лондонским улицам. Мне чудилось, когда я глядел на нее, что кожа ее на ощупь так же мертва, глаза не глаза, а орбиты, рот — зияющая дыра, спутанные, растрепанные космы — парик из конских волос, и существо, которое я держу в руках, лишь оболочка человека — без жизни и без чувства. Но где-то под этой оболочкой была искорка света, которая мерцала слабей, чем последняя крупинка пепла в костре. Она была скрыта от меня, но она существовала, и я не хотел, чтобы она погасла.

— Почему?

На этот раз в голосе графини звучала мука, она подтянулась в кровати повыше и вцепилась мне в плечи. Маска стала лицом, ее лицом, и моим, и лицом Мари-Ноэль. Мы, все трое, были вместе, вместе выплывали из ее глаз, и голос ее не был больше низким и гортанным, это был голос Мари-Ноэль, когда она спросила меня в мой первый вечер в замке: «Папа, почему ты не пришел пожелать мне доброй ночи?»

Я встал и вышел в ванную комнату. Сломал горлышко ампулы и наполнил шприц; затем вернулся и протер ей руку спиртом, как делал это во время войны. Вогнал иглу, нажал на поршень и стал ждать; графиня откинулась на подушки и тоже ждала. Веки ее задрожали, и вдруг, прежде чем их закрыть, она взглянула на меня и улыбнулась. Я отнес шприц в гардеробную, вымыл и положил обратно в коробку, пустую ампулу сунул в карман. Потом закрыл дверь, вошел в спальню и снова встал возле кровати. Страдание покинуло ее лицо, сходство исчезло. Она не была ни Мари-Ноэль, ни я, ни мать Жана де Ге; она была просто спящая женщина, впавшая в беспамятство, не чувствующая боли. Я подошел к окну и распахнул ставни. Дождь барабанил по крыше и водосточным желобам, изливался изо рта горгульи, наполняя пустой ров; не слышно было ни звука, кроме шума дождя. Я посмотрел на свою забинтованную руку, которую я вчера сунул в огонь из трусости и стыда за то, что она меня подвела, и подумал, что сегодняшней поступок еще более труслив и постыден. Сколько я ни старался убедить себя в том, что я был движим состраданием и жалостью, это было не так. Я знал, что я сделал то, что сын с матерью делали уже не раз до меня, — я пошел по самому легкому пути.

Я вышел за дверь и увидел, что Жермена все еще меня ждет. Я сказал ей:

— Все в порядке, госпожа графиня уснула. Я оставил в комнате свет. Она не заметит. Посидите у печки, пока не придет Шарлотта.

Я прошел по коридору и через двустворчатую дверь вышел на площадку черной лестницы, из задних помещений замка до меня снова донеслись музыка и смех. В гостиной тоже раздавались голоса — по-видимому, гости еще не разошлись, — и в тот момент, когда я выходил на террасу, дверь гостиной распахнулась, голоса зазвучали

громче, снова притихли — дверь закрылась, и рядом со мной оказалась Мари-Ноэль.

— Куда ты? — спросила она.

Она переоделась в голубое шелковое платье, белые носки и туфельки с острыми носами. На шее у нее висел золотой крестик, а на стриженных белокурых волосах была повязана голубая бархатная лента. Лицо девочки пылало от возбуждения. Это был ее первый праздничный вечер, она помогала занимать гостей. Я вспомнил про обещание, данное ей два дня назад.

— Не знаю, — сказал я, — возможно, я не вернусь.

Она сразу поняла, что я имею в виду; румянец схлынул с лица, и она бросилась ко мне, чтобы схватить за руки. Но тут же вспомнила про ожог и осталась на месте.

— Из-за того, что случилось на охоте? — спросила она.

Я уже успел забыть бесплодное утро, нелепость моего поведения, загубленное мной удовольствие приглашенных на охоту гостей, коньяк и вино и неуместную браваду своей речи.

— Нет, — сказал я, — охота тут ни при чем.

Мари-Ноэль продолжала смотреть на меня, стиснув руки, затем сказала:

— Возьми меня с собой.

— Как я могу? — сказал я. — Я сам не знаю, куда я направлюсь.

Дождь еще припустил, на ее худенькие плечи в нарядном шелковом платье низвергались струи воды.

— Пойдешь пешком? — спросила она. — Ты же не можешь вести машину.

Ее бесхитростный вопрос заставил меня понять, что на самом-то деле у меня нет никаких определенных планов. Как, действительно, я выберусь отсюда? Я вышел из спальни графини и спустился вниз с одной-единственной мыслью: я должен как можно скорей покинуть замок, как — об этом я не думал. Но моя идиотская выходка с рукой сделала меня узником в его стенах.

— Видишь, — сказала девочка, — это не так-то легко.

Да, все оказалось трудно: и быть самим собой, и быть Жаном де Ге. Мне не было суждено стать сыном женщины наверху или отцом стоящего передо мной ребенка. Это не моя семья; у меня нет семьи. Да, я оказался сообщником Жана де Ге в запутанной практической

шутке, но это вовсе не значит, что я должен быть ее жертвой. Как раз наоборот. Почему это расплачиваться мне, а не им? Я никак с ними не связан.

Голоса в гостиной опять зазвучали громко. Мари-Ноэль оглянулась через плечо.

— Гости начинают прощаться, — сказала она. — Тебе придется решить, что ты намерен делать.

Внезапно она перестала казаться ребенком, передо мной был кто-то старый и мудрый, кто-то, кого я знал в другом веке, в другие времена. Я не хотел, чтобы так было, это причиняло мне боль. Я хотел, чтобы она оставалась чужой.

— Еще не настало время меня бросить, — сказала девочка. — Подожди, пока я повзрелею. Ждать осталось недолго.

В холле послышались шаги, кто-то подошел и встал у входа. Это была Бланш. На ее волосы падал свет от фонаря над дверьми, тончайшие ниточки воды прочеркивали наискось конус света и исчезали во тьме на ступенях.

— Ты простудишься, — сказала Бланш, — иди в дом.

Она не видела меня, только ребенка, и, полагая, что они с Мари-Ноэль одни, говорила с ней голосом, какого я никогда у нее не слышал. Он был ласковый, нежный, в нем не осталось жестких и резких нот. Можно было подумать, что это другой человек.

— Вот-вот все уйдут. Потерпи еще немного. Тебе осталось примерно себя вести каких-нибудь несколько минут. А потом, если папа еще спит, я поднимусь к тебе и прочитаю.

Бланш повернулась и вошла в дом. Мари-Ноэль посмотрела на меня.

— Иди, иди, — сказал я, — делай, что говорит тетя. Я тебя не оставлю.

Она улыбнулась. Странно, ее улыбка что-то напомнила мне, но что? И тут я вспомнил: точно такую же улыбку я видел всего десять минут назад в комнате наверху. Обе отражали одно: избавление от боли... Мари-Ноэль побежала в дом следом за Бланш.

Со стороны деревни подъехала какая-то машина. Когда она поворачивала к въезду под аркой, фары, должно быть, выхватили меня из темноты, так как машина — это был наш «рено» — остановилась и

оттуда вышел Гастон. Вид у него был сконфуженный, лицо покраснело.

— Я не знал, что господин граф спустился, — сказал он. — Простите, но так лило, что я отвез обратно в *vergerie* мадам Ив и еще несколько пожилых людей, которые отмечали сегодняшней день вместе с нами. Я не спросил у вас разрешения. Не хотел беспокоить вас.

— Все в порядке, — сказал я. — Я рад, что вы отвезли их домой.

Гастон подошел ближе, всмотрелся в мое лицо.

— У вас расстроенный вид, господин граф. Что-нибудь случилось? Вам все еще нездоровится?

— Нет, — сказал я, — просто... сочетание обстоятельств. — Я махнул рукой на замок. Мне было безразлично, что он подумает. Я не был уверен даже в том, что думаю сам.

— Простите меня, — мягко сказал Гастон, словно желая меня подбодрить, хотя в голосе его была неуверенность. — Я не хочу быть нескромным, но... не желает ли господин граф, чтобы я отвез его в Виллар?

Я молчал, не понимая, о чем он говорит, надеясь, что следующие его слова прояснят смысл этой фразы.

— У вас был тяжелый день, господин граф, — продолжал он. — Здесь, в замке, все думают, что вы спите. Если я отвезу вас сейчас в Виллар, вы проведете несколько часов в удобстве и покое, а рано утром я заеду за вами туда. Я предлагаю это только потому, что сейчас вы не можете сами вести машину.

Он деликатно отвел глаза, будто просил прощения, и я тут же понял, что в том смятенном состоянии ума и духа, в котором я находился, это было настолько идеальным решением, что Гастон и не ожидал от меня никаких слов, даже слов согласия.

Он вернулся к машине, дал задний ход и подвел ее к террасе. Открыв дверцу, я забрался внутрь, и в то время, как под шум дождя, барабанившего по ветровому стеклу, мы молча ехали во тьме по направлению к Виллару, я подумал, что во мне не осталось и частицы того меня, который сменил свое «я» на чужое в номере гостиницы в Ле-Мане. Все мои поступки, инстинкты, слабости не были больше мои — так чувствовать и поступать мог только Жан де Ге.

Глава 18

В первую секунду я решил, что это плещет дождь, извергающийся из зева горгульи, унося с собой мусор, скопившийся за год, что сама горгулья с плоскими остроконечными ушами трещит у основания, камень крошится и рассыпается под напором воды. Затем кошмар рассеялся, я увидел, что наступил день и шумит вода, пущенная Белой в ванну. Ночной мрак исчез, а с ним и дождь, раннее утреннее солнце золотило крыши.

Я откинулся назад, заложив руку за голову. В открытое окно мне были видны неровные очертания крыш, желтая от лишайника черепица, покосившиеся печные трубы, слуховые окна, а позади — возвышающийся над городком желобчатый шпиль церкви. Снизу, с улицы, доносились первые звуки пробуждающегося дня: распахивались ставни, на мостовую с шумом лилась вода из шланга, слышались чьи-то шаги, чей-то свист — в неторопливом рыночном городке начиналась очередная неделя. Журчание наполняющей ванну воды приятно сливалось с бодрыми уличными звуками, мной владела ленивая умиротворенность, я знал, что рядом, так близко, что стоит мне крикнуть — и она тут же закроет кран и подойдет ко мне, находится та, кто никогда не задает вопросов, кто принимает меня таким, какой я есть, участником ее жизни от случая к случаю, в зависимости от времени и настроения — моего, не ее. Так взрослый человек откладывает в сторону свое занятие, чтобы поиграть с любимым ребенком. Моя рука, не тронутая никем накануне, была заново обработана и перевязана, шелковая повязка приятно холодила кожу; чувство, что за мной ухаживают, проявляют заботу и ничего от меня не требуют, не заявляют на меня никаких прав, было непривычно как для старого моего «я», так и для нового. Мне не хотелось расставаться с этим чувством, я хотел смаковать это новое для меня лакомство как можно дольше.

Я слышал, как Бела распахнула ставни в комнате напротив, как, болтая с ними, вынесла на балкон клетку с птицами, чей щебет звучал вариацией на тему бегущей воды. Я позвал ее, и она тут же пришла ко мне — на ней был пеньюар и домашние туфли — и, наклонясь,

поцеловала меня с безмятежностью человека, у которого ты под присмотром, чьи рассудок и сердце ничто не тревожит.

— Ты хорошо спал? — спросила она.

— Да, — ответил я.

Какое наслаждение было касаться ее рук и плеч, голых под свободно ниспадающими рукавами, вдыхать аромат абрикосов, идущий от ее тела, и знать, что благодаря ей я вступил в иное измерение, которое не было частью первого мира или второго, но каким-то неведомым образом, как футляр китайской головоломки, заключало в себе их оба.

— Я сейчас сварю тебе кофе, — сказала Бела, — а как только придет Винсент, пошлю его в булочную в том конце улицы за рогаликами. Рука не болит? Прекрасно. Я перевяжу ее опять перед тем, как ты уедешь.

И она исчезла, а я вновь погрузился в сладкий дремотный покой.

У Белы было одно прекрасное свойство — ее ничто не могло застать врасплох. Вчера вечером, когда Гастон высадил меня у городских ворот и я, перейдя канал по пешеходному мостику, постучал в закрытое ставнем окно, она немедленно его открыла, без испуга, без удивления. Заметив мою забинтованную руку и то, что я едва держусь на ногах, она молча указала мне на то глубокое кресло, где я сидел в первый раз, и тут же принесла мне вина. Она не задала ни одного вопроса, и первым молчание нарушил я; пошарив в кармане, вытащил ампулу с отбитым кончиком и бросил в мусорную корзину.

— Я когда-нибудь говорил тебе, что моя мать — морфинистка? — спросил я.

— Нет, — ответила Бела, — но я догадывалась.

— Почему?

Она колебалась.

— По некоторым намекам, которые ты ронял время от времени. Я не хотела вмешиваться. Это меня не касается.

Голос ее был деловой, спокойный, словно она хотела предупредить меня: все, что Жан де Ге сочтет нужным сообщить ей, она примет без похвалы или порицания и свое мнение оставит при себе.

— Если бы ты узнала, — сказал я, — что я снабжал ее морфием, привозил его из Парижа в подарок, как я привез тебе духи, ты бы очень меня осудила?

— Я ни за что не осуждаю тебя, Жан, — ответила она. — Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы меня мог оттолкнуть хоть какой-нибудь твой поступок.

Бела глядела на меня, не отводя глаз. Я наклонился и взял сигарету из коробки, стоявшей на столике возле меня.

— Сегодня утром она спустилась и пошла вместе со всеми к мессе, — сказал я, — а затем принимала гостей на террасе — под дождем, человек пятьдесят. Она выглядела как королева. Сделала она это, разумеется, назло Рене, чтобы испортить ей праздник. Рене хотела играть роль хозяйки, ведь Франсуаза больна и не встает. Вечером маленькая *femme de chambre* позвала меня к ней — ее личная горничная Шарлотта была внизу... Я поднялся; оказалось... — Я замолчал, все снова возникло у меня перед глазами: темная, душная спальня, гардеробная, шкафчик над раковиной... — ...Оказалось, что она хочет получить от меня вот это. — Я глядел на мусорную корзинку, куда бросил ампулу.

— И получила?

— Да.

Бела ничего не сказала, она продолжала глядеть на меня.

— Вот почему я пришел к тебе, — продолжал я, — из жалости к себе и отвращения.

— Ты должен сам найти, как с этим бороться. Я не могу служить слабительным, чтобы очистить тебя.

— Но раньше ты это делала.

— Да?

Возможно, у меня разыгралось воображение, но мне казалось, что Бела говорит со мной жестче, более резко, чем два дня назад. Или просто без интереса, безразлично?

— Хотел бы я знать, сколько раз, — сказал я, — я приходил к тебе, в этот дом, желая забыть, что происходит в замке, и достигал желанного забвения благодаря тому, что находил здесь.

Я представлял, как он оставляет машину у городских ворот, проходит по узкому мостику и стучит в окно, как вчера вечером — я,

сбрасывая с себя всю вину, все заботы, как только он переступает порог, избавляясь от всех тревог, как сейчас хотел сделать я.

— Какая разница, — сказала Бела, — брось об этом думать. Прошлое настоящему не поможет. К тому же ты в пятницу говорил, что, возможно, твои трудности в будущем облегчатся, что ты собираешься решать свои проблемы другим путем. Может быть, новый Жан де Ге в результате добился успеха?

Теперь она улыбалась, и насмешка, проскользнувшая в ее голосе, показала мне, что Бела в него не верит и никогда не поверит, а потому и не приняла всерьез то, что я говорил ей о своем желании спасти *vergerie* и охранить рабочих, отмела это как пустую минутную причуду, порожденную опьянением.

— Нет, он потерпел фиаско, — сказал я, — точно так же, как раньше. Он дает своей семье то, что они просят, и не только матери, дочери — тоже. Из-за трусости, из-за нерешительности. Разница в том, что раньше это делалось весело и привлекало к нему людей. Сейчас это делается неохотно, с отвращением.

— Возможно, это шаг к успеху, — сказала Бела, — все зависит от точки зрения.

Улыбка постепенно исчезла с ее лица, насмешка — из ее голоса. Она подошла ко мне, взяла мою руку и сказала:

— Значит, ты не охотился сегодня. Хочешь, я перевяжу тебя заново? Я слышала, ты обжегся.

— Кто тебе сказал? — спросил я.

— Один из *chasseurs*, — сказала Бела, — кто не очень был доволен на этот раз и после завтрака в амбаре решил вернуться домой, в Виллар.

Говоря это, она разбинтовывала повязку.

— Не думаю, что тебе все еще больно, — сказала она, — но все же лучше ее перевязать. Это в моих силах, пусть я и не могу освободить тебя от грехов.

Бела вышла из комнаты, и я спросил себя, насколько лучше меня знал ее Жан де Ге и долго ли длилась их близость — месяцы, годы? И кто был мужчина в военной форме на фотографии над камином, с надписью наискосок: «Жорж», — ее покойный муж? Больше всего мне хотелось узнать, какой ценой добился ее тот, кем я не был, любила ли

она его или презирала, принимала таким, как он есть, или просто терпела.

Бела вернулась, держа в руках все, что требовалось для перевязки, и, встав коленями на пол рядом с моим креслом, принялась перебинтовывать руку не менее умело, чем Бланш. И тут я сказал:

— Я обжегся нарочно. Я не хотел стрелять.

Уж теперь-то в ее правдивых глазах вспыхнет удивление — ведь ее Жан де Ге, которого она так хорошо знала, чей характер и образ действий не вызывали у нее возмущения, предстал перед ней в новом свете и уж во всяком случае познакомил с неожиданной для нее чертой.

— Почему? — спросила она. — Боялся промахнуться?

Правда, услышанная из ее уст, произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Я молча ждал, пока она забинтует руку, затем в замешательстве высвободил ее.

— Однажды, — сказала Бела, — после такой же попойки, как в Ле-Мане, ты ни прицелиться не смог бы, ни удержать в руках ружье, и ты придумал какой-то предлог, не помню какой, чтобы не участвовать в охоте. Это было не в Сен-Жиле, а где-то за Мондубло. Совать руку в огонь — довольно крутая мера. Но возможно, тот, кто за все в ответе, смотрел на это как на жертвоприношение?

В голосе Белы снова звучала ирония, и, поднявшись на ноги, она потрепала меня по плечу ласково, но небрежно.

— Подбодрись, — сказала она, — садись снова в кресло и докуривай сигарету. Если я не ошибаюсь, днем ты выпил куда больше, чем съел, так что сейчас вполне справишься с омлетом.

Значит, о моей речи в амбаре ей тоже известно и о том, что никто не хлопал, и о том, как растаяли гости. Рассказать ей об этом мог кто угодно, тот же коммерсант или взбешенный маркиз Плесси-Бре. Какая разница? Позор был вполне оправдан, владелец Сен-Жиля не придал блеска этому дню.

Я прошел следом за Белой в кухоньку и смотрел, как она готовит омлет.

— Так или иначе, — сказал я ей, — я нарушил свое правило и не стал утолять алчность гостей — ведь они ждали от меня лести и бессмысленных банальностей, которые произносятся в подобных

случаях. Я старался быть правдивым. Я и представить себе не мог, что это до такой степени выведет их из равновесия.

— Правда глаза колет, — ответила Бела. — Кто-кто, а уж ты должен это знать. А во время завтрака на охоте говорить то, что ты сказал, было совсем некстати.

— Я не виноват, — продолжал я, — если моя правда совпала с их правдой. Да и что я такого сказал? Что если бы в моих руках оказалось ружье, многих из них к вечеру не было бы в живых.

Бела деловито взбивала яйцо вилкой.

— Согласись, что слова эти, обращенные бывшим вожаком Сопротивления к известным всем коллаборационистам, звучали несколько странно.

Я тупо уставился на нее. Тогда, в амбаре, я чуть не выболтал правду о себе самом; я вовсе не собирался складывать кусочки головоломки, чтобы получить картину прошлого Жана де Ге.

— Но я совсем не об этом говорил, — сказал я, снова видя перед собой сквозь винные испарения и сигаретный дым, застилавший амбар, отдельные напряженные лица среди других, сохраняющих невозмутимость. — Я совсем не об этом говорил.

— Так они тебя поняли, — возразила Бела, и смешинки в глубине ее глаз напомнили мне усмешку Гастона. Она ни одобряла, ни порицала; что было, то было. — Не спрашивай меня, заслужили ли они это, неважно — сознательно ты ткнул их в больное место или нет. Я не знаю, что тогда происходило в Сен-Жиле, я все еще пыталась выбраться из Венгрии.

Венгрии? Это, по крайней мере, объясняло ее имя, хотя почему у нее имя было мужское, я все равно не понимал.

Бела вылила яйцо на сковородку и теперь стояла с миской и вилкой в руках, глядя на меня.

— Если твое вновь обретенное чувство ответственности требует восстановить справедливость, — сказала она, — есть лишь один человек, который может тебе помочь, — твоя сестра Бланш.

С минуту Бела молча глядела на меня в упор, затем отвернулась к плите. И годы, ушедшие в прошлое, годы, куда я не имел права вторгаться, казалось, слились в единое целое, как яйца, масло и зелень на сковороде. Никогда больше не отделятся они один от другого,

никогда я не смогу рассматривать их поодиночке. Я отвечал за настоящее, а не за прошлое семьи.

— Ты надолго можешь остаться?

— До утра.

— И не будет никаких расспросов? Как насчет возмущенной жены и любопытной маман?

— Нет. Об этом позаботится Гастон.

Бела переложила омлет на тарелку, поставила ее на поднос, а поднос — на столик возле кресла в крошечной гостиной; тут же откупорила бутылку и налила мне вина.

— Итак, новый Жан, — сказала она, — вырвался из-под власти семьи?

— Он никогда не был в ее власти, — возразил я.

— Тут ты ошибаешься, — сказала Бела. — Семейные узы нелегко разорвать. Подожди до завтра...

И вот оно настало, это завтра, птицы пели в клетке на балконе, часы на соборе пробили один удар, внизу на улице кто-то поздоровался с прохожим, и идиллия, которую я похитил у Жана де Ге, подошла к концу.

Когда одетый, готовый к отъезду, я пил кофе на выходящем в сад балконе, я увидел Гастона. Верный своему слову, он ждал меня в машине у городских ворот. Этот миг был как сон во сне, я не принадлежал сейчас ни миру Белы, ни тому миру, что меня ожидал. Возлюбленный, которого Бела держала ночью в объятиях, был только тенью, хозяин, которого охранял Гастон, был призраком, существующим только в его воображении, любимым за то, что он некогда представлял собой.

Возвращение в Сен-Жиль прошло в такой же молчании, как поездка в Виллар. Гастон в двух словах заверил меня, что в замке полагают, будто я сплю.

— Я передал всем, — сказал он, не отрывая глаз от дороги, — что господин граф не хочет, чтобы его беспокоили. Я даже взял на себя смелость запереть обе двери в гардеробную. Он протянул мне ключи.

— Спасибо, Гастон, — сказал я.

Мы въехали на вершину холма и стали спускаться к реке. Дома Сен-Жиля, мост, крепостной ров, стены замка — все, мокрое после вчерашнего ливня, сверкало серебром под ранним утренним солнцем.

— Сколько раз, Гастон, — спросил я, — вы вытаскивали меня из передряг, в которые я попадал по собственной вине?

Гастон свернул на липовую аллею, в конце которой виднелся фасад замка; ставни все еще были закрыты.

— Не считайте, мсье Жан, — сказал он. — Это входит в мои обязанности по отношению к господину графу, так я на это пляжу. И к его семье тоже.

Гастон не повел машину через ворота к подъездной дорожке, но, объехав крепостные стены, попал в гараж через боковой вход. Я прошел под аркой, затем мимо загородки Цезаря, не потревожив его, постоял с минуту под кедром: никогда еще замок не казался мне таким мирным и спокойным. Сейчас, при безоблачном небе и ярком солнце, в нем не было ничего мрачного, ничего загадочного и колдовского; изменчивые тени сумерек и ночи исчезли вместе с мраком и дождем, стены, крыша и башни купались в мягком, прозрачном сиянии, какое бывает только в первые часы дня вслед за утренней зарей. Не может быть, чтобы это сияние не отразилось на спящих за стенами замка, чтобы они не повернулись инстинктивно к сочащемуся сквозь ставни свету, ведь он прогонит мучительные видения, и те покинут их, найдя убежище в непробудившихся лесах, которых не коснулся еще луч солнца. Как бы я хотел, чтобы раннее утро не переходило в день с его тревогами, разногласиями, столкновением желаний и поступков разобщенных, далеких по сути и чувству людей, чтобы для всех них время остановилось, как для придворных в «La Belle au bois dormant», ^[54]защищенных от будущего баррикадой из паутины.

Я пересек террасу и вошел в темный холодный холл. Одно то, что я вторгся в спящий замок, каким-то неведомым образом рассеяло чары тишины и покоя, витающие здесь. Меня охватило предчувствие чего-то дурного, словно обитателей замка, когда они проснутся, встретит не ясный, солнечный день за его стенами, а какая-то угроза, притаившаяся внутри, что-то злобное, враждебное, подстерегающее их в тени под лестницей.

Я тихонько поднялся на второй этаж и прошел по коридору к гардеробной; повернул в замке ключ. Когда я открыл дверь, я наступил на листок бумаги, подсунутый под нее. Он был розовый, с веточкой цветов в уголке; я смутно припомнил, что такую бумагу и

конверты кладут в наборы, которые дарят детям на день рождения или на Рождество. Круглым, неоформленным почерком там было написано: «Дорогой папочка, ты сказал, что не уйдешь, и я тебе поверила. Но ты так и не пришел пожелать мне доброй ночи, и дверь у тебя заперта. Святая Дева сказала мне, что ты несчастлив, что ты страдаешь за то зло, которое причинил в прошлом, поэтому я буду молиться, чтобы за твои грехи Бог покарал меня, ведь я молода и сильна, мне легче вынести наказание. Спи спокойно и верь в свою Мари-Ноэль, которая любит тебя от всей души».

Я положил бумажку в карман и сел в кресло у открытого окна. Чувство подавленности нарастало. В действие пришли какие-то силы, неподвластные мне. Лучше бы я не уезжал из замка, лучше бы не было этих часов свободы в Вилларе. Там в пять утра горожане уже были на ногах, и случайные утренние звуки радовали мое ухо, но здесь, когда церковные часы пробили семь, ничто не нарушило тишину и единственные живые существа были черно-белые коровы, выходящие, как привидения, из ворот фермы и бредущие в парк.

Я продолжал сидеть у окна, дожидаясь, когда в урочное время Гастон принесет мне завтрак. Было, должно быть, около восьми, когда я услышал в коридоре торопливые шаги, стук в дверь спальни — к Франсуазе, не ко мне, — невнятный шум голосов, восклицания, вскрики. Затем забарабанили в дверь ванной, которую я еще не отпер, кто-то с грохотом дергал ручку, раздался голос Франсуазы, пронзительный, настойчивый:

— Жан, Жан, ты не спишь?

Я соскочил с кресла, вынул из кармана ключи и отпер дверь. Франсуаза, бледная, осунувшаяся, стояла перед дверью в ночной рубашке, за ее спиной — Жермена, а в глубине комнаты — высокая костлявая фигура — Бланш, с укором глядящая на меня без единого слова.

Я протянул руку, чтобы поддержать Франсуазу.

— Не волнуйся, — сказал я. — Ничего не говори. Маман плохо, да?

Франсуаза удивленно, словно не веря сама себе, взглянула на меня, затем, поверх моего плеча, окинула взглядом комнату.

— Маман? — переспросила она. — Нет, конечно. При чем тут маман? Что с ней могло случиться? Где Мари-Ноэль? Она исчезла.

Жермена зашла, чтобы ее разбудить... постель не смята, девочка даже не ложилась. Она и не раздевалась, чтобы лечь. Если ее нет у тебя, значит, ее нет нигде. Она исчезла, ушла, пропала без вести.

Глава 19

Все лица повернулись ко мне. Я видел полуодетого Поля на пороге спальни, а рядом с ним Рене, разбуженных той же суматохой, что я. Глава семьи — я — был за все в ответе: решений, планов ждали от меня. Первой моей заботой была Франсуаза, дрожавшая от холода в одной ночной рубашке.

— Иди в кровать, — сказал я, — мы скоро ее найдем. Ты тут ничем не можешь помочь.

И, несмотря на ее слезы и протесты, Бланш повела Франсуазу обратно в спальню.

— Возможно, девочка в парке или в лесу, — сказал я, — дети часто встают рано. Совсем не обязательно всем нам впадать в истерику.

— Но она даже не ложилась, говорю тебе! — вскричала Франсуаза. — Жермена вошла к ней в комнату, чтобы ее позвать, а там все на месте, ничего не тронуту, и ночная рубашка сложена, и постель не смята.

Жермена плакала навзрыд, ее круглое розовое лицо было мокро от слез, глаза распухли.

— Постель была точь-в-точь как я ее расстелила вчера вечером, господин граф, — всхлипывала она. — Мадемуазель даже не раздевалась. Она ушла в своем лучшем платье и легких туфельках. Она простудится до смерти.

— Кто последний ее видел? — спросил я. — В котором часу она пошла спать?

— Она была у Бланш, — ответила Франсуаза. — Бланш читала ей, да, Бланш? И отправила в детскую около половины десятого. Она была очень возбуждена, не могла усидеть на месте.

Я взглянул на Бланш — лицо у нее было застывшее, напряженное. На меня она не смотрела.

— Вечно одно и то же, — сказала она Франсуазе. — Отец взвинчивает ее, играет на ее чувствах, и она потом способна выкинуть любой номер.

— Но Мари-Ноэль не видела Жана весь вечер, — прервала ее Рене. — Жан спал у себя в комнате. Наша ошибка в том, что мы позволяем девочке участвовать во всех праздничных событиях и общаться со взрослыми. Вчера она весь день старалась быть в центре внимания. Это сразу бросалось в глаза. Естественно, она перевозбудилась.

— А мне показалось, что она была тише, чем обычно, — сказал Поль, — во всяком случае, вечером у нее был какой-то подавленный вид. И неудивительно, если вспомнить, что это был за день. Представляю, как смеется над нами вся округа от Виллара до Ле-Мана! Вы ничего не потеряли, — обратился он к Франсуазе, — оставшись в стороне.

Залитые слезами глаза Франсуазы обратились от него ко мне.

— Неужели ты так напился? — спросила она. — Что только подумают люди?!

Жермена изумленно смотрела на нас из своего угла.

— Пойдите скажите Гастону, что я велел начать поиски вокруг замка и в парке, — сказал я ей. — Пусть захватит Жозефа и любого, кто есть поблизости. Мсье Поль и я спустимся через несколько минут.

— Если хочешь знать мое мнение, — сказал Поль, — вот оно: девочка убежала из дома, потому что Жан выставил себя на посмешище перед всеми соседями. Ей было стыдно за него. Всем нам тоже.

— Ты ошибаешься, — сказала Рене, — я сама слышала, как Мари-Ноэль говорила всем направо и налево, что Жан — самый мужественный человек на свете, но никто, кроме нее, не знает почему. Ох уж эти мне не по годам развитые детки! Мне было так неловко... Не представляю, что все думали про нее.

— Мужественный? Что она хотела этим сказать? — спросила Франсуаза.

— О да, действительно надо иметь мужество — своего рода, — чтобы сознательно погубить день тем, кто приложил все усилия, чтобы он имел успех. Когда это бывало, чтобы после конца охоты из пятидесяти приглашенных в замок вернулось не более двадцати?! Я бы стерпел, если бы это запятнало лично меня, но ведь пятно ложится на всю семью де Ге.

— Виновата погода, — сказала Рене. — Все промокли до нитки.

Пререкания прервал стук в дверь, все обернулись с надеждой и ожиданием, но на пороге появилась всего лишь Шарлотта, на ее худом, неприятном лице было написано сознание собственной важности.

— Простите, господин граф, и вы, мадам Жан, — сказала она. — Я только что услышала, что Мари-Ноэль пропала. Думаю, я была последней, кто видел ее. Когда я вчера вечером поднималась наверх, я случайно кинула взгляд в коридор и увидела, что она стоит на коленях у двери в гардеробную. Она хотела пожелать доброй ночи своему пап *a*. Но вы ее не услышали, господин граф.

— И неудивительно, — ввернул Поль.

— Почему же она не постучалась тогда ко мне? — воскликнула Франсуаза. — Я еще не спала. Она ведь прекрасно знает, что стоит ей постучаться, и я открою.

— Это я виновата, мадам Жан, — сказала Шарлотта. — Я сказала девочке, чтобы она ни в коем случае не беспокоила своего пап *a*, ведь у него столько сейчас забот, и вас, мадам, ведь вы так нуждаетесь во сне, раз ребеночек вот-вот появится на свет. Маленький дружок, сказала я Мари-Ноэль, которого ей посылают небеса; чтобы она его любила и заботилась о нем.

Глаза-пуговицы стрельнули в мою сторону и потупились; с раболепной, подобострастной полуулыбкой на стиснутых лиловатых губах, Шарлотта смотрела то на Франсуазу, то на меня. Я подумал о другой гардеробной комнате — рядом со спальней в башне наверху — и о том, что Шарлотта видела переставленные коробки в шкафчике над раковиной и догадалась о моем посещении вчера вечером. Она не выдаст меня, как и саму себя. Мы сообщники, и, как это мне ни противно, изменить я ничего не могу.

— Так, ясно, — сказал я, — а что же дальше?

— Она немного расстроилась, господин граф. Она сказала: «Папе нужна только я, и больше никто. Мальчика он хочет только из-за денег». Ее собственные слова. Я ушам своим не поверила. Я сказала ей, что говорить так — дурно, и господин кюре ее не похвалит за это, и ни один человек в Сен-Жиле. Когда ребеночек родится, мы все будем его любить, сказала я ей, начиная от пап *адо* Цезаря, ведь его так долго ждали. Потом мы вместе дошли до черной лестницы, и

девочка направилась к себе в комнату, а я пошла наверх к госпоже графине, которая спала спокойно, как ангел.

Другими словами — лежала в беспмятстве благодаря моему подарку. Возможно, это было одно и то же. Сейчас это не имело значения. Значение имело одно: Мари-Ноэль исчезла, а исчезла она потому, что я уехал в Виллар, а не остался в замке.

— Как вы думаете, мадемуазель, — спросила Шарлотта, обращаясь к Бланш, — не могла ли малышка побежать в церковь? В конце концов... — Она приостановилась, какой-то миг пристально смотрела на меня с еще более подобострастным выражением. — ... Если у нее есть что-нибудь на душе, чего она стыдится, она, скорее всего, пойдет к господину кюре и попросит, чтобы он ее исповедовал.

— Нет, — сказала Бланш, — сначала она придет ко мне.

Поль пожал плечами.

— Вам не кажется, что прежде всего нам надо одеться? — спросил он. — Потом Бланш может пойти в церковь, а мы с Жаном присоединимся к Гастону. Конечно, — тут он взглянул на меня, — если ты достаточно оправился после вчерашнего, чтобы участвовать в поисках.

Ничего не ответив, я повернулся и пошел обратно в гардеробную. Подошел к окну, посмотрел вниз, в сухой ров. Там не было ничего, кроме сорной травы и плюща, и маленькое тельце в голубом платье на дне, изуродованное, ненужное больше, я видел только в воображении.

О том, что Цезарь тоже пропал, сказать мне пришел Гастон. Жозеф пошел его покормить и увидел, что конура пуста. Эта новость принесла некоторое облегчение. Если Мари-Ноэль прихватила Цезаря, он защитит ее, во всяком случае от реальных опасностей. И вряд ли она стала бы брать собаку, если бы хотела покончить с собой.

Выйдя из замка, мы с Полем и все остальные разделили между собой площадь, которую надо было прочесать, и мой участок оказался тем самым, где мы встретили вчера охотников. Из-за дождя, лившего целые сутки, в лесу было сыро, листья иод ногами казались бумажными, валежник был мягкий, прелый. Но солнечные лучи уже проникли под полог леса и придали резкость очертаниям деревьев, нечетким и расплывчатым вчера.

Туман растаял, не слышно было перестука дождя по мокрым веткам, уныло клонящимся к земле; ослепительный солнечный свет

серебрил подлесок, где в выемках листьев поблескивали шарики капель, вспыхивая на миг перед тем, как упасть вниз и слиться с землей.

Я шагал по длинным аллеям, перебирался в лесу через канавы и все это время знал, что девочки там нет и она не возникнет передо мной, как маленькая Охотница с псом на поводке в конце дорожки, я не увижу ее спящей под деревом, как Красную Шапочку. Я пошел сюда, чтобы утомить себя, ведь я все равно не знал, где ее искать, а здесь хотя бы не слышны были крики всех остальных ближе к замку — их поминутные возгласы действовали мне на нервы. Звать девочку было так же бессмысленно, как тыкать вилами в стог сена, что с полной серьезностью делал на моих глазах Жозеф. Мари-Ноэль будет найдена, только если сама того захочет, но не здесь и не там, — она будет ждать нас в своем прибежище перед собственным символическим алтарем.

Когда я наконец выбрался из леса на открытое место, я увидел — вчера все это заволакивал туман, — где, сделав полукруг, я оказался: неподалеку, через два поля от меня, были строения стекольной фабрики, частично загороженные стеной, а над ними как карандаш в небо вонзалась труба плавильной печи. Я пролез под проволочную ограду у опушки леса, пересек поле, миновав белую лошадь, которая паслась у забора, и, с трудом открыв калитку, наполовину скрытую шиповником и крапивой, снова вошел в яблоневый сад позади дома управляющего. Окна, выходящие на запад, были слепые и тусклые, но запущенный сад сверкал, как дождевые капли в лесу; роса прозрачной вуалью покрывала ярко-красные яблоки, упавшие на землю, которая курилась под солнцем теплым паром. Дом спал, но он не был покинут. Ползучий виноград охранял стены и окна; обильные плодами сад и огород, рождающие овощи и фрукты, которые никто не собирает, казались отголоском прошлого, которое вдруг слилось с настоящим благодаря приотворенному окну возле двери с облупившейся краской, — всего три дня назад, когда я был здесь, оно было плотно закрыто, на раме от времени — толстая корка.

И тут я увидел, что за окном кто-то появился и встал там, глядя на меня, и я подошел поближе, ступая по мокрой земле и упавшим яблокам. Подойдя вплотную, я узнал Жюли, она стояла, приложив палец к губам.

— Вы быстро добрались, — шепнула она. — Я послала записку в замок всего десять минут назад, на телефонный звонок никто не отвечал.

В ее словах для меня не было смысла. И все же я был напуган. В карих глазах, обычно дружелюбных и полных жизни, была тревога.

Интуиция, которой я научился за это время доверять, говорила, что меня ждет недоброе.

— Я не получал никакой записки, — сказал я, — я попал сюда случайно.

В комнату я залез через окно. Это была та самая комната со сваленной у стены мебелью, где я уже был, некогда гостиная в доме управляющего. Окна выходили на две стороны: то, возле которого стояла Жюли, смотрело на сад, противоположное — на колодец. Луч солнечного света упал на Мари-Ноэль, белую, неподвижную, под грудой одеял, и на пса, лежащего у ее ног, уткнувшегося носом в лапы. Та самая картина, какую рисовало мне воображение, только еще более мучительная. Не падали капли с тела, вытасченного из воды, не были переломаны кости, она не была искалечена, горьким было ее одиночество — пылинки в пустом пространстве.

— Ее нашел один из рабочих, — сказала Жюли. — Благодаря Цезарю. Пес стоял на страже возле колодца. Должно быть, она спустилась туда по лестнице и пролежала на дне среди мусора и осколков стекла всю ночь. Она не проснулась, когда он вынес ее оттуда, и, когда он внес ее в дом и позвал меня, она так и не открыла глаз — продолжала спать.

Спать? А я думал, что она мертва. Я обернулся к Жюли — на ее морщинистом лице было замешательство, благоговейный трепет, но поражена она не была.

— В прежние дни во сне ходила госпожа графиня. Возможно, она передала это по наследству малышке, мсье Жан. Но, без сомнения, у нее было что-то на душе.

Я нашарил в кармане листок бумаги. Он принадлежал Жану де Ге, но и мне тоже. И перед моими, а не его глазами стояло лицо одурманенной наркотиком женщины. Мать Жана де Ге улыбнулась, когда я освободил ее от боли; но я недалеко унес эту боль — я передал ее девочке.

На фоне темного одеяла ее личико казалось вырезанным из камня, лик ангела, загадочного, далекого от всего вокруг, затерянного в холодных кельях сна.

— Бедняжка, — сказала Жюли, — в этом возрасте они всегда забирают себе в голову всякие фантазии. У меня это был паренек из деревни. Ходила за ним по пятам, куда бы он ни пошел. Моя сестра по уши влюбилась в своего учителя. Наша малышка ударилась в религию, как мадемуазель Бланш. Это пройдет.

Она погладила одеяло сильной, загорелой, как и ее лицо, морщинистой рукой, под ногтем большого пальца чернела земля. Лежащее в кармане письмо, казавшееся драгоценным — ключ к двери, — внезапно превратилось в бессмысленный клочок бумаги. Я представил, как годы спустя похожая на Бланш женщина найдет его в забытом ящике и, прежде чем кинуть его в мусорную корзину, спросит себя, нахмурясь, когда это она писала его и почему, и так и не вспомнит ту боль, то страдание, которые много лет назад привели ее к сухому колодцу.

— Видите ли, мсье Жан, — сказала Жюли. — В таком доме, как ваш, где полно женщин, должен найтись кто-то, кто подготовит девочку к тому, что ей предстоит. Она быстро вырастет. В это время девочки, как молодые растения, растут не по дням, а по часам. У Эрнеста, моего соседа, того, который нашел ее и поднял из колодца, три дочки. Он первым делом спросил у меня, сколько Мари-Ноэль лет. Еще нет одиннадцати, сказала я ему. Ну, это еще ничего, сказал он. Его младшей было десять, когда она сформировалась. Поймите, господин граф, когда девочка становится девушкой и ничего об этом не знает, это может ее напугать. Я не удивлюсь, если у нас это вскоре случится.

Как бы я хотел иметь ее здравый смысл, ее чуткость, ее проницательность и понимание! Как бы я хотел иметь жизненный опыт ее соседа Эрнеста, отца трех дочерей! Чтение лекций о Жанне д'Арк не подготавливало к роли *père de famille*, [\[55\]](#) а я даже не был *père de famille*. Я был кто-то, играющий его роль в маскараде.

— Я не знаю, что ей сказать, — проговорил я, — я не знаю, что делать.

Жюли с жалостью смотрела на меня.

— Для нас такие вещи нетрудны, — сказала она, — но для вас, живущих в замке, жизнь полна сложностей. Иногда я задаю себе вопрос, как вы вообще можете так жить. Все неестественно.

Девочка пошевелилась во сне, но не проснулась. Жесткое ворсистое одеяло коснулось ее подбородка. Может быть, было бы проще, если бы она могла остаться здесь, повиснув во времени, избавившись тем от хаоса грядущих лет. Для Жюли Мари-Ноэль была дичком, нуждающимся в солнце; для меня — утерянной частицей самого себя. В темноте комнаты и то и другое сливалось вместе в единой болевой точке.

— Странно, — сказал я Жюли. — Когда девочка исчезла и мне сказали об этом, я сразу решил, что она утонула.

— Утонула? — удивленно переспросила Жюли. — Здесь негде утонуть. — Она замолкла и посмотрела через мое плечо в окно. — Вы и сами знаете, что уже пятнадцать лет в колодце нет воды.

Жюли обернулась, и наши взгляды встретились; почувствовав вдруг, что не могу больше утаивать правду, я сказал:

— Нет, не знаю. Я ничего здесь не знаю. Я чужак.

Неужели она не поймет? Неужели и она попала на удочку и при ее прямодушии и честности ничто не подскажет ей, что я — обманщик и самозванец?

— Господин граф всегда был чужаком на фабрике, — сказала Жюли, — в том-то и беда. Вы пренебрегли своим наследием и своей семьей, вы позволили пришлому человеку занять ваше место и выполнять ваши обязанности.

Жюли потрепала меня по плечу, но я знал: она говорит о прошлом, а я — о настоящем. Мы находились в разных мирах.

— Скажите, как мне жить? Вы мудры и практичны.

Жюли улыбнулась, от уголков глаз поползли морщинки.

— Вы не слушаетесь меня, мсье Жан. Никогда не слушались, даже в детстве, когда я шлепала вас по попке, положив поперек колен. Вы привыкли сами принимать решения. И если сейчас вы недовольны своей жизнью, это потому, что для вас всегда на первом месте было то, что захватывало и развлекало вас, все новенькое, а не длительное и долговечное. Так ведь, да? С тех пор, как вы под стол пешком ходили. А теперь вам скоро сорок, слишком поздно меняться. Вы так же не в силах вернуть молодость, как не в силах вернуть жизнь бедному мсье

Дювалю, чье единственное преступление было в том, что он старался сохранить *verreterie* в то время, как вас здесь не было. За это вы и ваша кучка патриотов назвали его изменником, расстреляли и кинули умирать в колодец.

Она смотрела на меня с жалостью, как и в тот, первый, раз, и я понял, что ее слова не были ни обвинением, ни осуждением. Она знала, как знала его семья, как знала вся округа, что Мориса Дюваля убил Жан де Ге. Только мне, его заместителю, это было неизвестно.

— Жюли, — сказал я, — где были вы в ту ночь, когда его застрелили?

— В сторожке у ворот, — ответила она. — Я ничего не видела, но слышала все. Не мое это было дело — ни тогда, ни теперь. С этим покончено, все осталось в прошлом. Это касается вашей совести, моя — чиста.

Ее рука все еще лежала у меня на плече, когда мы услышали, что в ворота въезжает грузовик.

— Жюли, — повторил я, — вам нравился Морис Дюваль?

— Он всем нравился, — сказала она. — Он не мог не нравиться. У него были все те качества, которых не хватало вам. Потому-то, господин граф, ваш отец сделал его управляющим. Простите меня, мсье Жан, но что правда, то правда.

Я слышал приближающиеся к дому шаги и голоса, но фабричные строения неровной стеной заслоняли идущих по двору. Жюли обернулась.

— Это из замка, — сказала она. — Эрнест передал им то, что я велела. Возможно, вам удастся отнести девочку в машину, а потом в постель, и она даже знать не будет, что ходила во сне.

— Она не ходила во сне, — сказал я. — Она пришла сюда намеренно. Она хотела спуститься в колодец. Все, что вы говорили мне, только подтверждает это.

Моя ложь насчет обожженной руки, мое поведение во время охоты, мой уклончивый ответ накануне вечером — все это заставило Мари-Ноэль подумать, будто ее отец — кающийся грешник. Она решила заглядеть его вину доступным ей путем, сыграв роль жертвы. Только так она могла заслужить для него прощение. Я нащупал в кармане ее письмо и перечитал его. Нет, это не был просто клочок бумаги, это был обет веры.

Кто-то вошел в дом через контору. Шаги на кухне, в маленьком холле, вот уже они слышны в соседней комнате. Жюли подошла к двери, приложив палец к губам.

— Тихо, — шепнула она, — девочка все еще спит.

Я думал, что увижу Гастона или Поля. Я ошибся. На пороге стояла Бланш.

— Мадемуазель?! — воскликнула Жюли, и изумление в ее голосе, быстрый взгляд, брошенный на меня, а затем на сваленную у стены мебель, выдал, как она была поражена, какие глубокие чувства все еще таятся в ней. — Не надо было вам приезжать, мадемуазель, — сказала она, — я же велела Эрнесту сказать, что малышка в безопасности. Все это время я не спускала с нее глаз, а минут десять назад пришел господин граф.

Бланш ничего не ответила. Не задерживаясь, подошла к Мари-Ноэль и опустилась возле нее на колени. Затем осторожно отвернула одеяла, и я увидел, что поверх синего платья на Мари-Ноэль пальто, на ногах толстые чулки и крепкие туфли, которых не было накануне. На одежде виднелись пятна от извести и грязи, в нескольких местах были дырки, и я ясно представил каждое ее движение этой ночью: вот она отвязывает Цезаря, вот идет под дождем к фабрике и различает на фоне неба очертания фабричных зданий, вот перед ней конечная цель — темная дыра пустого колодца; шаг за шагом, хватаясь руками за перекладины лестницы, она медленно спускается вниз, касаясь пальто зеленоватых от извести стен, на самое дно, усеянное мусором и стеклянными осколками, туда, откуда высоко над головой виднеется круглое пятно ночного неба.

Бланш, все еще на коленях, обернулась к Жюли.

— Где вы ее нашли? — спросила она так тихо, что я с трудом расслышал ее слова.

Первый раз я видел Жюли в замешательстве; вопросительно взглянув на меня, она неуверенно сказала:

— Ее нашел Эрнест, мадемуазель, здесь, в доме. Разве он вам не говорил?

— Он сказал: в одном из фабричных зданий, — сказала Бланш, — но ведь их всегда запирают на ночь. И похоже, что она лежала среди битого стекла и извести.

Здесь или там — и то и другое было ложью. Почему Эрнест и Жюли лгали Бланш? Мне Жюли сказала правду. Бланш не сводила с нее глаз, и Жюли, воплощенная честность и прямота, стала сама на себя не похожа: растерянная, смущенная, она разразилась вдруг потоком бессвязных слов насчет того, что она не поняла Эрнеста, невнимательно слушала его, она была в сторожке, выпускала во двор кур, когда он пришел сказать, что нашел малышку спящей в доме управляющего.

— Ее карманы полны стекла, — прервала ее Бланш, — вы знали об этом?

Жюли не ответила и снова посмотрела на меня, словно взывая о помощи. Бланш, сунув руку в карман пальто Мари-Ноэль, вытащила горсть крошечных стеклянных вещиц: кувшинчик величиной с наперсток, вазочку, флакончик, все малюсенькое, но идеальных пропорций: среди них — копия замка Сен-Жиль, миниатюрная, но похожая на оригинал как две капли воды; обе его башни были отломаны.

— Мы не делали таких вещиц с начала войны, — сказала Бланш. — Мне ли их не узнать, сама создавала первые образцы...

И она впервые отвела глаза от Мари-Ноэль и посмотрела вокруг, на комнату, — на столы, на стулья, на книжные полки и сундуки, на все эти лежавшие без употребления, никем не тронутые, никому не нужные вещи. И внезапно меня озарило: я понял, что Бланш смотрит на кусок своего прошлого. Эта пустая комната была знакома ей лучше, чем холодная, мрачная спальня в замке, она знала ее исполненной жизни и радости, а не мертвой, как сейчас. У этой пыльной гостиной должны были быть хозяин и хозяйка, двое горячо любящих друг друга людей, верных былому и традициям, людей, которые надеялись, что после окончания войны все вновь станет устойчивым и надежным. Но свершилось злодеяние, в сердце Бланш поселилась тоска, она ничего больше не создавала, и на кресте, перед которым она преклоняла колени у себя в спальне, был пригвожден не Спаситель, там были распяты ее собственные надежды.

Поддавшись внезапному порыву, я вынул из кармана письмецо Мари-Ноэль и протянул его Бланш. Она читала его, шевеля губами, слово за словом, а я думал о том, что происшедшее здесь темной ночью пятнадцать лет назад не было случайным, оно было задумано и

приведено в исполнение бессердечным, бесчувственным человеком, который, вероятно, видел, насколько тот, другой, его лучше, обладая, как несколько минут назад сказала мне Жюли, всеми качествами, которых самому ему недостает.

— У малышки на руках кровь! — вдруг воскликнула Жюли. — Я раньше этого не заметила.

Бланш без слов протянула мне обратно письмо, и мы оба наклонились над девочкой. Взяв крепко стиснутые кулаки, мы разжали их, она — один, я — другой. В углублении каждой ладони был виден красный след от недавнего пореза, но ранки уже затянулись и не кровоточили. Руки были чистые — ни осколочков стекла, ни грязи. Я ничего не сказал, Бланш — тоже. Затем она медленно подняла глаза.

— Жюли, — проговорила она, — велите Жаку позвонить господину кюре и попросить его как можно скорей сюда приехать. Затем посмотрите в справочнике номер телефона в монастыре кармелиток в Лорее и узнайте, сможет ли мать-настоятельница поговорить с мадемуазель де Ге.

Жюли в растерянности переводила взгляд с одного из нас на другого.

— Нет, — сказал я. — Нет...

Мой взволнованный голос разбудил Цезаря. Он встал, готовый защищать свою хозяйку.

— Ты сошла с ума, — сказал я Бланш. — Неужели ты не понимаешь, что девочка поступила так нарочно, сделала это ради меня, потому что я сжег руку на огне.

— Жюли, — повторила Бланш, — делайте то, что я вам велела.

Я подошел к дверям и встал к ним спиной. Жюли горестно смотрела попеременно на нас обоих.

— Совсем незачем звать сюда господина кюре, — сказала она. — С девочкой не произошло ничего плохого. Просто порезалась стеклом. Там полно осколков — на дне колодца.

— На дне колодца? — повторила Бланш. — Она спускалась в колодец?

Жюли слишком поздно увидела свой промах. Что ж, сказанного не воротишь.

— Да, мадемуазель, — ответила она. — Ну и что с того? Да, она спустилась в колодец и пролежала там всю ночь. В колодце вот уже пятнадцать лет как нет воды. Да, она пришла в verrerie, наяву или во сне, ради вас обоих и ради себя самой, бедняжка, потому что у нее слишком богатое воображение. Какое это имеет значение? Прошлого не воротишь. Почему никто в замке о ней толком не заботится? Вам не о стигмах на ее руках надо думать, а о том, что скоро будет с ней самой, с ее собственным телом.

Бланш побелела как смерть. Долго сдерживаемые чувства вырвались наконец наружу.

— Как вы смеете богохульствовать, как вы только смеете?! — гневно, страстно вскричала она. — Я забочусь о девочке с самого ее рождения! Я люблю ее, обучаю, воспитываю словно родную дочь, потому что мать ее глупа, а отец — дьявол. Я не допущу, чтобы она страдала в этом мире, как страдаю я. Она предназначена для другого мира, другой жизни. Эти знаки на ее ладонях служат тому доказательством. Сам Всевышний говорит с нами через нее.

Нежность исчезла, тепло тоже. Бланш, которая в поисках пропавшего ребенка пришла в полный воспоминаний дом управляющего, была другой женщиной, фанатичной, ожесточенной, готовой принести в жертву ту, которую хотела спасти.

— Христос так не поступает, мадемуазель, — сказала Жюли. — Если Он захочет призвать дитя к Себе, Он сделает это, когда сочтет нужным, и не потому, что господин граф убил человека, которого вы любили. Малышка будет страдать в этом мире лишь из-за того, что делаете с ней вы; да, вы, и ее отец, и ее бабка, и все, кто живет в замке. Вы выдохлись, обессилели, вы прожили свою жизнь, вы уже ни на что не годны, все вы, до единого! Правы те, кто говорят, что нашей стране нужна еще одна революция, хотя бы для того, чтобы избавиться от ненависти и зависти, которые вы повсюду сеете. Тише... вы ее разбудили. Что теперь делать?

Однако виновата была сама Жюли. Ее громкий, негодующий голос заставил Цезаря залаять, а его лай поднял Мари-Ноэль. Ее глаза вдруг открылись и с живым любопытством уставились на нас из-под груды одеял. Она приподнялась, села прямо, переводя выжидательный взгляд с одного на другого.

— Мне снился ужасный, гадкий сон, — сказала она.

Бланш тут же склонилась над девочкой и, словно защищая, обвила руками.

— Все хорошо, *chérie*, [56]— сказала она. — Ты в безопасности, ты со мной. Я увезу тебя туда, где тебя поймут, где о тебе позаботятся. Не бойся, тот ужас, что ты испытала в колодце, никогда больше не повторится.

Мари-Ноэль спокойно посмотрела на нас.

— Там не было ничего ужасного, и я не испугалась, — ответила она. — Жермена говорит, что в нем водятся привидения, но я не видела ни одного. *Verrerie* — хорошее место. Замок — вот где полно привидений.

Цезарь, успокоенный звуком ее голоса, снова улегся у ее ног. Мари-Ноэль погладила его по голове.

— Он голоден, и я тоже. Можно, мы пойдем к мадам Ив и возьмем у нее хлеба?

В другом конце дома, в конторе, вдруг зазвонил телефон. Неожиданный в такое время звонок вернул нас к действительности. Жюли направилась к дверям. Я открыл их. Бланш поднялась с колен. Встретившись с настоящим, мы все трое действовали механически, безотчетно. Встревоженной казалась только Мари-Ноэль.

— Надеюсь, это не начало, — сказала она.

— Начало чего? — спросил я.

— Начало моего гадкого сна. — Сбросив одеяла, она потянулась, отряхнула пальто от пыли и взяла меня за руку. — Святая Дева тревожится из-за нас, — добавила она. — Она сказала мне, что бабушка желает татап смерти. И во сне я тоже хотела, чтобы она умерла. И ты хотел. Мы все были виноваты. Ведь это грешно. Нельзя ли сделать что-нибудь, чтобы этот сон не сбылся?

Звонки вдруг прекратились — должно быть, пришел Жак, — и в открытую дверь через все пустые комнаты до меня долетел его приглушенный голос. Ничего не говоря, Жюли прошла мимо меня в кухню; через минуту голос Жака смолк, затем послышался их негромкий разговор: Жак и Жюли что-то обсуждали, и Жюли снова появилась в кухонных дверях. Постояла немного неподвижно и молча поманила меня. Я выпустил руку Мари-Ноэль и подошел к ней.

— Это Шарлотта, — сказала Жюли. — Спрашивала мсье Поля. Я сказала ей, что тут вы и мадемуазель Бланш. Она просит вас как

можно быстрее вернуться в замок. Произошел несчастный случай. Она говорит, чтобы вы не брали Мари-Ноэль.

На этот раз интуиция меня не подвела. Жюли опустила глаза. Я оглянулся через плечо: Мари-Ноэль, стоя на коленях, вынимала из карманов крошечные стеклянные флаконы и располагала их ряд за рядом на пыльном полу. Впереди она поставила миниатюрный замок с отломанными башнями и тут заметила, что у нее поранены руки. Повернув их кверху ладонями, девочка сказала Бланш:

— Я, должно быть, порезалась. Не знаю как. Порезы сами заживут без следа или руки придется бинтовать, как папе?

Глава 20

Неведомая беда, вместо того чтобы объединить сестру и брата, еще сильнее нас разобщила. Пока рабочий по имени Эрнест вез нас в грузовике обратно в замок, ни Бланш ни разу не обратилась ко мне, ни я к ней. Многолетнее ожесточение нависло над нами непроницаемой пеленой.

В замке было пусто. Все его обитатели ушли на поиски Мари-Ноэль. Встретили нас лишь истерически причитающая Шарлотта, женщина, которая доила коров, визгливо вопившая что-то мне прямо в ухо, и кухарка, которую я еще ни разу не видел, но знал, что она жена Гастона. Когда мы вошли в холл, она появилась из кухни — растрепанная, в глазах ужас — и сказала:

— Карету «скорой помощи» прислали из Виллара. Я не знала, куда еще звонить.

Только сейчас я понял, что Эрнест, которого Жюли послала на грузовике в Сен-Жиль, так как телефон не отвечал, встретил Бланш, когда она шла из церкви, и она тут же, не заезжая в замок, отправилась с ним на фабрику.

Всякое чувство времени исчезло. Я не знал, сколько я пробыл в лесу. День, сдвинувшийся со своей точки в тот миг, когда Франсуаза заколотила в мою дверь, крича, что Мари-Ноэль исчезла, тек вперед без часов и минут, и, переводя взгляд с зияющего окна спальни на истоптанную траву во рву внизу, я не мог сказать, полдень сейчас или ранний вечер. Мари-Ноэль, спящая на полу под одеялами, ушла в далекое прошлое, в другую эру. Все было зыбко. Знал я лишь одно: неожиданное несчастье обрушилось на замок, когда он был пуст.

Скрюченный палец женщины, доившей коров, тыкал в островок травы; поворачиваясь то к Бланш, то ко мне, она повторяла пронзительным голосом какие-то нечленораздельные слова, из которых я понял лишь пять: «Я видела, как она зашла... Я видела, как она упала». Указывающий вниз палец, поднятые вверх глаза, внезапный мах руки, рисующей, как падало на землю тело, были наглядны до ужаса — ведовское действие, и Шарлотта, хватаящая Бланш за рукав и всхлипывающая: «Она еще дышала, мадемуазель, я

поднесла зеркальце к ее губам», казалось, подыгрывала ей в этой чудовищной пьесе.

Мы снова пустились в тягостный путь: подъездная дорожка, ворота, аллея, и вот мы уже на дороге в Виллар — мчимся по пятам кареты «скорой помощи», которая обогнала нас на какие-то двадцать минут. И по-прежнему, несмотря на то что дурное предчувствие переросло в уверенность, единственным звеном, связующим нас с Бланш, был Эрнест, который вел грузовик.

— Я была в церкви, — сказала Бланш. — Я была в церкви, я молилась, когда это произошло.

— Я не заметил никаких карет «скорой помощи», мадемуазель, — сказал Эрнест. — Должно быть, вы вышли из церкви и увидели мой грузовик еще до того, как она появилась.

— Мне следовало вернуться в замок, — сказала Бланш. — Мне следовало вернуться и сказать, что девочка в безопасности. Я еще могла успеть.

Прошло несколько минут, и — так всегда бывает, когда произойдет несчастье, — она принялась безнадежно перечислять все предшествующие события, чтобы найти, как можно было бы его предотвратить.

— И зачем только надо было всем участвовать в поисках? Если бы кто-нибудь из нас остался в замке, этого не случилось бы. — И наконец: — Больница в Вилларе может быть не оснащена для таких случаев. Надо было везти ее прямо в Ле-Ман.

Направо, налево, снова направо, прямо — дорога в Виллар настолько вошла в мою жизнь, что я знал здесь каждый изгиб и поворот. Вот перекресток, где вчера вечером у Гастона занесло машину, здесь лужа, сверкавшая золотом сегодня утром. Виллар, чисто вымытый, сияющий под солнцем в шесть часов утра, сейчас был полон шума и пыли. Рабочие бурили боковую дорогу, машины были припаркованы одна за другой, и здание больницы, которое я не заметил, когда мы с Мари-Ноэль гуляли по рыночной площади, из-за моих собственных страхов показалось мне огромным и уродливым и сразу бросилось в глаза. Бланш, не я, первая вошла в дверь, Бланш, не я, первая заговорила с молодым человеком в белом халате, стоявшим в коридоре. И та же Бланш толкнула меня в голую, безликую комнату ожидания, а сама пошла следом за ним и исчезла за дверью в

противоположной стене. Сестра, которая вернулась вместе с ней, была спокойна, бесстрашна, обучена, как все медицинские сестры мира, соприкоснуться с чужим несчастьем, и язык ее был из штампов — такие выражения можно встретить во фразеологическом словаре любой страны.

— Трудно сказать, насколько серьезны поражения. Доктор осматривает ее, — обронила она, переводя нас из общей комнаты ожидания в другую, поменьше, для частных посетителей.

Бланш не присела, хотя сестра предложила ей кресло. Она подошла к окну и стояла там спиной ко мне. Я думаю, она молилась. Голова ее была опущена, ладони сложены перед грудью. Я стал разглядывать карту района, висевшую в рамке на стене, и увидел, что Виллар находится всего в двадцати километрах от Мортаня, а от Мортаня проселочная дорога ведет прямо к монастырю траппистов. На столе лежал большой календарь. Завтра будет ровно неделя со дня моего приезда в Ле-Ман... Ровно неделя... Все, что я сказал, все, что сделал за эту неделю, приблизило семью де Ге к беде и горю. Моя ответственность, моя вина. Жан де Ге, смеявшийся, глядя в зеркало в номере отеля, предоставил мне решать его проблемы на мой страх и риск. И теперь, глядя назад, я видел, что каждый мой шаг, совершенный за последние дни, причинил страдания и вред. Безрассудство, неведение, обман и слепое тщеславие привели к той минуте, которая истекала сейчас.

— Господин граф?

Вошедший человек, высокий, дородный, несомненно, вызывал доверие у ждущих родственников, но во время войны я перевидал столько врачей, что для меня выражение его лица говорило одно: конец.

— Я — доктор Мотьер. Я хочу вас заверить: делается абсолютно все, что можно сделать. Ранения обширны, и с моей стороны было бы легкомысленно выражать особенно большую надежду. Графиня, естественно, без сознания. Насколько я понял, ни один из вас не был в замке, когда произошло несчастье?

И снова не я, а Бланш ответила ему от имени нас обоих и повторила ту же ненужную историю.

— Окна в замке большие, — сказала Бланш. — Графине нездоровилось. Должно быть, она подошла к окну, почувствовав

дурноту, и слишком его распахнула, и когда высунулась...

Бланш не кончила фразы.

— Естественно, естественно, — механически повторял врач и затем добавил: — Графиня была одета. По-видимому, она собиралась тоже отправиться на поиски девочки.

Я взглянул на Бланш, но ее глаза были прикованы к врачу.

— Она была в ночной рубашке, когда мы ушли из замка, и лежала в постели. Никому из нас и в голову не могло прийти, что она встанет.

— Мадемуазель, непредвиденные обстоятельства как раз и ведут к несчастным случаям. Простите...

Он отвернулся от нас и вышел в коридор к сестре. Их быстрый разговор почти не был слышен, но до меня долетели несколько слов: «переливание крови» и «Ле-Ман»; по лицу Бланш я понял, что она тоже уловила их.

— Они собираются сделать переливание крови, — проговорила она, — врач сказал, что им пришлют кровь из Ле-Мана.

Бланш смотрела на дверь, и я спросил себя, осознала ли она, что это были первые слова, обращенные к брату за пятнадцать лет. Они прозвучали слишком поздно. Они оказались бесполезны. Его не было здесь.

Доктор снова обернулся к нам:

— Простите меня, мсье, и вы, мадемуазель. Подождите, пожалуйста, здесь — сюда никто не зайдет из посторонних. Как только можно будет сказать что-нибудь определенное, я вам сообщу.

Бланш придержала его за рукав:

— Простите, доктор. Я невольно расслышала кое-что из ваших слов, когда вы разговаривали с сестрой. Вы послали в Ле-Ман за кровью?

— Да, мадемуазель.

— Вам не кажется, что мы сэкономим время, если мой брат даст свою кровь? И у него, и у нашего младшего брата Поля, у обеих группа «ноль» — кровь, которая, если я не ошибаюсь, годится для всех и не представляет опасности.

Какое-то мгновение врач, глядя на меня, колебался. В ужасе от того, что может случиться — ведь Франсуазу моя кровь не спасет, напротив, — я быстро проговорил:

— Я бы отдал все на свете, чтобы у меня была группа «ноль». Но это не так.

Бланш, пораженная, взглянула на меня.

— Это неправда. Вы оба — универсальные доноры, и ты, и Поль. Я помню, Поль говорил мне об этом всего несколько месяцев назад.

Я покачал головой.

— Нет, — сказал я, — ты что-то спутала. Поль, возможно, да, я — нет. У меня группа «А». Я ничем не могу помочь.

Доктор махнул рукой.

— Не расстраивайтесь, пожалуйста, — сказал он. — Мы предпочитаем использовать кровь прямо из лаборатории. Задержка будет ничтожной. Все, в чем мы нуждаемся, уже в пути.

Он смолк, с любопытством переводя взгляд с Бланш на меня, и вышел из комнаты.

Несколько мгновений Бланш молчала. Затем тревожное, страдальческое выражение ее лица странно, пугающе изменилось. Она знает, подумал я, наконец-то она знает! Я выдал себя с головой. Но я заблуждался. Медленно, словно сама себе не веря, она произнесла:

— Ты не хочешь спасти ее. Ты надеешься, что Франсуаза умрет.

Я в ужасе смотрел на нее. А она, повернувшись ко мне спиной, снова подошла к окну и встала там, глядя наружу. Я ничего не мог сказать ей. Я ничего не мог сделать.

Мы продолжали ждать. Иногда в коридоре раздавались голоса, иногда слышались шаги. В комнату никто не входил. В полдень от городской церкви донесся благовест. Я снова посмотрел на карту и увидел, что от Ле-Мана до Виллара сорок четыре километра. Чтобы проехать это расстояние, требовалось сорок минут. Может от сорока минут промедления зависеть жизнь человека? Я не знал. У меня не было медицинских познаний. Знал я одно: у меня и Жана де Ге — разные группы крови; в том единственном, что имело сейчас значение, мы с ним были различны. Возможно, он спас бы свою жену, я этого не мог. Все: рост, фигура, цвет волос и глаз, черты лица, голос были у нас одинаковые, все, кроме крови. Это открытие казалось мне символическим. Это объясняло все мои неудачи здесь. Жан де Ге был реальностью, я — тенью. Я не мог заменить живого человека.

Когда я глядел на карту, следуя глазами по шоссе от Ле-Мана до Виллара, этот отрезок дороги казался совсем коротким, но на каждом

повороте требовалось снизить скорость, да и мало ли что могло случиться по пути: дорожные работы, пробка, авария. Я даже не узнаю, когда прибудет машина с кровью. Возможно, она подойдет к другим дверям. Я вышел в коридор с надеждой, что вдруг кого-нибудь встречу. Но он был пуст, лишь санитарка мыла шваброй пол.

В час дня у главного входа больницы появились Рене и Поль. Я показал на комнату, где была Бланш. Я не хотел разговаривать. Она расскажет им обо всем, что мы узнали. Рене, не задерживаясь, прошла туда. Поль, нерешительно потоптавшись, направился ко мне.

— Эрнест все еще ждет у ворот, — начал он. — Сказать ему, чтобы он уехал?

— Я сам ему скажу, — ответил я.

Поль помолчал.

— Как она? — спросил он наконец.

Я покачал головой, вышел на улицу и, подойдя к грузовику, сказал Эрнесту, что ему лучше вернуться на фабрику. Когда он забрался в кабину и отъехал, мне показалось, что порвалось последнее звено, соединяющее меня с миром преданных, надежных людей, таких как Жюли и Гастон. Как и у них, я видел сочувствие в его глазах и вспомнил слова Жюли о том, что у Эрнеста три дочери. Я пожалел, что отправил его; лучше бы я сел к нему в кабину, расспросил о жене и детях. Возможно, он придал бы мне сил и мужества, ведь в безмолвии больничной комнаты меня ждали непонимание, отчужденность и упреки.

Я пересек площадь и побрел куда глаза глядят, однако подсознательно я, видно, знал, куда иду, так как вскоре очутился перед запертыми дверьми «L'antiquaire du Pont». Ставни были закрыты, а на окне висело объявление: «*Ferme le lundi*». ^[57] Я повернул и, пройдя через городские ворота, остановился у пешеходного мостика, глядя на балкон и окна Белы. Они тоже были закрыты, с балкона исчезла клетка с попугайчиками, и внезапно дом потерял всякую связь с тем, что в нем произошло. Тот, кто пересек по мостику канал и провел в этом доме ночь, был не я, а кто-то другой. Комната со светло-серыми обоями, серо-голубыми подушками и георгинами была вымыслом, плодом моего воображения, так же как и другая комната за ней, выходящая на городские крыши. Никогда я не переступал его порога,

никогда не видел его хозяйку. Бела, дружелюбная, все понимающая Бела, не существует на этом свете.

Я прошел обратно на торговую улицу, снова взглянул на запертые двери магазинчика и вернулся в больницу.

У входа стоял Поль. Он сказал:

— Мы тебя искали.

И я понял, что это свершилось. Поль взял меня за руку — странный, покровительственный жест, — и мы пошли по коридору в маленькую комнату, где вместе с Бланш и Рене я увидел доктора Мотьера и принимавшую нас сестру. Доктор сразу же подошел ко мне. Голос его переменился. Он больше не был деловым и торопливым — голос врача, которому некогда отвлекаться на разговоры; теперь, слушая его, я видел перед собой мужа и отца семейства. Он сказал:

— Все кончено. Я так сочувствую вам.

Все смотрели на меня, все, кроме Бланш, отвернувшейся в сторону. И так как я не сразу ответил, доктор Мотьер добавил:

— Графиня так и не пришла в сознание. Она не испытывала боли. В этом я могу вас заверить.

— Значит, от переливания крови не было пользы? — спросил я.

— Нет, — сказал он, — у нас была очень слабая надежда, но... она получила слишком большие телесные повреждения...

Он дополнил свои слова жестами.

— Было слишком поздно? — спросил я.

— Слишком поздно? — удивленно повторил он.

— Кровь, — сказал я, — кровь из Ле-Мана пришла слишком поздно?

— О нет, — сказал он. — Ее привезли за полчаса. Мы тут же сделали переливание. Все, что можно было предпринять, было предпринято. Поверьте мне, мсье, ваша жена умерла не от недостатка внимания. Мы делали все необходимое до последнего момента. Но, увы, все наши усилия оказались тщетны. Мы не смогли ее спасти.

— Вы бы хотели ее увидеть, — сказала сестра, — утверждение, а не вопрос — и повела меня по коридору в больничную палату. Мы стояли вместе у постели, глядя на Франсуазу де Ге. Не было видно ни ран, ни ушибов, никаких следов падения. Она не была похожа на мертвую. Казалось, она спит. Сестра сказала:

— Я всегда считала, что истинная сущность человека проявляется на его лице в первый час после смерти. Иногда вера в это служит утешением.

Я не был в этом убежден. Мертвая Франсуаза выглядела моложе, счастливей, спокойней, чем та, что колотила утром в дверь гардеробной. Утренняя Франсуаза казалась измученной, тревожной, раздраженной. Если эта, мертвая, была настоящей, а та — нет, значит, жизнь ничего ей не дала, была просто тратой времени.

— Для вас так тяжело потерять их обоих, — сказала сестра.

Обоих? На миг я подумал, что она имеет в виду Мари-Ноэль, что до нее дошла история о пропавшей девочке. Затем я вспомнил.

— У меня есть дочь, — сказал я, — десяти лет.

— Доктор Мотьер сказал мне, что у вас был бы сын.

Сестра отошла к дверям и стояла там, опустив глаза, полагая, вероятно, что я хочу побыть один, хочу помолиться. Молиться я не стал, но постарался припомнить, не обидел ли я за эту неделю Франсуазу каким-нибудь злым словом. Я не мог вспомнить. Столько случилось за эти дни! Я был рад, что подарил ей миниатюру в самый первый вечер. Она была так довольна тогда, так счастлива! Больше ничего не сохранилось в памяти, если не считать пятницы, когда она лежала в постели и я весь вечер ухаживал за ней. Не очень-то внушительный список. Хотелось бы, чтобы он был побольше... Я повернулся и пошел к остальным.

Поль сказал мне:

— Ты бы лучше отправился обратно в Сен-Жиль. Я звонил Гастону, он приведет сюда «ситроен» для Бланш и меня — мы останемся, чтобы сделать кое-какие приготовления, а он отвезет вас с Рене домой в «рено», на котором мы приехали сюда.

По их лицам я видел, что они уже обсуждали, как все организовать. В их тоне и жестах появилась некая торжественность, принятая, когда в доме смерть. Ничего не говорилось прямо. Человека, потерявшего мужа или жену, обычно оставляют одного, чтобы он мог упиться своим горем. Это ошибка. Было бы куда лучше, если бы он мог что-то обсуждать, подписывать какие-нибудь бумаги, что-нибудь устраивать, а ему остается только молча, не принося никакой пользы, смотреть, как все это делают другие.

Когда приехал Гастон, я почувствовал, что они облегченно вздохнули. Я им мешал, они хотели избавиться от меня. Рене без единого слова подтолкнула меня к переднему сиденью, сама села сзади, и мы тронулись в путь.

На Гастоне лица не было. Он ничего не сказал, когда я сел с ним рядом, лишь заботливо укрыл мне колени пледом — странное, трогательное выражение сочувствия моему горю. Я спросил себя, когда он вновь повел машину по знакомой дороге, вспоминает ли он, подобно мне, утреннюю поездку и поездку накануне ночью — такие далекие, что, казалось, они причудились мне.

Первым знаком траура в замке были закрытые ставни на всех окнах; скорее всего, Гастон после телефонного звонка Поля из больницы распорядился об этом. Однако жизнь брала свое. Лучи света, пробравшись между створками ставен, испещряли пол гостиной живым узором, и траурная дань Франсуазе, мирно и неподвижно лежащей в больничной палате, казалась почему-то бессмысленной и фальшивой. Солнце и дневное тепло никогда не причиняли ей вреда; это от нас не видела она бережного отношения и заботы, нашего понимания была полностью лишена.

Гастон распорядился также приготовить завтрак и подать его в столовую, ведь никто из нас ничего не ел со вчерашнего дня. Больше ради него, чем ради себя, мы сели за стол и механически принялись что-то жевать. Притихшая, мягкая Рене, обернувшись ко мне новой гранью, рассказала, как они с Полем объездили в поисках Мари-Ноэль все фермы в радиусе десяти километров и вернулись в Сен-Жиль только в половине первого. Удивительно, подумал я, как внезапная смерть вызывает мгновенное сочувствие. Агрессивная, сладострастная Рене стала естественной и доброй, она горячо стремилась всем помочь, предложила, что перенесет постель Мари-Ноэль в комнату Бланш, чтобы девочка не была одна, или возьмет Мари-Ноэль к себе, а Поль перейдет куда-нибудь из их спальни, сказала, что съездит за ней в *vergerie*, — она была готова на все, лишь бы смягчить для девочки неожиданный удар, сделать его менее ужасным.

— Не думаю, что она испугается, — сказал я. — Мне кажется... не могу объяснить почему, она была к этому готова.

И Рене, которая всего несколько часов назад сказала бы тут же, что все поступки Мари-Ноэль чудовищны, делаются напоказ и ее надо

за это сурово наказывать, ответила лишь, что детям, которые ходят во сне, не следует спать одним.

Наконец она поднялась наверх, а я остался сидеть в столовой. Я думал. Затем позвал Гастона и поручил ему поехать в verrerie к Жюли. Пусть он скажет ей, что Франсуаза умерла, и попросит от моего имени сообщить об этом Мари-Ноэль.

— Здесь у нас господин кюре. Он наверху, у госпожи графини, — сказал Гастон после секундного колебания. — Господин граф хочет видеть его сейчас или немного позже?

— А давно он здесь? — спросил я.

— Госпожа графиня послала за ним, как только Шарлотта сообщила ей о несчастье.

— А когда это произошло?

— Не знаю, господин граф. Когда мы с мсье Полем вернулись и услышали, что случилось, ни от одной из женщин нельзя было добиться толку. Они были слишком расстроены и ничего не могли как следует объяснить.

— Я немедленно повидеюсь с господином кюре, — сказал я, — а сейчас попросите зайти ко мне Жермену.

Жермена вошла в слезах и при виде меня зарыдала с новой силой. Прошло несколько минут, пока она взяла себя в руки.

— Хватит, — сказал я, — если вы будете так убиваться, всем станет еще тяжелей. Я хочу кое о чем вас спросить. Вы знали, что мадам Жан встала и оделась сегодня утром перед тем, как произошел несчастный случай?

— Нет, господин граф. Я принесла ей завтрак в девять, она все еще была в постели. Она не говорила, что хочет встать. Мадемуазель Бланш послала меня в деревню спросить насчет девочки, а вернувшись, я пошла прямо в кухню. И больше ни разу не видела мадам Жан.

Глаза ее снова наполнились слезами; мне больше не о чем было ее спрашивать. Я попросил прислать ко мне Шарлотту.

Прошло минуты две, прежде чем она появилась, и я сразу увидел, что от утренней истерики не осталось и следа. Она была настороженна, хладнокровна, ее глаза-путовки глядели на меня чуть не с вызовом. Я не стал терять времени и сразу нее сказал ей:

— Когда утром все отправились на поиски Мари-Ноэль, вы заходили в спальню к мадам Жан?

Секундное колебание в глазах, затем она кивнула:

— Да, господин граф. Я заскочила к ней на минутку, чтобы подбодрить.

— Что именно вы сказали?

— Что я могла сказать, господин граф? Я умоляла ее не волноваться. Говорила, что девочку скоро найдут.

— Очень она была обеспокоена?

— Ее больше волновало отношение малышки к ней, господин граф, чем то, что она пропала. Госпожа графиня боялась, что девочка настроена против нее. «Она слишком любит своего пап *a*, — сказала она, — и мадемуазель Бланш, она даже не вспоминает о своей матери». Ее собственные слова, господин граф.

— Что вы ей ответили?

— Я сказала ей правду, господин граф. Я сказала, что, когда отец боготворит свою дочь, как господин граф, матери приходится трудно. У меня была тетка, которая попала в такое же положение. А когда дочь выросла, стало еще хуже. Дочь и отец были неразлучны, и в результате у тети произошел нервный срыв.

— Вы и это рассказали мадам Жан, чтобы ее успокоить?

— Да, господин граф, потому что я ей сочувствовала. Я знала, что мадам Жан часто бывало здесь одиноко.

Я спросил себя: сколько вреда принесла в замке Шарлотта, сейчас и в прошлом?

— Вы знали, что мадам Жан собирается встать?

Снова мгновенное колебание.

— Она не говорила ничего определенного, — ответила Шарлотта. — Сказала только, что ей неприятно оставаться одной и не знать, что происходит. Спросила меня, проснулась ли уже наверху госпожа графиня. Я ответила: еще нет, она просыпается поздно. Мадам Жан сказала: возможно, у госпожи графини будут какие-нибудь предположения насчет девочки. Потом я взяла ее поднос и пошла вниз: мне надо было стирать и гладить. Это был последний раз, что я видела мадам Жан.

Говоря это, она медленно покачала головой, вздохнула и стиснула руки, но все это выглядело искусственно, не то что ручьи слез на

щеках Жермены.

— В котором часу проснулась госпожа графиня? — спросил я.

Шарлотта задумалась.

— Не могу сказать точно, господин граф. Наверно, около десяти. Она вызвала меня, но завтракать отказалась. Я рассказала ей про девочку. Она пожала плечами: это ее не интересовало. Она села в кресло, я застелила ее постель и, раз была ей не нужна, снова спустилась вниз. Я все еще была внизу, в комнате для шитья, гладила там, когда все произошло. Мы обе, жена Гастона и я, услышали, как закричала Берта, та, что доит коров, и выбежали из дома... но это все вы уже знаете, господин граф.

Она опустила глаза, понизила голос, склонила низко голову. Я коротко сказал ей, что она может идти, но, когда она выходила из комнаты, добавил:

— Когда вы сообщили госпоже графине о несчастном случае, что она сказала?

Шарлотта приостановилась, держась за ручку двери, и посмотрела на меня:

— Она пришла в ужас, господин граф, была совершенно потрясена. Вот почему я тут же послала за господином кюре. Я не могла ничего дать ей; это было бы неразумно. Вы меня понимаете?

— Я вас понимаю.

Когда Шарлотта ушла, я поднялся в гардеробную и прошел через ванную комнату в спальню. Кто-то закрыл здесь ставни — так же, как во всем доме, окно — тоже. Постель осталась неубранной, простыни и одеяло были откинuty к изножью кровати. Низ окна достигал мне до бедра. Можно было сесть на подоконник, высунуться наружу и наклониться... слишком низко. Это было возможно, по маловероятно. Однако это случилось... Я снова закрыл ставни и створки окна. Посмотрел вокруг — спальня не давала никакого ключа к разгадке того, что здесь произошло, ни намека на трагедию, — затем вышел и закрыл за собой дверь. Я прошел коридором к лестнице, поднялся вверх и по другому коридору подошел к башенной комнате в самом дальнем его конце.

Глава 21

Я не постучал. Открыл дверь и вошел внутрь. Ставни были закрыты, как и везде в замке, окно тоже, портьеры плотно задернуты. Нигде ни щелочки, точно была зима. На столике у кровати горела лампа, на столе у печки — другая; то, что стоял ясный осенний день, было только четыре часа пополудни и снаружи ярко сияло солнце, ничего не меняло в этой комнате, всегда темной, всегда загороженной от дневного света.

Собачонок куда-то убрали, и единственными звуками было тихое бормотание кюре и эхо его молитвы, доносящееся с кресла напротив. У обоих были в руках четки; кюре, склонив голову, стоял на коленях, татап сидела сгорбившись в кресле — плечи нависли, подбородок упирается в грудь. Когда я вошел, никто не шевельнулся, но я видел, что рука графини, державшая четки, на миг стиснула их крепче и «аминь» после «Отче наш» и «Богородица Дева, радуйся» было произнесено громче, с большим рвением, словно читавший молитвы почувствовал, что ему внимают не только на небесах.

Я не опустился на колени — я слушал и ждал. Бормотание кюре продолжалось, монотонное, умиротворяющее, заглушающее мысли, и мне показалось, что именно такова его цель, неважно, за кого он молится — за мертвых или живых. Душа Франсуазы, лежавшей в больничной палате, не хотела, чтобы ей напоминали о мире, из которого она ушла; сознание матери, эхом повторяющей слова молитвы, не следовало пробуждать от сна неожиданным вопросом. Голос кюре, ровный и монотонный, как жужжание пчелы в чашечке цветка, действовал усыпляюще, и постепенно мое сознание и натянутые нервы словно онемели в атмосфере этой лишенной жизни комнаты.

Когда была сказана последняя молитва Отцу, и Сыну, и Святому Духу и прозвучало последнее «аминь», наступила пауза и земное вернуло себе свои права, говорящий обрел более материальную форму, превратился в кюре с его ласковым лицом старого младенца и кивающей головой. Поднявшись со скамеечки, он тут же подошел ко мне и взял меня за руку.

— Сын мой, — сказал он, — мы усердно молились за вас, ваша мать и я, мы просили, чтобы в этот ужасный, этот скорбный час вам было ниспослано мужество и дарована поддержка.

Я поблагодарил его, и он продолжал стоять, не отпуская моей руки и поплаживая ее, и, хотя он тревожился за меня, лицо его оставалось безмятежным. Я завидовал его устремленности к единой цели, его вере в то, что все мы — сбившиеся с пути дети, заблудшие овцы, которых Пастырь Добрый примет в Свои объятия или в Свою овчарню и наставит на истинный путь, независимо от наших грехов и упущений.

— Вы бы хотели, — сказал кюре, переходя сразу к тому, что, как он чувствовал, волновало меня больше всего, — вы бы хотели, чтобы я сообщил девочке о нашей утрате?

Я ответил: нет, я попросил Жюли все ей сказать, но скоро вернутся Поль и Бланш — может быть, он возьмет на себя труд обсудить с ними разные вещи, связанные с похоронами.

— Вы же знаете, — сказал кюре, — что и сегодня, и завтра, и всегда я в вашем распоряжении и готов сделать все, что в моих силах, для вас, для госпожи графини, девочки и всех живущих в замке.

Кюре благословил нас обоих, взял свои книги и вышел. Мы с графиней остались одни. Я молчал. Она тоже. Я на нее не глядел. Внезапно, поддавшись порыву, я подошел к окну и раздвинул тяжелые портьеры. Широко распахнул створки, откинул ставни, и внутрь ворвались свет и воздух. Я погасил обе лампы. В комнате стало светло. Затем встал возле кресла графини, на которое падало предвечернее солнце; оно показывало все, что было раньше скрыто: серую бледность испитого лица, глаза с набрякшими веками, тяжелый подбородок и, когда она подняла руку, чтобы прикрыться, и рукав ее черного шерстяного платья соскользнул к локтю, следы от укулов на предплечье.

— Что ты делаешь? Хочешь, чтобы я ослепла? — спросила она и наклонилась вперед, пытаясь уйти от света.

Четки упали на пол, молитвенник тоже, я поднял их и протянул ей, затем встал между ней и солнцем.

— Что произошло? — спросил я.

— Произошло?

Она повторила мой вопрос, подняв голову и пристально глядя на меня, но я оставался в тени, и мои глаза были ей не видны.

— Откуда я знаю, что произошло, я, узница в этой башне, бесполезная, никому не нужная... мне даже на звонок не отвечают. Я думала, ты пришел, чтобы рассказать, что произошло, а не спрашивать это у меня. — Графиня помолчала немного, потом добавила: — Закрой ставни и задерни портьеры. Ты же знаешь, я не переношу яркий свет.

— Нет, — сказал я, — не закрою.

Ее лицо сморщилось; она пожала плечами.

— Как хочешь. Ты выбрал странное время, чтобы их открыть, вот и все. Я приказала Гастону закрыть все окна и ставни в замке. Я полагаю, он сделал то, что я ему велела.

Графиня откинулась на спинку кресла, затем, взяв четки, заложила их между страницами молитвенника, словно желая отметить место, и снова кинула молитвенник на столик. Поправила подушки за спиной, придвинула под ноги скамеечку.

— Раз кюре ушел, — сказала она, — велю Шарлотте привести обратно собак. Когда он здесь, они нам мешают. Почему ты стоишь? Почему не подвинешь стул и не сядешь?

Я не сел. Я встал на колени возле кресла, положил ладонь на подлокотник. Графиня следила за мной, ее лицо — маска.

— Что вы ей сказали? — спросил я.

— Кому? Шарлотте?

— Франсуазе, — ответил я.

Никакого отклика, разве что она стала еще неподвижной. Левая рука перестала тереть бахрому шали.

— Когда? — спросила графиня. — Я ни разу не видела ее после того, как она заболела и слегла в постель. Я не видела ее уже несколько дней.

— Вы лжете, — сказал я. — Вы видели ее сегодня утром.

Этого ответа матан не ожидала. Я заметил, как она напряглась.

— У кого в доме длинный язык? — спросила она. — Кто это говорит?

— Я.

Я нарочно не повышал голос. В моем тоне не было обвинения, в словах — тоже.

— Она пришла в чувство? — Вопрос был короткий, резкий. — Она сказала тебе что-нибудь в больнице перед смертью?

— Нет, — ответил я. — Она ничего не сказала ни мне, ни кому-нибудь другому.

— Тогда какое значение имеет, была ли она здесь утром? Почему ты хочешь это узнать? Даже если так, чем это может теперь тебе помочь?

— Я хочу знать, как и почему она умерла, — ответил я.

Графиня махнула рукой:

— Что толку? Никто из нас этого не узнает. У нее закружилась голова, и она упала. Берта видела это, когда гнала коров в парк. Так мне сказала Шарлотта. Разве тебе не рассказали то же самое?

— Да, — ответил я, — рассказали. И Бланш, и, вероятно, Рене, и Полю. И всем в больнице. Но я этому не верю, вот в чем дело.

— А чему ты веришь?

Я пристально глядел ей в лицо, но на нем ничего нельзя было прочитать.

— Я уверен, что она убила себя. И вы тоже.

Я ожидал отрицания, вспышки гнева, даже обвинений, а возможно, капитуляции и мольбы о пощаде. Но вместо этого, как ни невероятно, графиня пожала плечами и, улыбнувшись, сказала:

— Убила себя? А если и так...

Этот ответ, холодный, небрежный, бессердечный, показывал, насколько мало ее тронула внезапная смерть Франсуазы, и подтверждал то, чего я больше всего опасался. Я с самого начала чувствовал, что графиня не питает симпатии к Франсуазе, но, помимо этого, было еще что-то, не произносимое вслух: желание свекрови, чтобы ее невестка умерла. Какова бы ни была причина — собственнический инстинкт, злоба, алчность, — графиня хотела убрать Франсуазу с дороги, а в глубине души верила, что ее сын тоже этого хочет. Болезнь во время беременности могла привести к желанному концу, сегодняшняя катастрофа ускорила его. В графине не вызывало жалости то, что несчастная, не видящая ни от кого внимания Франсуаза, потеряв волю к жизни, возможно, сдалась под влиянием момента. Ее смерть или рождение наследника — и то и другое — означало избавление от бедности, и теперь мать Жала была спокойна, что финансовые вопросы семьи наконец решены.

— Что бы ни случилось, — сказала она, — тебя никто ни в чем не обвинит. Тебя не было здесь. Поэтому забудь про все. Играй свою роль — скорби. — Графиня наклонилась вперед в кресле и сжала ладонями мое лицо. — Слишком поздно обзаводиться совестью, — сказала она. — Я говорила тебе об этом прошлым вечером. А если ты думал, будто Франсуаза переживет роды, что заставило тебя делать ставку на ее смерть?

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— В тот день, когда ты вернулся из Парижа, ты позвонил Корвалю, — сказала она. — Мне доложила об этом Шарлотта — она слушала разговор по второму аппарату в комнате Бланш, как всегда, когда внизу говорят что-нибудь интересное, — и когда я узнала о твоем согласии на их требования — чистой глупостью с твоей стороны, — я сразу поняла, что это авантюра. Ты рассчитывал на то, что у тебя появятся большие деньги. Иначе ты стал бы банкротом. Нечего удивляться, что на следующий день у тебя появились колебания и ты отправился в Виллар, в банк, и спустился в подвалы, чтобы освежить в памяти брачный контракт. Излишнее беспокойство, в библиотеке есть дубликаты всех документов, надо было только поискать. Но съездить в Виллар куда приятней, верно? У тебя там женщина. Ты сам мне сказал, когда вернулся.

Ход событий был очевиден, я ничего не мог отрицать. Мотивы моих действий, искаженные ею, неверно истолкованные, были сейчас неважны.

— Франсуаза знала о контракте, — сказал я. — Я не утаивал его от нее. Я говорил ей правду.

— Правду?

Глядящие на меня глаза были жесткие, циничные. Боль и мука прошлой ночи исчезли. Этой женщине было неведомо страдание. Она никогда не молила меня о помощи.

— Все мы порой говорим правду, — сказала она, — если это случайно выгодно нам. Франсуаза тоже сказала мне правду, когда пришла сюда утром. О да, ты был прав. Я действительно видела ее. Возможно, я последняя, кто ее видел. Она пришла одетая, готовая идти искать Мари-Ноэль. «Что так расстроило девочку? — спросила она. — Почему она убежала?» «Что ее расстроило? — ответила я. — Она боится, что займут ее место, вот и все. Кому по вкусу быть

свергнутым с престола. Она хочет избавиться от новорожденного, да и от вас тоже». Тут все и началось. Она сказала, что никогда не была здесь счастлива, всегда тосковала по дому, чувствовала себя одинокой, лишней, и все по моей вине, ведь я с самого начала была против нее настроена. «Жан никогда не любил меня», — сказала она. Я согласилась. «Даже сейчас ему нужно одно — деньги», — продолжала она. «Естественно», — сказала я. «И он хочет, чтобы я умерла и он мог жениться на ком-нибудь другом?» — спросила она наконец. Я сказала, что этого я не знаю. «Жан волочит за всеми женщинами. Он даже здесь, в замке, строил куры Рене, а в Вилларе у него есть любовница», — сказала я. Франсуаза сказала, что подозревала и то и другое и твоя доброта к ней в последние дни была только для отвода глаз. «Значит, избавиться от меня хочет не только девочка, — сказала она, — но и Жан, и вы, и Рене, и та женщина в Вилларе?» Я не ответила ей. Я сказала, чтобы она прекратила истерику и шла вниз. Это все. Больше мы не обменялись ни словом. Она просила правду и получила ее. Если у Франсуазы не хватило мужества встретить ее лицом к лицу, это ее дело. Я тут ни при чем. Какая разница, выкинулась она из окна или упала, так как у нее закружилась голова? Доказать тут ничего нельзя. Важен результат. Ты получил то, что хотел, ведь так?

— Нет! — вскричал я. — Нет...

Я толкнул тапан обратно в кресло; выражение ее лица изменилось. Она казалась напуганной, сбитой с толку, и внезапный переход от цинизма к страху, вызванному гневным звуком моего голоса, — а в гневе-то я был на себя, — заставил меня понять всю тщетность объяснений, всю бесплодность потраченных впустую усилий что-либо ей объяснить. Что бы она ни сказала Франсуазе, сколь правдивы или жестоки ни были ее слова, сказаны они были ради сына. Я не мог ее обвинять.

Я встал, подошел к окну и стоял там, глядя на лес позади парка. О Господи, думал я, неужели нельзя найти решение, неужели нет выхода — не для меня, самозванца, но для них — для матери, для Мари-Ноэль, для Бланш, для Поля и Рене? Если Жан де Ге разжигал их ревность, зависть, раздоры и вражду, оправданием ему могло служить прошлое. У меня нет такой отговорки. Я следовал по его стопам потому, что боялся разоблачения, хотел потерять свое «я».

Ночной дождь прочистил водосточные желоба. На языке горгульи поблескивала лужица. Что-то еще сверкало в желобе стеклянным блеском. Это была пустая ампула из-под морфия, брошенная туда Шарлоттой и до сих пор скрытая под листьями. Глядя на нее, я спросил себя, что было бы, если бы прошлой ночью я не пустил такую же ампулу в ход, а остался здесь, в спальне; чего бы я смог достичь, какого понимания добиться, какую вселить надежду? Я бы не поехал в Виллар, Мари-Ноэль не спустилась бы в колодезь. Трагедия была бы предотвращена, Франсуаза осталась бы жить. Я отвернулся от окна и посмотрел на женщину, сидящую в кресле, затем сказал:

— Вы должны мне помочь.

— Помочь тебе? Как? — спросила она. — Как я могу помочь тебе?

Я опустился на колени рядом с креслом и взял ее за руку. Какое бы зло ни причинили здесь в прошлом, какие бы ни нанесли обиды, чужак исправить этого не мог. Я мог построить заново лишь настоящее. Но не один.

— Вы только что сказали мне, будто я получил то, что хотел, — начал я. — Вы имели в виду деньги, да? Для стекольной фабрики, для всех нас, для Сен-Жиля?

— Что же еще? — спросила графиня. — Ты будешь богатый человек, сможешь делать что вздумаешь, будешь свободен. Только это и важно для тебя. Разве не так?

— Нет, не так, — сказал я — Для меня важны вы. Я хочу, чтобы вы снова были главой семьи, как прежде, а это невозможно, если вы не покончите с морфием.

И пока я произносил эти слова, что-то стало распадаться на части, слой за слоем рушилась стена, защищающая каждого из нас от нападения внешнего мира, стена, сквозь которую не слышен никакой зов, не виден никакой сигнал; на какой-то краткий миг самая ее сущность, замкнутая в себе, стала обнажаться, сжимавшая мою руку рука говорила мне об одиночестве долгих лет, об омертвевших чувствах, напоенном ядом уме, пустом сердце. Я ощущал, как все это перешло через наши сомкнутые руки ко мне, стало моей неотъемлемой частью, и бремя это оказалось невероятно тяжелым. А затем графиня выдернула свою ладонь из моей, броня снова прикрыла ей грудь, черты лица стали жестче, передо мной был человек, который

избрал для себя определенный образ жизни, — ведь иного ему было не дано, а тот, кто стоит возле нее на коленях, кого она считала своим сыном, пытается лишить ее единственного утешения, единственного способа все забыть.

— Я стара и слаба, от меня мало пользы, — сказала графиня. — Почему ты хочешь отнять у меня то, что дает мне забвение?

— Вы не стары и не слабы и можете принести много пользы, — сказал я, — мне, если не себе. Вчера вы спустились вниз на террасу и принимали гостей. Вы хотели быть рядом со мной, как раньше рядом с моим отцом, вы хотели быть такой, как когда-то давным-давно. Но дело было не только в желании вернуть прошлое или в гордости; это была попытка доказать самой себе, что все в вашей власти, что вы не зависите от коробки с ампулами, шприца, которые хранятся здесь, наверху, и от Шарлотты. Вы можете взять над ними верх, ведь вчера вам это удалось. Вы и дальше пересиливали бы себя, если бы не я.

Графиня подняла на меня глаза, недоверчивые, настороженные.

— Что ты имеешь в виду?

— О чем вы думали вчера утром, — спросил я, — после ухода гостей?

— О тебе, — сказала графиня, — и о прошлом. Я вернулась в прежние годы. Какое это имеет значение, о чем я думала? Это причинило мне боль, вот и все. А когда я страдаю, мне нужен морфий.

— Я заставил вас страдать, — сказал я. — Я был причиной.

— Пусть так, — сказала графиня. — Все матери страдают из-за своих сыновей. Страдание — часть нашей жизни. Мы не виним вас за это.

— Вашей, но не нашей. Сыновья не переносят боли. Я трус, всегда им был. Вот почему мне нужна ваша помощь, сейчас и в будущем, нужна куда больше, чем была нужна в прошлом.

Я встал с колен и вышел в соседнюю комнату. Коробка с ампулами по-прежнему лежала в шкафчике над умывальником, шприц тоже; я вынул их и, войдя в спальню, показал графине.

— Я заберу их с собой, — сказал я. — Возможно, это опасно, я не знаю. Вы сказали, что я рисковал, когда заключал новый контракт с Корвале в расчете получить состояние. Сейчас я тоже многое ставлю на карту, хотя рискую совсем другим.

Я видел, что пальцы ее вцепились в подлокотники, видел ужас и отчаяние, промелькнувшие в глазах.

— Я не могу этого сделать, Жан, — сказала она. — Ты не понимаешь. Я не могу лишиться себя этого вот так, вдруг. Я слишком стара, слишком слаба. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас. Если ты хотел, чтобы я бросила, почему не сказал мне раньше? Сейчас слишком поздно.

— Нет, не поздно. — Я положил коробку на стол. — Дайте мне руки, — сказал я.

Графиня вложила ладони в мои, и я поднял ее из кресла. Стараясь удержаться на ногах, она вцепилась в повязку, и я почувствовал, как разлилась боль от пальцев до самого локтя. Графиня продолжала цепляться за меня, не осознавая, что делает, и я понял — уберите я руку, что-то будет потеряно: вера, сила, которые сейчас поддерживают ее, придают ей мужества.

— А теперь пойдете вниз, — сказал я.

Она стояла между мной и окном: грузная, большая, заслоняя собой свет, чуть пошатываясь, чтобы не потерять равновесия; крест из слоновой кости, который она носила на шее, раскачивался маятником из стороны в сторону.

— Вниз? — повторила она. — Зачем?

— Затем, что вы мне нужны, — сказал я. — Теперь вы будете сходить вниз каждый день.

Долгое время графиня стояла, не расслабляя пальцев, вцепившихся мне в руку. Наконец она меня отпустила и, величественная, горделивая, двинулась к дверям. В коридоре, отказавшись от помощи, она опередила меня и распахнула дверь в соседнюю комнату. И тут же навстречу ей выскочили терьеры; они лаяли, прыгали, подскакивали вверх, чтобы лизнуть ее.

Графиня торжествующе повернулась ко мне.

— Так я и думала, — сказала она. — Собак не выводят. Шарлотта лжет мне. Она обязана водить их каждый день в парк на прогулку. Беда в том, что в замке никому ни до чего нет дела. Откуда же быть порядку?

Собаки, выпущенные из заточения, помчались к лестнице; в то время как мы медленно шли следом за ними, графиня сказала:

— Я правильно расслышала — ты говорил кюре, что приготовлениями к похоронам займутся Бланш и Поль?

— Да, — ответил я.

— Они ничего в этом не смыслят, — сказала графиня. — В замке не было похорон с тех самых пор, как умер твой отец. Все должно быть сделано как положено. Франсуаза не кто-нибудь там, она важная особа, ей должно быть оказано всяческое уважение. В конце концов, она была твоей женой. Она была графиней де Ге.

Мамап подождала на площадке лестницы, пока я отнес коробки в гардеробную. Входя в гостиную, мы услышали голоса. Все остальные уже вернулись. Поль стоял у камина, рядом с ним — кюре. Рене сидела на своем обычном месте в углу дивана, Бланш — в кресле. Все в замешательстве уставились на нас, даже кюре понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя и, скрыв удивление, озабоченно спросить, чем он может нам помочь. Но графиня отстранила его и направилась напрямик к тому креслу у камина, где всегда сидела Франсуаза. Бланш тут же поднялась и подошла к ней.

— Вам не следовало вставать с постели, — сказала она. — Шарлотта говорит, что сегодняшнее потрясение сильно отразилось на вас.

— Шарлотта — лгунья, — сказала графиня, — а ты занимайся своими делами.

Она пошарила в складках платья в поисках очков, которые свисали с ее шеи на цепочке рядом с крестом, надела их и посмотрела на каждого из нас по очереди.

— У нас траур, — сказала она. — Это дом скорби, а не дом для престарелых. Умерла моя невестка. Я намерена проследить, чтобы ей были оказаны все положенные почести. Поль, принеси мне карандаш и несколько листов бумаги. Бланш, в верхнем ящике бюро у меня в комнате ты найдешь досье, где записаны имена всех людей, которые были званы на похороны вашего отца. Большинство уже умерло, но у них остались родственники. Рене, подите принесите из холла телефонный справочник. Господин кюре, буду очень вам признательна, если вы подойдете и сядете рядом со мной; мне может понадобиться ваш совет относительно самого обряда погребения. Жан... — Она взглянула на меня и приостановилась. — Хотя сейчас мне твоя помощь не нужна. Пойди погуляй, воздух будет тебе на

пользу. Можешь вывести собак, раз Шарлотта не сделала этого. Но прежде чем ты пойдешь, — добавила она, — надень темный костюм. Граф де Ге не разгуливает по парку в спортивной куртке, когда он потерял жену.

Глава 22

Я вышел из гостиной, поднялся наверх и переоделся. Затем вызвал Гастона и попросил подогнать к дверям машину.

— Я хочу, чтобы вы отвезли меня на фабрику, — сказал я, — я собираюсь забрать Мари-Ноэль.

— Хорошо, господин граф.

Когда мы уже выехали из деревни и поднимались по склону холма к лесу, Гастон сказал:

— Моя жена и я, господин граф, и все, кто есть в замке, выражают вам глубочайшее сочувствие в этот тяжкий час.

— Спасибо, Гастон.

— Если мы можем хоть что-нибудь для вас сделать, вам стоит только намекнуть, господин граф.

Я снова его поблагодарил. Никто, кроме меня, ничего не мог сделать, чтобы успокоить тревогу и облегчить боль, а я начал с того, что лишил наркоманку морфия, рискуя навлечь на нас еще худшую беду. Что из этого выйдет, я не знал. Знал я одно: я становлюсь игроком, как Жан де Ге.

Гастон притормозил у фабричных ворот. Еще не наступил вечер, но поблизости никого не было видно. Должно быть, рабочие прекратили работу на весь день в знак траура по Франсуазе.

Я вылез из машины и пошел на безлюдный двор. Сторожка была пуста. Наверно, Жюли у сына и Мари-Ноэль с ней. Я попросил Гастона подождать и зашагал к дому управляющего, но дверь была на замке. Пройдя по выщербленному булыжнику под окнами, я подошел к колодцу и заглянул внутрь. До низу было около двадцати футов. Шаткая лестница с провалами там, где не доставало перекладин, наполовину сгнила. Стенки были слизкие, зеленые от плесени. Далеко внизу, на самом дне, я увидел битое стекло, песок и грязь. Невозможно было поверить, что десятилетний ребенок спустился сюда ночью без всякого страха и вреда для себя. Однако так именно и произошло.

Я отошел от колодца и сквозь пыльные стекла заглянул в комнату. На полу, там, где лежала утром Мари-Ноэль, все еще валялась груда

одеял. Я обошел дом, чтобы попасть в него со стороны сада, но окно, через которое я тогда проник, было закрыто. К счастью, торопясь после нашего отъезда увести Мари-Ноэль к Андре или к себе в сторожку, Жюли позабыла накинуть крючок.

Я снова распахнул окно и залез внутрь. Затем подошел к груде одеял, как сделал это утром, и вызвал из небытия безмятежное личико спящей девочки, недоступной, казалось, ни страху, ни страданию; и однако, в то самое время, когда я на нее смотрел, ее терзал тягостный, чудовищный сон, вселивший в нее тревогу. Я наклонился и дотронулся до одеяла, и это напомнило мне другие времена — в Шиноне или Орлеане, когда пилигримы один за другим дотрагивались грязными пальцами до ступеней, где некогда преклонила колени Орлеанская Дева, словно надеясь извлечь из камня крупицу ее чистоты. Я считал тогда, что это глупо. Это и было глупо. Одеяло, которого я коснулся, укрывало ребенка со слишком богатым воображением, к тому же прошедшего ночь на дне колодца. Я нащупал в кармане клочок бумаги и прочитал последние строки: «Святая Дева сказала мне, что ты несчастлив, что ты страдаешь за то зло, которое причинил в прошлом, поэтому я буду молиться, чтобы за твои грехи Бог покарал меня, ведь я молода и сильна, мне легче вынести наказание. Спи спокойно и верь в свою Мари-Ноэль, которая любит тебя от всей души». Я положил бумажку обратно. Здесь, в этой комнате, я был единственным пилигримом...

Я вылез в сад через окно и вернулся тем же путем, каким пришел сюда, бросив мимолетный взгляд на искривленные старые яблони, гнущиеся под тяжестью плодов, на упавшие подсолнечники и вьющийся по стенам виноград с тяжелыми спелыми гроздьями, которые никто не срывал. Должно быть, Гастон зашел к сыну Жюли и сказал, что я здесь, так как по двору навстречу мне спешила Мари-Ноэль.

Я вдруг почувствовал, что не могу подобрать слов. Я думал, что сперва увижу Жюли и она расскажет мне, как девочка приняла горестное известие.

— Не смейся! — крикнула она.

Смеяться? Никогда в жизни у меня не было меньшего желания смеяться. Я остановился в недоумении, не понимая, что она имеет в виду.

— Мне дали одежды Пьера, — сказала девочка. — Это его фуфайка и черный комбинезон. Мадам Ив заставила меня снять голубое платье, потому что оно было сырое. К тому же сейчас оно не годится.

Только тут я заметил, что одежда ей мала. Штанины были короткие, отчего ноги казались длиннее и тоньше, а чужие сабо, которые она надела, были значительно больше, чем надо, и чтобы они не спадали, ей приходилось ходить, не поднимая ног.

— Посмотри, — сказала Мари-Ноэль. — Я выше Пьера, а ему двенадцать.

И показала мне, что рукава комбинезона не доходят ей до запястий, стараясь вытянуться повыше, чтобы комбинезон казался еще меньше.

— Да, — сказал я, — вижу.

Я стоял на месте, глядя на нее. Мне было неловко.

Конечно же, думал я, должны быть какие-то слова, которые отец говорит дочери в таких трагических обстоятельствах. Отец не будет, как я, стоять столбом и обсуждать одежду.

— Я не мог приехать за тобой раньше... — начал я, но она не дала мне договорить. Она взяла меня за руку и сказала:

— И хорошо, что не мог. Пойди посмотри, что мы с Пьером построили. — И отвела меня к куче стеклянных отходов, возле которой была горка из камешков. — Это замок, — сказала она, указывая на маленькую стеклянную игрушку, бывшую утром у нее в кармане, — а это дома Сен-Жиля. Этот большой кусок — церковь. Посмотри, Пьер набрал гравия, чтобы сделать дороги. Эта полоска из ракушек — река, а дощечка — мост. Мы играем здесь с самого утра.

Значит, Жюли ничего не сказала девочке. Она не знает. Я оглянулся через плечо в поисках Жюли или Гастона, но не увидел никого из них.

— Где мадам Ив? — спросил я.

— У Андре. Разговаривает с ним и Гастоном. Пьер побежал на ферму за молоком. Я выпила утром все их молоко, там всего было на доньшке кувшина. Догадайся, что мы ели на завтрак? Куриные котлеты! Мадам Ив пошла и поймала бедненького старого хромого петуха, того, черного, который всегда дрался с остальными. Она

сказала, ему пришло время отдохнуть, и он храбро отправился на отдых в мою честь.

Мари-Ноэль посмотрела на мое изумленное лицо. Я ничего не сказал. Я пытался придумать, как сообщить ей о том, что случилось.

— Знаешь, — сказала Мари-Ноэль, понизив голос, — это очень грустно, но мама Пьера больше с ними не живет. Она убежала в Ле-Ман несколько недель назад, вот почему мадам Ив приходит сюда и готовит для Андре и Пьера. Ну не ужасно ли мальчику остаться без мамы, а мужу без жены!

Я дал Жюли слишком мало времени. Вот в чем дело. Еще и часа не прошло, как Гастон передал ей мою просьбу. У нее не было подходящего момента, чтобы сообщить девочке ужасную новость.

— Мы почти в таком же положении, — продолжала Мари-Ноэль, — ты даже обжегся, как Андре, только твой ожог заживет через несколько дней, а он останется калекой на всю жизнь. И мы можем утешаться тем, что о татап хорошо заботятся. Как сказала мадам Ив, лучше быть с Иисусом Христом на небесах, чем с механиком в Ле-Мане. — Она встала, отряхнула песок с колен. — Когда Эрнест вернулся и сказал, что татап увезли в больницу, я знала, что будет. Мои сны обычно сбываются. Хорошо хоть, что это был несчастный случай. В моем сне мы пытались убить ее. Но как вышло, что татап упала из окна?

— Не знаю, — сказал я. — Никто не знает.

— Я это выясню, — сказала девочка, — это порадует татап в раю, если мы будем знать.

Она подняла с земли стеклянный замок, положила его в карман, и, рука в руке, мы направились к сторожке. В воротах показались Гастон и Жюли. Через локоть у нее была перекинута одежда Мари-Ноэль.

— Вещи высохли, — сказала она. — Пере оденься. Нельзя возвращаться в замок в таком виде. Ну-ка, быстренько.

Жюли торопливо подтолкнула девочку к дверям сторожки, сунув ей одежду, а сама обернулась ко мне.

— Она держалась очень мужественно, — сказала она, — вы можете ею гордиться.

— Все произошло слишком быстро, — сказал я, — она еще не успела почувствовать.

Жюли с жалостью посмотрела на меня, как сегодня утром, когда мы стояли возле спящей Мари-Ноэль.

— Неужели вы так мало знаете детей, мсье Жан? — сказала она. — Думаете, раз они не плачут, значит, ничего не чувствуют? Если так, вы очень ошибаетесь. — Жюли говорила горячо, быстро, словно спешила защитить девочку от обвинения, но тут же взяла себя в руки. — Извините меня, мсье Жан, может быть, я говорю слишком прямо, но девочка завоевала сегодня все наши сердца... Примите мои соболезнования, господин граф, в вашей великой утрате.

Правила приличия были соблюдены. Привратница стекольной фабрики обращалась к сеньору Сен-Жиля. Я наклонил голову и поблагодарил ее. Затем обратился к ней снова как старый друг.

— Вы так много сделали для нас сегодня, Жюли, — сказал я. — Мне казалось, что вы самый подходящий человек для того, чтобы сообщить девочке о несчастье. И я оказался прав.

— Мне нечего было ей сообщать, — возразила Жюли, — она сама все нам сообщила. Ее предупредили во сне, сказала она. Я лично никогда не верила снам, мсье Жан. Но дети, как и животные, ближе к Богу.

Жюли поглядела через пустой двор на дом управляющего и колодец.

— Видимо, будет расследование в полиции, — заметила она. — Вы ведь не станете перевозить мадам Жан в замок, пока оно не закончится?

— Расследование в полиции? — повторил я.

— Конечно, спрашивать станут прежде всего врачей, — сказала Жюли, качая головой. — Будем надеяться, оно не займет много времени. В этих вещах мало приятного.

В больнице я был слишком потрясен и расстроен, чтобы подумать о полицейском расследовании. Но Жюли была права. Должно быть, Поль и Бланш обсуждали это в числе всего прочего после моего отъезда.

— Я не знаю точно, что именно надо делать, Жюли, — сказал я. — Я оставил все на усмотрение мсье Поля и мадемуазель Бланш.

Из сторожки вышла Мари-Ноэль, переодетая в свое пальто и платье. Она поцеловала Жюли, мы попрощались, и Гастон отвез нас

обратно в Сен-Жиль. Когда мы проезжали в ворота, я увидел на дорожке перед террасой четыре чужие машины.

— Вон машина доктора Лебрена, — сказала Мари-Ноэль, — и мсье Тальбера. Остальные я не знаю.

Тальбер — тот частный поверенный, что написал найденное мной в сейфе письмо? Видимо, он вел все дела семьи. Когда мы остановились за последней из машин и вышли, я увидел, что за рулем первой сидит человек в форме.

— Машина commissaire de police, [58] — шепнул Гастон. — Должно быть, он приехал из Виллара вместе с Тальбером и врачами.

— А зачем им всем было приезжать сюда? — спросила Мари-Ноэль. — Они не станут никого арестовывать?

— Они всегда приезжают, — сказал я, — если бывает несчастный случай. Мне надо будет с ними поговорить. Может быть, ты найдешь Жермену и попросишь ее тебе почитать?

— Жермена плохо читает, — ответила Мари-Ноэль. — Да ты не беспокойся за меня. Обещаю тебе, что больше никогда в жизни я не сделаю ничего такого, что причинит тебе горе.

Она поднялась на террасу и вошла в дверь. Я обернулся к Гастону.

— Комиссар полиции, возможно, захочет допросить вашу жену, — сказал я, — ведь она была здесь, когда все это случилось.

— Да, господин граф.

У него был встревоженный вид. Я тоже тревожился, этот кошмарный день еще не подошел к концу. Войдя в холл, я услышал голоса, доносившиеся из гостиной. Когда я открыл дверь, они смолкли. Все обернулись и посмотрели на меня. Я узнал доктора Лебрена и доктора Мотьера из больницы. Третий мужчина, невысокий, плотного сложения, с седеющими волосами, был, очевидно, поверенный мсье Тальбер. Четвертый, державшийся более официально, чем остальные, был, должно быть, commissaire de police.

Первая моя мысль была о графине. Я взглянул на другой конец гостиной и увидел, что она — неприступная, властная — по-прежнему сидит у камина. Никаких признаков усталости. Она господствовала над всей комнатой, в ее присутствии все остальные казались пигмеями.

— А вот и мой сын, мсье, — сказала она комиссару полиции. Затем обернулась ко мне: — Мсье Лемот был так любезен, что сам приехал из Виллара, чтобы задать необходимые вопросы.

Трое мужчин подошли ко мне, желая выразить свое соболезнование:

— С огромным сожалением вторгаюсь к вам, мсье, — от commissaire de police.

— Я совершенно потрясен, мсье, разрешите разделить с вами это тяжкое испытание, — от поверенного.

— Не знаю, как выразить, де Ге, насколько я опечален, — от Лебрена.

Тихие слова благодарности, рукопожатия помогли заполнить неловкую паузу перед допросом, придали достоинство и естественность всему происходящему. Затем, когда с учтивостями было покончено, комиссар обратился ко мне.

— Доктор Лебрен и доктор Мотьер сообщили мне, мсье, что ваша жена в скором времени ожидала ребенка и, если я их правильно понял, последние дни находилась в весьма нервном состоянии, — сказал он. — Вы согласны с этим?

— Да, — сказал я. — Безусловно.

— Возможно, у нее были необоснованные опасения относительно родов?

— Думаю, что да.

— Простите меня, мсье, — прервал нас Тальбер. — Господин граф извинит мое вмешательство, но я должен добавить, что оба, и он, и мадам Жан, считали дни до рождения ребенка. Они надеялись, что у них родится сын.

— Естественно, — заметил комиссар, — все родители одинаковы.

— Но в данном случае, — сказал поверенный, — к тому были особые причины: согласно брачному контракту, рождение сына означало значительное увеличение капитала. В особенности это касалось господина графа. Из слов мадам Жан я понял, что она страшилась разочаровать своего супруга и всю семью. Именно этим, я думаю, и объясняется ее тяжелое нервное состояние.

— «Страшилась», пожалуй, слишком сильно сказано, мсье Тальбер.

Все повернулись к графине, по-прежнему сидящей в кресле у камина.

— Моя невестка не имела никаких оснований страшиться кого-нибудь из нас. Мы не так зависим от брачного контракта, что не можем прожить без его помощи. Семья моего покойного мужа владела Сен-Жилем в течение трехсот лет.

Частный поверенный вспыхнул.

— Я вовсе не хотел сказать, госпожа графиня, что мадам Жан кто-то запугивал. Просто ситуация была щекотливая, и она чувствовала свою ответственность. Рождение сына значительно облегчило бы финансовые трудности, и она это понимала.

Commissaire посмотрел на доктора Лебрена. Тот в нерешительности взглянул на графиню, затем на меня.

— Мадам Жан, естественно, очень хотела сына, — сказал он, — и с тревогой ждала родов. Не скрою, она только об этом и говорила, когда я осматривал ее на прошлой неделе. Несомненно, эта тревога еще ухудшила ее самочувствие.

— Короче говоря, — сказал комиссар полиции, — мадам Жан была склонна к истерии. Простите меня, мсье, я только хочу установить тот факт, что к моменту несчастного случая ваша супруга была крайне возбуждена, а следовательно, более подвержена приступам головокружения. Вы согласны со мной, доктор?

— Разумеется, разумеется...

— А вы, мсье?

— Думаю, вы правы, — ответил я. — К тому же она очень волновалась за дочку. Вам сказали, что тут произошло?

— Мсье Поль де Ге и мадемуазель Бланш сообщили мне все сведения, также и *femme de chambre*. Я рад, что в конце концов девочка отыскалась. Значит, в последний раз вы видели свою супругу сегодня утром, перед тем как отправились на поиски дочери?

— Именно.

— Очень она была обеспокоена?

— Не больше, чем все остальные.

— Она не говорила, что собирается встать и присоединиться к тем, кто пошел на розыски?

— Нет.

— Вы оставили ее в постели, предполагая, что она будет ждать вашего возвращения с известиями, что девочку благополучно нашли?

— Да.

— Значит, судя по всему, из дому ушли все, кроме двух горничных — Шарлотты и Жермены, которая принесла мадам Жан завтрак, а затем была отправлена в деревню, — кухарки, которая была внизу, в кухне, и, разумеется, госпожи графини, находившейся у себя в комнате наверху. Я уже осмотрел место, куда упала ваша супруга, — добавил он. — С вашего разрешения, пройдем сейчас в спальню.

— Разумеется, разумеется, — сказал я.

— Я уже допросил БERTУ, женщину, которая присматривает за коровами. Она видела, как ваша супруга высунулась из окна, словно хотела что-то достать, — так БЕРТА это описывает, — затем вдруг схватилась за воздух и упала. БЕРТА стала громко звать на помощь, ее услышали кухарка и Шарлотта и тут же побежали в ров. Кухарка вызвала из Виллара карету «скорой помощи». Все остальное мне сообщил доктор Мотьер. Я должен выяснить, не заходил ли кто-нибудь в спальню после Жермены, горничной, которую я только что опрашивал, — той, что приносила в спальню завтрак.

— Могла зайти Шарлотта, — сказала Рене.

— Может быть, вы пригласите ее сюда, мсье? — спросил комиссар.

— Шарлотта моя личная горничная, я сама вызову ее, — сказала графиня; рука с подлокотника потянулась к шнуру от звонка. — Как раз Шарлотта и сообщила мне о том, что случилось. Она была в истерике. Вероятно, остальные тоже. Вряд ли вы чего-нибудь от нее добьетесь. Слуги всегда теряют голову, когда в дом приходит беда.

В ответ на звонок в дверях появился Гастон, и графиня сказала ему, что комиссар полиции желает поговорить с Шарлоттой.

— Я не вполне понимаю, — спросил Поль, — какое значение имеет то, что Жермена или Шарлотта сказали моей невестке? Какая связь между их словами и тем, что у нее закружилась голова и она упала из окна?

— Прошу прощения, мсье, — ответил комиссар, — я вполне уясняю себе, какое горе это причинило всем родным покойной. Но в соответствии с требованиями закона я должен твердо установить, что

причина смерти была случайной. К сожалению, когда человек падает с высоты, это не всегда так.

Рене вдруг побледнела.

— Что вы имеете в виду? — спросила она.

— Мадам, — мягко произнес commissaire, — когда у человека шалют нервы, это иногда приводит его к весьма рискованным поступкам. Я не хочу сказать, что именно это произошло в данном случае. Как я уже говорил, я склонен думать, что причиной несчастья, скорее всего, является внезапный приступ головокружения. Но я должен полностью в этом удостовериться.

— Вы имеете в виду, — спросила Бланш, — что моя золовка могла нарочно выброститься из окна?

— Это не исключено, мадемуазель. Хотя маловероятно.

В комнате наступила тишина. И когда я поглядел на встревоженные лица моих родных, мне показалось, что в тишине этой звучат молчаливые протесты и оправдания — ведь каждый из них в глубине души знал, что он способствовал смерти Франсуазы. И Бланш, с успехом отобравшая у нее любовь Мари-Ноэль, и Поль, с бесконечными жалобами по поводу пунктов брачного контракта, не позволявших Франсуазе финансировать семейное дело, и Рене, не подумавшая, что если ее интрижка с Жаном станет известна, это сделает Франсуазу несчастной, и графиня, чей чудовищный материнский инстинкт, стремление единолично владеть сыном не только отняли у Франсуазы привязанность мужа, но даже лишили ее подобающего ей места в доме, — все они несли свою долю ответственности за тот нервный срыв, который, возможно, привел Франсуазу на дно сухого рва.

Но тут с подозрительным и обиженным видом в комнату вошла Шарлотта, и напряженная тишина была нарушена.

— Вы посылали за мной, госпожа графиня?

— Commissaire de police намерен задать вам несколько вопросов, Шарлотта, — ответила графиня.

— Я хочу знать, — сказал комиссар, — беседовали ли вы с мадам Жан сегодня утром — до того, как произошел несчастный случай.

Шарлотта кинула на меня сердитый взгляд, и по ее выражению я понял, что она думает, будто он задал ей этот вопрос из-за какого-то

замечания или жалобы на нее. Она решила, что я успел рассказать ему о ее утреннем посещении спальни и ее ждет выговор.

— Я заглянула к мадам Жан всего на несколько минут, — сказала Шарлотта. — Я не сплетничала и ни на кого ничего не наговаривала. Если господин граф думает, будто я встревожила мадам Жан, он ошибается. Я даже не упомянула о телефонном разговоре.

— Телефонный разговор? — повторил комиссар. — Какой телефонный разговор?

Шарлотта поняла, что попала впросак, и негодуяще посмотрела на свою хозяйку, затем на меня. Желая скрыть былые проступки, она выдала сама себя.

— Прошу прощения, — проговорила она. — Я думала, господин граф хочет найти за мной вину. Я случайно слышала его разговор с Парижем, но ни слова не сказала об этом мадам Жан. Ей и без того хватало неприятностей.

Все повернулись ко мне, выражение их лиц — от подозрения на лице Рене до замешательства на лице Лебрена — яснее ясного говорило о том выводе, который они сделали из Шарлоттиных язвительных слов. Первой нарушила молчание графиня.

— Телефонный разговор моего сына был деловым, — сказала она. — Он никоим образом не касается теперешней ситуации.

Commissaire примирительно кашлянул.

— Я не имею ни малейшего желания вмешиваться в финансовые дела господина графа, мадам, — сказал он, — но все, что могло усугубить беспокойство его супруги, представляет для нас интерес.

Он повернулся ко мне.

— Госпожа Жан знала об этом разговоре? — спросил он.

— Да.

— В нем не было ничего, что могло бы ее расстроить?

— Абсолютно. Речь шла о контракте, который я заключил в Париже.

Комиссар полиции обратился к Шарлотте:

— Почему вы решили, что телефонный разговор с Парижем мог быть неприятен госпоже Жан? — спросил он. Тон его не был суров, просто сух.

Шарлотта, и так не скрывавшая свою неприязнь ко мне, сочла, что комиссар полиции порицает ее, и посмотрела на меня с открытой

злостью.

— А уж на это пусть ответит господин граф, — сказала она.

— Это просто нелепо, — вмешался в разговор Поль. — Мой брат возобновил контракт с парижской фирмой Корвале, которая покупает оптом большую часть наших стекольных изделий. Мы были очень довольны, что ему это удалось. В противном случае нам пришлось бы закрыть *vergerie*. Он подписал контракт на условиях, которые позволят нам продолжать работу по меньшей мере еще полгода. Моя невестка была рада этому не меньше, чем все остальные.

Тальбер, не скрывая своего удивления, выступил вперед.

— Не хочу спорить с вами, мсье, — сказал он Полю, — но ваши сведения, безусловно, неверны. Только сегодня утром Корвале прислал мне копию нового контракта. Он существенно отличается от предыдущего, и условия решительно не в вашу пользу. Я был поражен, читая его. Естественно, сегодняшняя трагедия выбила все у меня из головы, но поскольку об этом сейчас зашла речь... — Он взглянул на меня. — Возможно, это несколько расстроило мадам Жан. Ведь рождение наследника стало еще важнее, чем прежде.

Поль ошеломленно глядел на Тальбера.

— Что вы имеете в виду? — спросил он. — Как это новый контракт не в нашу пользу? Его условия очень выгодны для нас.

— Нет, — сказал я.

Я увидел, как комиссар украдкой взглянул на часы. Запутанные финансы семьи де Ге его не касались.

— Мы поговорим с братом насчет контракта позднее, — быстро сказал я ему. — Могу заверить вас, что мою жену он ничуть не встревожил; она пользовалась моим полным доверием и ценила это. Больше мне сказать нечего. Вы готовы пойти сейчас наверх и осмотреть спальню?

— Благодарю вас, мсье. — Он обернулся к Шарлотте, чтобы задать последний вопрос. — Если не считать тревоги из-за девочки, мадам Жан вела себя как обычно? — спросил он.

Шарлотта пожала плечами.

— Пожалуй, да, — хмуро произнесла она. — Не знаю. Мадам Жан легко падала духом. Она сказала, что очень расстроилась из-за своих любимых фарфоровых фигурок. Они разбились. Мадам Жан очень их ценила, даже пыль с них стирала сама, никому и дотронуться

до них не позволяла. «Хоть они — мои, — говорила она. — Они не из Сен-Жиля».

Этот злобный удар Шарлотта нанесла на прощание всем обитателям замка. Сен-Жиль был заклемен. Я спросил себя, видел ли комиссар полиции Франсуазу такой, какой видел ее я: одинокая, от всех особняком, она цеплялась за сокровища, привезенные из родного дома сюда, где она никому не была нужна, где добивались не ее любви, а ее денег.

Commissaire попросил проводить его в спальню, и я повел его наверх; все прочие остались в гостиной. Когда мы шли по коридору, он сказал:

— Я должен снова выразить свое сожаление, мсье, но по поводу того, что мы еще усугубили ваше горе, вторгшись к вам в такое время и причинив все эти неудобства.

— Ради бога, не извиняйтесь, — сказал я, — вы проявили максимум такта.

— Любопытная вещь, — сказал он. — Обычно, когда случается подобная трагедия, те, кто были ближе всех к усопшему, чувствуют себя так, словно находятся на скамье подсудимых. Они спрашивают себя, нет ли здесь их вины и как они могли бы предотвратить это. В вашем случае на второй вопрос есть один ответ: никак. Все, кроме прислуги, ушли из замка. Это было очень неудачно, но тут никто не виноват, разве что ваша малышка, но она об этом никогда не узнает.

Я открыл дверь спальни и, когда мы вошли, увидел, что закрытые прежде ставни распахнуты настежь, а створки окна откинута к стене. Через подоконник перевесилась Мари-Ноэль; одной рукой она держалась за оконную раму, другая, так же как и плечи и голова, была не видна. Я слышал, как у комиссара полиции перехватило дыхание, и сжал его локоть. Мы оба импульсивно бросились было вперед, но, сделай мы это, мы могли ее напугать — вдруг девочка выпустит раму! Застыв на месте, мы ждали — вечность, а возможно, десять секунд. Затем рука переместилась, тело стало сползать в комнату, и Мари-Ноэль показалась в проеме окна. Она спрыгнула на пол лицом к нам, растрепанная, с сияющими глазами.

— Я достала его, — сказала она. — Он зацепился за оконный карниз.

К комиссару полиции к первому вернулся голос. Я не мог говорить. Я мог только глядеть, не отрывая глаз, на Мари-Ноэль, невредимую, даже не подозревающую об опасности. В руках ее было что-то похожее на тряпку для вытирания пыли.

— Что вы достали, дитя мое? — спросил commissaire.

— Медальон, — ответила Мари-Ноэль, — тот, который папа привез татап из Парижа на прошлой неделе. Наверно, она вытряхивала из тряпки пыль в окно, как она всегда делала, и медальон за нее зацепился. И то и другое лежало на карнизе под окном. Я высунулась и увидела их.

Девочка подошла поближе.

— Посмотрите, — сказала она, — булавка вонзилась в тряпку. Если бы я не перевесилась вниз так далеко, я бы до них не дотянулась. Матап надо было только позвонить, и Гастон или другой кто-нибудь достали бы ей медальон. Она думала, что сможет добраться до него сама. — Мари-Ноэль взглянула на commissaire. — Вы верите в Бога? — спросила она.

— Разумеется, — удивленно ответил он.

— Папа — нет. Он скептик. Но то, что я нашла медальон и пыльную тряпку, было ответом на мою молитву. Я сказала Святой Деве: «Я так мало делала для татап при ее жизни. Позволь мне сделать для нее хоть что-нибудь, когда она умерла». Святая Дева велела мне высунуться из окна. Мне не хотелось. Мне было неприятно. Но я нашла медальон. Я так и не знаю, чем это может помочь татап, но, может быть, там, в раю, ей хочется, чтобы медальон был у ее дочери, а не лежал, позабытый, и покрывался ржавчиной на карнизе.

Глава 23

Прежде чем уехать, комиссар полиции заверил меня, что вполне удовлетворен расследованием — моя супруга, без сомнения, случайно упала из окна, — и попросил заехать к нему на следующий день в одиннадцать часов. Насколько он понял со слов моего брата, тело привезут в замок позднее. Он снова выразил мне свое соболезнование, я снова поблагодарил его. Через несколько минут он уехал, оба доктора в своей машине за ним следом. Остался только частный поверенный, который был достаточно тактичен, чтобы извиниться за свое присутствие.

— Я задержался, мсье, — сказал он, — лишь потому, что понял из беседы с вашим братом, что он не имел понятия о пунктах нового контракта с Корвале. И я подумал, что, пожалуй, есть смысл хотя бы в нескольких словах прояснить ситуацию.

— Единственное, что поможет прояснить ситуацию, — ответил я, — это личное знакомство с контрактом. Мой брат волен прочитать его в любую минуту. Документ находится сейчас у меня в комнате.

Поль был в нерешительности.

— Мне не хотелось бы настаивать, особенно в настоящий момент, — сказал он, — но ты должен меня понять. Судя по словам мсье Тальбера, новый контракт отличается от старого в самых существенных пунктах. Значит ли это, что все, сказанное тобой Жаку и мне по возвращении из Парижа, было ложью?

— Да, — сказал я.

— Тебе от этого какая разница? — прервала нас тапан. — Владелец vergerie Жан, а не ты. Он имеет полное право устраивать свои дела так, как считает нужным.

— Я управляю фабрикой, так? — сказал Поль. — Во всяком случае, стараюсь это делать. Знает Бог, это всегда было неблагодарной задачей. Я никогда не хотел этим заниматься, просто не было никого другого. Но зачем Жану было лгать, вот чего я не понимаю. Какой смысл был ставить нас всех в дурацкое положение?

— Я вовсе не хотел никого ставить в дурацкое положение, — сказал я. — Я думал, что это единственный шанс спасти vergerie. Я

отказался от мысли закрывать ее уже после возвращения из Парижа. Не спрашивай почему. Ты этого не поймешь.

— Но откуда ты взял бы деньги? — спросил Поль. — Мсье Тальбер говорит, что при новых условиях фабрику ждет крах.

— Не знаю. Я об этом не думал.

— Мсье надеялся на наследника? — предположил поверенный. — Потому-то он, без сомнения, и посвятил в это мадам Жан? Разумеется, теперь, когда все обернулось таким образом...

Он замолчал, — человек он был осмотрительный. Графиня, по-прежнему сидевшая у камина, не спускала с него глаз.

— Мы слушаем вас, — сказала она. — Кончайте свою фразу, мсье. Теперь, когда все обернулось таким образом... Что дальше?

Поверенный, словно извиняясь, обратился ко мне:

— Я не сомневаюсь, мсье: ни для кого в семье не секрет, что согласно брачному договору после смерти супруги вы получаете значительное состояние.

— Отнюдь не секрет, — подтвердил я.

— Так что, по сути дела, выгодны для вас условия контракта с Корвале или нет, не так уж и важно, ведь увеличение капитала покроем убытки.

Никто не заметил, а может быть, не придавал значения тому, что Мари-Ноэль сидела на скамеечке возле бабки и внимательно прислушивалась к разговору.

— Мсье Тальбер хочет сказать, что папа все-таки получит деньги? — спросила она.

— Я думала, он их получит, только если у меня будет братец.

— Сиди спокойно, — сказала графиня.

— Да, — медленно произнес Поль, — мы, конечно, знали это. Но такие вещи не обсуждают в семейном кругу. Естественно, все мы надеялись, что моя невестка родит сына.

Поверенный ничего не сказал. Ему нечего было сказать. Поль обернулся ко мне.

— Прости, — сказал он, — но, если ты не против, я все же взгляну на контракт. Это будет только справедливо.

Я кинул связку ключей на стол.

— Как хочешь. Он в саквояже в шкафу.

Мари-Ноэль вскочила на ноги.

— Я пойду принесу! — крикнула она и, схватив ключи, выбежала из комнаты, прежде чем кто-нибудь успел ее остановить. Да это и не имело значения; все равно контракт следовало прочесть.

— Право, Поль, — сказала Рене, — ты ведешь себя бестактно. Как сказал мсье Тальбер, положение изменилось в результате смерти бедняжки Франсуазы, и, я думаю, вряд ли сейчас подходящий момент, чтобы обсуждать дела. Я чувствую себя крайне неловко, и это должно быть очень тягостно для Жана.

— Это тягостно для всех нас, — сказал Поль. — И мне вовсе не по душе, что *vergerie* извлечет выгоду из смерти Франсуазы. Но я не люблю оставаться в дураках.

Тальберу было явно не по себе.

— Прошу извинить меня, — сказал он. — Я бы и не упомянул о контракте, если бы знал об этом злосчастном недоразумении насчет его условий. Естественно, я к вашим услугам, мсье, — обратился он ко мне, — как по этому, так и по любому другому вопросу, требующему досконального обсуждения, в любое удобное для вас время после похорон.

— Похороны будут в пятницу, — сказала графиня. — Я уже договорилась об этом с господином кюре. Мою невестку привезут домой послезавтра и положат здесь, чтобы друзья и соседи могли отдать ей последние почести. Принимать всех, разумеется, буду я. — Поверенный поклонился. — Будьте так любезны, мсье Тальбер, проследите, чтобы извещение о смерти попало в редакции газет еще сегодня: оно должно появиться завтра в утренних выпусках. Я сама написала краткий некролог.

Графиня взяла несколько листков бумаги, лежавших у нее на коленях, и протянула ему.

— Господин кюре попросит мать-настоятельницу монастыря в Лорее прислать в замок нескольких монахинь, чтобы в ночь на четверг и пятницу они бодрствовали у одра усопшей.

Графиня замолчала, задумалась, постукивая пальцами по подлокотнику кресла.

— Гроб понесут, естественно, наши люди из поместья. Будем надеяться, погода продержится до тех пор. Мой муж умер зимой, земля была покрыта снегом, и людям было очень скользко нести его через мост.

Через распахнутую дверь донеслись шаги Мари-Ноэль; вот она сбежала по лестнице, вот пересекла холл.

— Не шуми, детка, — сказала графиня, когда девочка влетела в комнату. — Когда в доме траур, надо ходить тихо.

Мари-Ноэль подошла прямо к Полю и протянула ему папку.

— Ты разрешаешь? — спросил он, взглянув на меня.

— Естественно, — сказал я.

В течение некоторого времени единственным звуком был шелест бумаги, когда Поль переворачивал хрустящие страницы контракта. Затем он обернулся ко мне.

— Ты отдаешь себе отчет, — сказал он без всякого выражения, ничем не выдавая чувств, кипевших в нем, — что этот контракт идет вразрез со всем, что мы решили перед твоей поездкой в Париж?

— Да, — сказал я.

— Ты подписал дубликат и вернул его им?

— Я подписал его в субботу в конторе и отправил с почты по пути домой.

— Значит, сделать уже ничего нельзя. Как сказала татап, хозяин фабрики — ты и условия договора можешь ставить какие захочешь. Но что касается меня, то управлять для тебя фабрикой мне теперь невозможно.

Он встал с места и протянул мне контракт. Его встревоженное, огорченное лицо вдруг сделалось утомленным и старым.

— Знает Бог, я не претендую на то, что я «голова», но даже я добился бы в Париже лучших результатов. Подписывать такой контракт может только человек, за спиной которого колоссальное состояние. Из всего этого я могу заключить одно: все то время, что ты находился в Париже, ты был в весьма легкомысленном настроении.

С минуту все молчали. Затем графиня потянулась к шнуру от звонка возле камина.

— Полагаю, нам не следует дольше задерживать мсье Тальбера. Длительное обсуждение будущего *vergerie* в данный момент совершенно неуместно, и, я уверена, у него найдется множество дел в Вилларе, как и у нас здесь, в замке.

Поверенный попрощался с нами, и Гастон проводил его из гостиной.

Графиня обернулась ко мне.

— Ты плохо выглядишь, Жан, — сказала она. — У тебя был долгий и беспокойный день. Почему бы тебе не отдохнуть? У тебя есть часок перед тем, как мы пойдем в церковь на панихиду по Франсуазе, которую будет служить господин кюре. А затем мы все вместе поедem в Виллар в больничную часовню.

Графиня нашарила очки, висевшие у нее на груди рядом с крестом, и принялась набрасывать имена и адреса на листках бумаги.

Я вышел из замка и подошел ко рву. Коровы уже паслись. Солнце скатилось за деревья. Рядом с голубятней, там, где был костер, белело пятно золы. Скоро поднимется туман, окружит замок плотной стеной; уже и сейчас при закрытых ставнях он стоял обособленно от вечернего мира, от галок, что стаями слетались в лес, от черно-белых коров, щиплющих траву.

В дверях показался Поль, присоединился ко мне под окнами гостиной. Минуты две молча курил, потом резко бросил на землю окурок.

— Я думал то, что сказал.

— А что ты сказал? — спросил я.

— Что для меня теперь невозможно управлять verrerie.

— Да? Прости, я забыл.

Я обернулся и поглядел на него, и его лицо, растерянное, усталое, казалось, слилось с лицом Бланш, когда несколько часов назад она напряженно, выжидательно смотрела на меня в больнице. Я знал, что его внезапное сомнение во мне, его неприязнь вызваны не только чувствами, уходящими в далекое прошлое, к детским обидам, ревности и ссорам, к юношеской зависти и подозрениям, но являются результатом собственных моих ошибок, сделанных от имени его брата, собственных моих слабостей и неудач, которые он не мог себе объяснить. Я бы сумел, если бы попытался, привлечь его к себе, сделать своим товарищем и другом — я же настроил его против себя, посеял еще большую вражду, и теперешнее его настроение, так же как неподвижное лицо Франсуазы на больничной койке, свидетельствовало о том вреде, который причинил не Жан де Ге, а я.

— Какие у тебя для этого основания? — спросил я.

— Основания? — Поль уперся глазами в дно рва. — Ты сам прекрасно знаешь, что мы никогда не ладили. Тебе всегда доставались пряники, мне — тумачи. Я привык к этому, так было всю жизнь. Ты

попросил меня управлять фабрикой, потому что никто другой не хотел браться за это после того, как убили Мориса, а сам ты был слишком ленив. Я согласился — ради семьи, не ради тебя. Но до последнего времени я хотя бы уважал тебя за деловое чутье — больше-то не за что. А сейчас я и этого не могу.

Голос Поля, ожесточенный, негодующий, звучал так, словно он утратил веру не только в свое дело, но в самого себя, словно то, чему он столько лет отдавал все свои силы, потеряло значение, оказалось ненужным. Дурацкий контракт, пущенный в ход чужаком в результате пятиминутного разговора по телефону, выглядел сознательным издевательством над ним самим, ведь договор этот сводил на нет все то, что Поль с таким терпением пытался построить.

— Предположим, — медленно сказал я, — что в будущем я буду полагаться на твое деловое чутье, а не ты на мое...

— Что ты имеешь в виду?

Его глаза, страдальческие, подозрительные, напомнили мне о тех снимках в альбоме, где он всегда стоял с краю группы, потому что центральная фигура претендовала на всеобщее внимание и Поль, неуверенный в себе, не вписывался в картину, был неуместен.

— Ты сказал в гостинной, что если бы поехал тогда в Париж, и то добился бы лучших результатов. Ты прав, ты бы их добился. Предположим, что в будущем ты возьмешь на себя эту часть дела — будешь разъезжать, получать заказы, поедешь в Париж, в Лондон, любой город, куда пожелаешь, будешь заключать новые контракты, встречаться с людьми, объедешь, если захочешь, весь мир, а я останусь здесь.

Он выпрямился и посмотрел на меня, пораженный, не веря своим ушам.

— Ты серьезно? — спросил он.

— Да, — ответил я. И так как на лице его все еще было сомнение, добавил: — Неужели тебе не хочется поехать по свету? Не хочется уехать отсюда?

— Не хочется уехать? — спросил Поль с безрадостным смехом. — Естественно, я хочу уехать отсюда. Всегда хотел. Но для этого никогда не было ни денег, ни удобного случая. И ты никогда не предоставлял мне такой возможности.

— Но теперь я могу ее тебе предоставить.

Неловкость, исчезнувшая было ненадолго, снова охватила нас. Поль посмотрел в сторону.

— Решил изобразить из себя благодетеля потому, что получил наследство? — спросил он.

— Я не думал об этом в таком плане, — сказал я, — просто мне вдруг пришло в голову, что тебе нелегко живется. Я сожалею об этом.

— Не слишком ли поздно для сожалений после всех этих лет?

— Возможно. Не знаю. Ты так мне и не ответил.

— Ты хочешь сказать, — спросил он, — что даешь мне свободу действий? Что я могу разъезжать по Европе, даже по Америке, посещать фабрики, такие же небольшие, как наша, чтобы посмотреть, как при таких же условиях они умудряются удержаться на рынке благодаря более современной технологии, и, когда я вернусь месяцев шесть спустя, использовать их опыт здесь, в Сен-Жиле?

В голосе его, ожесточенном, негодующем еще минуту назад, вдруг зазвучал живой интерес, и я, не думавший обо всем этом, лишь глубоко огорченный своим вторжением в его жизнь, понял, что, сам того не зная, случайно напал на мысль, которая придаст существованию Поля новый смысл. Из младшего брата, которого вечно дурачат, нагружают сверх меры работой, никогда не благодарят — а именно таким он себя представлял, — он превратится в самостоятельного человека, который будет принимать решения, который вольет свежую кровь туда, где все приходит в упадок и умирает, и тем самым сохранит традицию рода, сохранит себя самого.

— Я полагаю, ты можешь все это сделать, и еще больше, — сказал я. — Поговори с Рене, послушай, что она скажет. Я не хочу тебя принуждать.

— С Рене?..

Брови его нахмурились, лоб наморщился — он думал, затем смущенно, даже застенчиво сказал:

— Это может быть решением проблемы для нас обоих. Мы были не очень счастливы — ты знаешь это. Если мне удастся ее отсюда увезти, все может измениться. Рене кажется, что дни ее проходят здесь впустую, ей скучно, она всем недовольна, а если мы будем разъезжать по свету и встречаться с людьми, у нее появятся новые интересы, да и я стану более подходящим для нее компаньоном, а то она смотрит на меня сверху вниз.

Поль стоял, глядя в пространство, и перед его мысленным взором новый образ — того Поля в хорошо сшитом костюме, ярком галстуке, каким он хотел бы стать, — приобретал четкий контур и обрастал плотью; странно, но и я, не без горечи, видел его: вот он играет в бридж на палубе трансатлантического лайнера, вот вместе с Рене пьет martini в баре. Я видел его глазами, как элегантная, холеная Рене улыбается ему и успех соединяет их, делает добрее друг к другу.

— Могу я обсудить все это с Рене сегодня вечером? — отрывисто спросил Поль. — Вдруг ты передумаешь?

— Я не передумаю, — сказал я. — Желаю удачи, Поль.

И нелепо, как старомодный персонаж в салонной комедии, я протянул ему руку, и он церемонно ее пожал, словно скреплял договор. Интересно, подумал я, что это — прощение моих собственных недавних просчетов или мне отпущены и те грехи, в которых виноват был не я?

Поль повернулся и вошел в дом, а я остался стоять на месте, глядя на силуэты черно-белых коров на фоне темных деревьев, чувствуя, как от высокой травы крадется по ногам первый вечерний холодок. Так как я был один и мне никто не мешал, я попробовал помолиться за Франсуазу, умершую из-за нашего равнодушия и невнимания, ведь во время заупокойной службы в церкви или в больничной часовне я должен играть роль ее мужа и моя молитва будет обманом.

Когда, нарушив тишину, раздался торжественный церковный благовест и я присоединился к остальным, уже собравшимся в холле, я узнал, что мы не пойдем в церковь через деревню, как это было в воскресенье, а отправимся торжественно на машинах. Обе они уже стояли у входа, Гастон в шоферской форме за рулем первой, Поль — за рулем второй. Три женщины в глубоком трауре и Мари-Ноэль в черном теплом пальто сели в машины в определенной последовательности, о которой, видимо, еще раньше договорились: сперва графиня, я и девочка в «ситроен», Бланш и Рене — в машину Поля.

Мы медленно проехали в ворота и пересекли мост, предвзято похоронный кортеж, который пройдет этим путем в пятницу, через две минуты вылезли из машин и так же медленно, тем же тихим шагом вошли в церковь и, как в прошлый раз, заняли наши места в первом ряду.

Преклонив колена во время службы, я спрашивал себя, о чем пылко или смиренно заклинают Небо те, кто стоит со мной рядом, о чем они просят — о вечном покое для души Франсуазы или о прощении для самих себя, и мне подумалось, что обе эти молитвы настолько схожи, что сливаются в одну, ведь конечной целью всех успокойных молитв является избавление от тревог и страданий. Черные вуали, накинутые на головы матери, дочери и невестки, придавали сходство их фигурам — казалось, это три воплощения одного существа, триптих одного облика. Горевали они или только делали вид, я не знал; лишь глядя на Мари-Ноэль, чьи коротко стриженные волосы были ничем не покрыты, я мог предположить, о чем скорбят закутанные фигуры: об утраченной невинности, об ушедшей юности, о всем, что было и прошло.

Когда служба закончилась, мы поехали в Виллар, чтобы зайти в больничную часовню. Как ни странно, это оказалось не так мучительно и жутко, как я ожидал. Подгримированная, неизмеримо далекая от нас Франсуаза больше не была той, кого все мы так или иначе предали; я глядел на нее как на мумию, пролежавшую в саркофаге много десятков столетий и наконец обнаруженную в Египте в каком-то захоронении. Я не спускал глаз с девочки, опасаясь слез или испуга, но не заметил ни того, ни другого. Она с интересом смотрела на двух монашенок, на свечи, на цветы, и я понял, что у нее, как, возможно, у всех остальных, часовня не вызывала печали и сожаления, лишь любопытство да удивленный интерес. Когда мы вышли, единственным, кто плакал, была Рене. Я заметил, как она сунула руку в карман за платком, и Мари-Ноэль, покраснев, отвернулась в сторону, смутившись при виде слез взрослой женщины.

Было около половины девятого, когда мы наконец вернулись в замок вместе с кюре, приглашенным к обеду. Графиня, которая еще ни разу при мне не спускалась в столовую, заняла место напротив меня у другого торца стола, и ее присутствие придало трапезе, несмотря на скорбный повод, особый, парадный характер. Этот траурный обед мало чем отличался от новогоднего. Как это ни нелепо, я ждал, что вот-вот войдет Гастон с индейкой или гусем на блюде. Не хватало шоколадок в цветных обертках и пучка омелы, свисающего с потолка. Голоса, вначале тихие, приглушенные, становились громче по мере того, как обед подвигался к концу, и, когда подали десерт и все, вслед

за графиней, перешли в гостиную, взяв поднос с чашечками кофе, мне стало казаться, что стоит слугам уйти, мы наденем бумажные колпаки, начнем играть в фанты или печь на огне каштаны. И только когда кюре отправился домой, графиня в первый раз позволила себе расслабиться; взглянув на нее, я увидел, что лицо ее вдруг посерело, на лбу выступили капли пота и покатались по щекам, глаза, беспокойно перебежавшие с предмета на предмет, стали безжизненными, отсутствующими. Поль вышел из гостиной вместе с кюре, а Бланш, Рене и Мари-Ноэль рассматривали какую-то книжку и ничего не заметили.

Я тихо сказал:

— Сейчас я отведу вас наверх.

Она посмотрела на меня, словно не понимая; затем, когда я протянул ей руку, дрожа, облокотилась на нее. Я громко сказал, чтобы все слышали:

— Думаю, будет куда удобней, если мы вместе просмотрим списки в вашей комнате.

Графиня выпрямилась, крепче ухватившись за мой локоть, и по пути к двери сказала чистым твердым голосом:

— Доброй ночи, всем доброй ночи. Не беспокойтесь, у нас с Жаном есть дела, которые мы предпочитаем обсудить наверху.

Все тут же поднялись, и Бланш, подойдя к нам, сказала:

— Вам не следовало спускаться, тапан. Это для вас слишком большая нагрузка.

В ее словах было достаточно яда, чтобы вызвать ответную реакцию, — графиня тут же обернулась, перестав держаться за меня, и колко ответила:

— Когда мне понадобится твой совет, я тебе сообщу. Нам надо до завтрашнего вечера надписать адреса на четырехстах конвертах. Неплохо было бы начать это уже сейчас. Мари-Ноэль может тебе помочь.

Мы вышли из гостиной и поднялись вместе по лестнице на второй этаж. Остановившись на секунду, чтобы отдышаться, графиня спросила:

— Почему я это сказала? Для чего эти приглашения?

— На похороны, — ответил я. — Похороны, которые будут в пятницу.

— Чьи похороны?

— Франсуазы, — ответил я. — Она сегодня умерла.

— Да, конечно, — отозвалась графиня. — Я на секунду забыла. Я думала о том времени, когда мы составляли списки приглашенных на помолвку Бланш. Мы отдали их печатать, и ни одно не было послано.

Она снова оперлась на мою руку, и мы одолели следующий марш. Когда мы шли по коридору к ее комнате в башне, мне показалось, что тени вокруг нас сгустились, а тишина стала еще глубже, точно мы возвращаемся в прошлое, никогда не покидавшее этого места.

Шарлотта открыла нам дверь, и по ее лицу я сразу понял, что она чем-то напугана. Метнув на меня подозрительный, встревоженный взгляд, она шепнула, когда графиня прошла в комнату:

— Коробочки исчезли.

— Знаю, — сказал я. — Я их унес.

— Зачем? — спросила она. — Они мне понадобятся сегодня вечером.

— Нет, — сказал я.

Вслед за графиней я прошел мимо нее в спальню и сказал:

— Разденьтесь и ложитесь в постель, тапан. Может быть, вы уснете, может быть — нет. Так или иначе, это не имеет значения. Эту ночь я проведу здесь, с вами.

Ее тень, распластавшись по всему потолку, чудовищная, похожая на ведьму, сливалась с тяжелыми портьерами и пологом кровати, но когда она обернулась ко мне, тень съежилась, спустилась на пол и улыбка, с которой графиня взглянула на меня, была улыбкой хозяйки дома, которая внизу, в столовой, противопоставив трагедии свой ум и гордость, превратила траур в торжество.

— Мы поменялись ролями, — сказала она. — Немало воды утекло с тех пор, как один из нас лежал в постели, а другой охранял его сон. Однажды — тебе было тогда двенадцать — у тебя поднялась температура. Я сидела у твоей постели и смачивала тебе лицо. Ты это собираешься делать сегодня ночью?

Она засмеялась и, позвав Шарлотту, махнула рукой, чтобы я ушел. Я вышел в коридор и спустился в гостиную; там уже гасили свет, готовясь разойтись по своим комнатам. Мари-Ноэль направлялась к лестнице рука об руку с Бланш; теперь, когда день окончился, ее личико было белым от усталости.

— Ты придешь сказать «спокойной ночи», папа? — спросила она.

— Да, — пообещал я и прошел в столовую за сигаретами.

Вернувшись в холл, я обнаружил, что Рене не последовала за остальными, но, стоя на ступеньках, поджидает меня. Это напомнило мне первый вечер в замке, когда, держась за ручку двери, ведущей на террасу, я внезапно услышал за собой ее шаги и увидел, что она стоит тут, на лестнице, в пеньюаре, распущенные волосы падают до плеч. Сейчас в ней больше не было ни страсти, ни исступления, она казалась мягче и мудрее и как будто чего-то стыдилась, словно понимала, что сегодняшняя трагедия была между нами конечной преградой.

— Значит, вы хотите от нас отделаться? От Поля и меня? — спросила она. — Задумали это, как только вернулись из Парижа?

Я покачал головой.

— Ничего я не задумывал, тем более — заранее, — ответил я. — Эта мысль пришла мне в голову сегодня вечером, на террасе. Вот и все. Если вам мое предложение не нравится, забудьте о нем.

С минуту Рене молчала. Казалось, она что-то решает. Затем медленно проговорила:

— Вы изменились, Жан. Я не имею в виду — после того, что случилось сегодня. Это было ужасным ударом для всех нас; я имею в виду — за последние несколько дней. Вы другой.

— В чем же я переменялся? — спросил я.

Она пожала плечами:

— Я не хочу сказать, что вы переменялись по отношению ко мне. Я поняла, что все эти месяцы я служила для вас игрушкой. Вам было скучно, было нечем занять свой досуг. Я случайно оказалась под рукой. Вы изменились внутренне, стали жестче, более замкнутым.

— Жестче? — переспросил я. — По-моему, наоборот. Мягче, слабее во всех отношениях.

— О нет. — Рене задумчиво смотрела на меня. — Не только я заметила это. Поль на днях сказал то же самое. Тогда, когда вы обожгли себе руку. Вы отгородились не только от меня, но и от всех остальных. Вот почему нас так удивило, что вы предложили нам поехать по свету. Судя по вашим поступкам за последнюю неделю, создалось впечатление, что хотите вы лишь одного: самому уехать отсюда.

Я в замешательстве глядел на Рене:

— Создалось такое впечатление?

— Честно говоря — да.

— Но это не так, — сказал я. — Я только о вас и думаю, день и ночь о всех вас. О замке, о фабрике, о татап, о Мари-Ноэль, о всей семье — вы не выходите из моей головы. Уехать отсюда! Да это последнее, чего бы я захотел!

Рене недоверчиво смотрела на меня.

— Я вас не понимаю, — сказала она. — Вероятно, не понимала и раньше, только обманывала сама себя. Глупо с моей стороны. Вы никогда не были в меня влюблены, хотя бы чуть-чуть, верно?

— Сейчас я не влюблен в вас, Рене, — сказал я. — Не знаю, как раньше, но сомневаюсь.

— Видите? — сказала она. — Вы стали жестче. Вы изменились. Вы даже не считаете нужным притворяться.

Рене помолчала, затем медленно, словно против воли, добавила:

— Поль этого не говорит, но, я уверена, думает, и я тоже начинаю так думать... Вы хладнокровно подписали этот новый контракт, рассчитывая... рассчитывая, что может произойти то, что произошло сегодня?

В ее тихом голосе звучала мольба, точно она испытывала и изумление, и ужас при мысли, что человек, вскруживший ей некогда голову, способен на такой поступок, мало того — как бы делает ее своей сообщницей.

— Если вы подозреваете, что я заключил этот контракт, полагая, что Франсуаза умрет, то вы ошибаетесь, Рене, — сказал я.

Она облегченно вздохнула.

— Я рада, — сказала она. — Сегодня вечером в больничной часовне я почувствовала внезапно, как ужасно то, что было между нами. Неделю назад я не покинула бы Сен-Жиль, но теперь... — Она повернулась и стала подниматься по лестнице. — ...Теперь я знаю, что не могу больше здесь оставаться. Я должна уехать отсюда — это для нас, для Поля и меня, единственная надежда на будущее.

Я глядел, как она удаляется по коридору, и спрашивал себя: действительно ли смерть Франсуазы заставила ее устыдиться или моя холодность и равнодушие к ее женским чарам убили ее вожделение?

Я погасил свет и поднялся по лестнице в темноте. Мне подумалось, что мое предложение им двоим, Полю и Рене, исходило не из моих уст — того одинокого, замкнутого меня из прежней жизни — и не из уст Жана де Ге, в чью тень я превратился; это было делом третьего, того, кто ни Жан, ни Джон, кто стал сплавом нас обоих и, не имея телесного обличья — порождение не мысли, а интуиции, — принес нам обоим свободу.

Мари-Ноэль попросила зайти к ней перед сном, и, пройдя сквозь двустворчатую дверь, я поднялся в башенку по винтовой лестнице и переступил порог, думая, что девочка еще не разделась и молится у своего самодельного аналая. Но длинный день взял наконец свое. Мари-Ноэль была в постели. Она спала. В ногах кровати стояли две зажженные свечи, между ними — утенок. В руках девочки, сложенных на груди, спал целлулоидный младенец с проломленной головой, а к изголовью была приколота бумажка, где я прочел следующие слова: «Здесь лежат бранные останки Мари-Ноэль де Ге, скончавшейся в 1956 году от Рождества Христова, чья вера в Святую Деву принесла мир и спасение смиренной деревне Сен-Жиль». Да, я ошибался, когда подумал, будто больничная часовня не затронула ее воображения.

Я задул свечи и, оставив окно открытым, захлопнул ставни. Затем спустился по башенной лесенке и прошел на противоположную сторону замка — в другую, большую башню. Здесь не горели свечи, светила лишь одна лампа возле постели, и лежавшая на подушках женщина, в отличие от девочки, не спала. С бледного измученного лица на меня выжидательно смотрели ее запавшие глаза.

— Я думала, ты никогда не придешь, — сказала графиня.

Я подтащил от печки кресло к самой кровати. Сел и протянул ей руку. Она крепко ее сжала.

— Я отослала Шарлотту к ней в комнату, — сказала графиня. — Я сказала ей: вы мне не нужны, сегодня обо мне позаботится господин граф. Ты ведь хотел, чтобы я так сказала, верно?

— Да, тапан, — ответил я.

Она сильнее стиснула мне руку; я знал, что она будет держать ее всю ночь как защиту против мрака и мне нельзя шевелиться, нельзя забрать ее, иначе связь между нами ослабнет и смысл моего присутствия здесь будет потерян.

— Я лежала и думала, — сказала татап. — Через несколько дней, когда все останется позади, я переберусь в мою старую комнату внизу. Мне там будет удобнее приглядывать за домом.

— Как вам угодно, — ответил я.

— Лежа здесь, я постепенно теряю память, — сказала графиня. — Не знаю, где я — в настоящем или в прошлом. И у меня бывают кошмары.

Позолоченные часы на столике возле кровати громко тикали, маятник под стеклянным колпаком неторопливо качался взад-вперед, и казалось, что минуты идут очень медленно.

— Вчера ночью, — сказала графиня, — мне приснилось, что тебя нет в замке. Ты снова воевал в рядах Сопротивления, и я читала во сне записку, которую ты сумел мне передать в тот день, когда застрелили Мориса Дюваля. Я перечитывала ее раз за разом, пока мне не стало казаться, что у меня лопнет голова. Но тут ты дал мне морфий, и сон исчез.

В Вилларе у Белы стояли небольшие часы в кожаном футляре, светящиеся стрелки четко выделялись на темном циферблате, а тикали они так быстро и тихо, словно билось живое человеческое сердце.

— Если вам приснится что-нибудь сегодня, — сказал я, — не бойтесь. Я буду рядом.

Я наклонился вперед и обожженной рукой погасил свет. И сразу же со всех сторон надвинулись тени и поглотили меня. Мною завладело отчаяние, прячущееся в темноте, а графиня принялась говорить в полусне, который я не мог с ней разделить, и только слушал ее бормотание под тиканье часов. Иногда она громко вскрикивала и проклинала кого-то, иногда принималась молиться, один раз разразилась неудержимым смехом, но ни разу за то время, что ее преследовали бессвязные видения, не попросила она о помощи и ни разу не разжала пальцев на моей руке. Когда вскоре после пяти часов утра графиня наконец заснула и я, наклонившись над ней, всмотрелся в ее лицо, я не увидел больше на нем маски, скрывающей месяцы и годы страданий. Прежде измученное, настороженное, оно показалось мне умиротворенным, расслабившимся и, как ни странно, красивым, даже не старым.

Глава 24

Я знал, что теперь татап будет спать и я могу ее оставить. Я встал с кресла, вышел из комнаты, спустился через безмолвный дом в гостиную и, открыв стеклянные двери, вышел на террасу. Я пересек ров и прошел под каштанами в парк, к каменной Охотнице, стоящей в центре расходящихся от нее дорожек. Воздух был холодный и прозрачный, как всегда перед рассветом, и небо, потерявшее глубокую ночную черноту, посерело, словно отступая перед натиском дня: звезды побледнели, отодвинулись, на западе небольшая стайка Плеяд уже садилась за темными деревьями. Отсюда, от статуи на вершине холма, мне был виден замок, и деревня за ним, и церковка, пронзающая шпилем небо, и кучка домов у церкви — они казались одной крестьянской усадьбой, — и поднимающиеся к востоку поля, и лес за ними; все вместе делало Сен-Жиль единым целым, состоящим из замка, церкви и деревни.

Я сидел у подножия статуи и ждал рассвета, и по мере того, как небо бледнело и вокруг становилось светлей, замок и деревня приобретали объем и четкий контур, сама земля, казалось, тоже облекалась плотью, от нее исходил влажный острый запах, ночная влага и утренняя роса будто слились воедино, чтобы сделать почву плодородной. Деревья окутывал белый туман, теплый и рыхлый; вскоре он исчезнет, обнажив золотисто-багряные кроны. И вот, словно по волшебству, не успело взойти солнце над вершиной холма за деревней, как деревня проснулась. Казалось, прошла одна минута, а из труб уже потянулись дымки, залаяли собаки, замычали коровы. Я больше не был оторван от людей — оцепеневший от усталости сторонний наблюдатель, я был одним из них, стал частицей Сен-Жиля. Я подумал о кюре, пробудившемся навстречу новому дню, — его безмятежное лицо омрачится, стоит ему вспомнить о несчастье, постигшем обитателей замка; он, наверно, тут же вознесет молитву о всех, кто понес эту тяжелую утрату, и вера его, как талисман, оградит их от зла и, не имея границ, обнимет всех, кто его окружает. Я подумал о неизвестных мне жителях Сен-Жиля, которые пришли вчера в церковь на панихиду из уважения к Франсуазе и стояли там,

опустив головы и потупив глаза. Среди них был и Эрнест, водитель грузовика, и Жюли, и ее внучек Пьер. И внезапно я понял, что меня к ним влекло не любопытство, не сентиментальность и не пристрастие к колоритным фигурам, но нечто более глубокое, более сокровенное — желание, чтобы они благоденствовали, столь жгучее, что, хотя проистекало оно из любви, оно казалось сродни страданию. При всей своей интенсивности желание это было вполне бескорыстным — ведь я и не помышлял о близости с ними — и относилось самым удивительным образом не только к жителям Сен-Жиля и тем, кто как бы сделался частью меня самого, кто спал сейчас за стенами замка, но и к неодушевленным предметам — холму за деревней, песчаной дороге, которая спускалась с него, ползучему винограду на стенах дома управляющего, лесным деревьям.

Желание это становилось все глубже; казалось, оно пронизывает все мое существо, точно так, как три дня назад боль от ожога отзывалась в каждой клеточке моего тела, но сейчас то, что было в субботу бессмысленной физической болью, перешло в охвативший всего меня душевный огонь. Пока я сидел у подножия статуи, взошло солнце, растаял утренний туман. Замок рельефно вырисовывался на фоне деревьев. Он еще спал. Но вдруг резко распахнулись ставни в западной башне, громкий звук отчетливо донесся ко мне через парк, и у высокого окна на миг показалась фигура; она глядела не на меня, не в сторону Артемиды и расходящихся от нее дорожек, а наверх, на небо; она казалась такой далекой, такой одинокой, когда, думая, будто она одна, любовалась рассветом. Это была Бланш, и то, как внезапно распахнулись ставни, заставило меня подумать, уж не бодрствовала ли и она всю эту ночь, и теперь, отчаявшись в том, что ей удастся заснуть, отложила встречу со сном еще на двенадцать часов и, затопив свою холодную комнату воздухом и светом, нехотя приветствовала новый день.

Я поднялся с места и пошел через парк к замку, но Бланш заметила меня, только когда я пересек ров и встал под ее окном. Она хотела было захлопнуть створки, но, прежде чем она успела это сделать, я крикнул:

— У меня болит рука! Ты не могла бы ее перевязать?

Бланш не ответила, но отошла в глубь комнаты, оставив окно открытым, из чего я заключил, что, хотя я по-прежнему для нее не

существую, она не отказывается мне помочь. Подойдя к ее двери, я постучал и, не услышав ответа, повернул ручку и вошел. Бланш стояла у стола с застывшим, бесстрастным лицом, готовя свежую повязку. На ней был темно-коричневый халат, зачесанные со лба волосы уже заколоты в узел. Постель застелена. Никакого беспорядка, все на месте, никаких брошенных как попало вещей — ничто не говорило о бессонной ночи хозяйки этой холодной мрачной комнаты. Только яркие цветы на аналое немного оживляли ее. Это были георгины того же пламенного цвета, как те, что купила на рынке Бела, наполнив крошечную гостиную своего домика жизнью и теплом.

Не глядя на меня, Бланш протянула руку, взяла мою и размотала повязку, наложенную Белой в воскресенье. Она не могла не заметить, что повязка отличается от той, которую сама она сделала мне в субботу, но не выразила никакого удивления; она действовала как автомат, молчаливо, равнодушно.

— Если ты дала зарок не говорить со мной, — сказал я, — ты нарушила его вчера в больнице. Он потерял свою силу.

Бланш ничего не ответила и продолжала бинтовать мне руку.

— Пятнадцать лет назад, — продолжал я, — между нами встала смерть одного человека. И только смерть другого вчера развязала твой язык. Не проще ли будет для нас обоих, да и для всей семьи, если мы покончим с молчанием?

Лишенная покрова рука показалась мне вдруг беззащитной. Однако я мог ею двигать, мог сжимать пальцы в кулак и не чувствовал боли. Бланш взяла новый бинт и прикрыла ожог. Свежий, чистый, он приятно охлаждал кожу.

— Да, для тебя это будет проще, — сказала Бланш, не поднимая глаз, — так же как было проще дать Франсуазе умереть. Она больше не стоит на твоём пути. Это облегчило твою жизнь.

— Я не хотел ее смерти, — сказал я.

— Ты солгал насчет группы крови, — сказала Бланш. — Ты лгал насчет контракта. Ты все время лжешь, всегда лгал, все эти годы. Я не желаю говорить с тобой ни сейчас, ни в будущем. Нам нечего сказать друг другу.

Она кончила накладывать повязку. Отпустила мою руку. Этот жест поставил последнюю точку, подвел черту.

— Ты не права, — сказал я. — Мне много надо тебе сказать. Если ты считаешь меня главой семьи, ты обязана меня выслушать, пусть даже ты не согласна со мной.

Она подняла на секунду глаза, затем отошла к комоду и положила в ящик перевязочный материал.

— Возможно, получив наследство, ты решил, что ты всемогущ, — сказала Бланш, — но деньги еще не дают тебе права на уважение. Я не считаю тебя главой семьи, так же как все остальные. За всю свою жизнь ты не сделал ничего, чтобы оправдать это звание.

Я посмотрел вокруг — на строгую холодную комнату, на мрачные изображения бичуемого и распятого Христа, которые взирали на нее с голых безликих стен, когда она лежала на своей узкой, высокой кровати, и сказал ей:

— Потому-то ты повесила здесь эти картины? Чтобы они напоминали тебе, что ты не должна меня прощать?

Бланш обернулась и посмотрела на меня: в глазах горечь, губы крепко сжаты.

— Не издевайся над моим Богом, — сказала она. — Ты погубил все остальное в моей жизни. Его оставь мне.

— А ты повесила бы эти картины в доме управляющего? — спросил я. — Включила бы их в свое приданое, принесенное Морису Дювалю?

Наконец-то мне удалось сломить ее выдержку. Страдание многих лет вырвалось наружу, мелькнуло в глазах внезапным пламенем, искривило губы.

— Как ты смеешь говорить о нем?! — вскричала Бланш. — Как смеешь произносить его имя?! Ты думаешь, я могу хоть на миг забыть то, что ты сделал с ним?!

— Нет, — сказал я. — Ты не забываешь этого. И я тоже. Ты не можешь простить меня... возможно, я сам не могу себя простить. Но почему же в этом случае мы оба были так взволнованы вчера утром, когда узнали, что Мари-Ноэль спускалась в колодезь?

И тут произошло то, чего я давно ждал и чего боялся: на глазах Бланш показались слезы и потекли по щекам; они не были вызваны болью или внезапной утратой — детская невинность высвободила многолетнюю муку. Бланш подошла к окну и встала там, глядя наружу, ее незащищенная спина выдавала чувства, которые она пыталась

скрыть. Сколько дней и часов провела она здесь, в добровольном заточении, спросил я себя, сколько горьких мыслей о загубленной жизни пробуждалось в ее душе, когда она сидела здесь, лежала в постели, читала или молилась, и захлестывало ее как волна? Но вот Бланш обернулась, глаза ее уже высохли, она снова владела собой, хотя и стала более уязвима, так как проявила при мне свое горе.

— Ну что, ты доволен? — сказала она. — Ведь тебя даже в детстве забавляли мои слезы.

— Возможно, — сказал я, — но теперь нет.

— В таком случае, — спросила Бланш, — чего ты ждешь? Почему ты все еще здесь?

Я не мог просить прощения за чужой поступок. Козел отпущения всегда виноват.

— На прошлой неделе я рассматривал альбом с фотографиями, — сказал я. — Я нашел там наши детские снимки. И более поздние тоже. Групповые карточки, снятые в vergerie. В этих группах был и Морис.

— Да? — сказала Бланш. — Что с того?

— Ничего, — ответил я. — Просто я пожалел о том, что случилось пятнадцать лет назад.

Утратив на миг привычную невозмутимость — ведь она никак не ожидала услышать эти слова из уст брата, — Бланш подняла на меня глаза и, видя, что говорю я искренне, без насмешки и издевки, тихо спросила:

— Почему?

Что я мог ей ответить? Только правду. Свою правду. Если она мне не поверит, ничего не поделаешь.

— Мне понравилось его лицо, — сказал я. — Я никогда раньше не рассматривал эти снимки. И, переверачивая страницы альбома, я все больше убеждался, что он был хороший человек и рабочие любили и уважали его. Мне подумалось, что убит он был из зависти: тот, кто его застрелил или приказал застрелить, сделал это не из ложного патриотизма, а потому, что Морис Дюваль был лучше, чем он, и это вызывало в нем досаду и раздражение.

Бланш уставилась на меня, не веря своим ушам, — очевидно, все это настолько не соответствовало прежним высказываниям ее брата, что она не знала, как принять его слова.

— Ты думаешь, я лгу, — сказал я. — Нет, это правда. Все, до единого слова.

— Если ты хочешь покаяться в грехах, — сказала Бланш, — ищи другого исповедника. Ты опоздал с этим на пятнадцать лет.

Чтобы скрыть свои чувства, она ходила по комнате, поправляя вещи, которые и так были в порядке.

— Какой для нас толк, — сказала она, — в том, что ты приходишь ко мне и обвиняешь себя? Ты не можешь вернуть прошлое. Ты не можешь воскресить Мориса. У тебя даже не хватило смелости убить его своими руками; ты пришел в *vergerie* той ночью, притворившись, что ты один, и попросил тебя спрятать, а когда он спустился и открыл дверь, чтобы впустить тебя, он оказался перед кучкой убийц с тобой во главе. Бог, может быть, простит тебя, Жан. Я не могу.

Она снова остановилась перед окном, откуда тек свежий, прохладный воздух. И когда я подошел и встал рядом, она не отстранилась, что само по себе было для меня прощением.

— Вы с самого начала были против Мориса — ты и *татап*, — сказала Бланш. — Даже в ранние годы, когда он только начал работать на фабрике, а мы были подростками, ты завидовал ему, потому что *пап* *абыл* о нем такого высокого мнения, хотя сам ты не проявлял к *vergerie* никакого интереса и редко бывал на ней. А позднее, когда *пап* *аотдал* под его контроль всю фабрику и сделал его управляющим, ты возненавидел его. Так и вижу тебя, тебя и *татап*, в гостиной, слышу, как ты смеешься, а *татап* говорит с улыбкой: «Неужели наша Бланш, привередливая мадемуазель де Ге, наконец влюбилась?»

Она не глядела на меня, глаза ее были обращены вдаль, за парк, и профиль ее был похож на профиль девочки-подростка из альбома, замкнутой, хмурой, владеющей тайной, которой она ни с кем не желала делиться.

— Вашим оружием, твоим и *татап*, всегда была насмешка, — продолжала Бланш. — Из-за того, что Морис вышел из народа, вы делали вид, что презираете его. *Пап* *аникогда* таким не был. Он понимал. Он не стал бы мешать нашему браку, как попытались сделать вы. Когда заключили перемирие и началась оккупация, ты решил не упустить удобный случай. Так просто — не правда ли? — представить убийство геройским поступком. В других семьях это тоже случалось. Мы были не единственными.

Говоря, она резко взмахивала рукой. И внезапно затихла. Прошлое осталось в прошлом. Бланш обернулась и посмотрела на нишу в стене башни, похожую на монашескую келью, в углу — аналой, над ним распятие.

— А теперь это все, что у меня осталось, — сказала она. — Вместо дома управляющего. Если я не смогла сдержать своих чувств вчера утром, ты знаешь почему.

Я думаю, дороже всего мне было то, что она по-прежнему называла меня на «ты». Привычку всей жизни не уничтожишь пятнадцатилетним молчанием. Это одно позволяло мне не терять надежды на будущее.

— Я хочу, чтобы ты переехала в дом управляющего и сделала его своим домом, — сказал я. — Я хочу, чтобы ты возродила его к жизни, чтобы он стал таким, каким был при Морисе, чтобы ты управляла фабрикой вместо него.

Бланш, ошеломленная, ничего не ответила и лишь недоверчиво смотрела на меня, и я быстро продолжил, не давая ей времени для решительного отказа:

— Я сказал Полю, что он может уехать отсюда. Он управлял фабрикой после войны только из чувства долга, ты сама знаешь, что сердце его к этому не лежит. Им, и ему и Рене, надо покинуть замок, надо поехать по свету. Независимо от всего остального это для них сейчас единственный шанс скрепить их брак. Полю никогда не представлялось возможности проявить свои деловые качества, показать себя за пределами Сен-Жиля. Пора ему ее дать.

Наверно, больше всего Бланш удивила горячность моего тона — циники так не говорят. Сама того не замечая, она опустилась в кресло и, вцепившись в подлокотники, пристально смотрела на меня.

— Кто-то из нас должен взять на себя управление фабрикой, — продолжал я. — Я не могу. Я ничего в этом не смыслю и не имею желания браться за учебу. Как ты сама сказала, я никогда не испытывал к стекольному делу ни малейшего интереса. Если бы ты вышла замуж за Мориса, вы вдвоем наладили бы все как надо, не дали бы verrerie прийти в упадок и устареть. Когда Мари-Ноэль вырастет, фабрика перейдет к ней. Если выйдет замуж, будет ее приданым. Так или иначе, единственный, кто разбирается в этом деле, любит его, —

ты. Я хочу, чтобы ты распоряжалась на фабрике, отвечала за нее — ради Мориса, ради Мари-Ноэль.

Бланш все еще молчала. Ударь я ее по лицу, она не была бы так потрясена.

— Дом тебя ждет, — сказал я. — Ждал пятнадцать лет. Картины, фарфор, мебель, даже книги, всё, чем вы пользовались бы вдвоем. Здесь ты попусту тратишь свою жизнь, ты понимаешь это? Заказываешь завтраки и обеды, даешь указания Гастону и прочим слугам, которые и так все знают, занимаешься с Мари-Ноэль, что ничуть не хуже могла бы делать толковая гувернантка... Ты единое целое с verrerie, с этим домом; ты сможешь снова, как когда-то, придумывать новые образцы и создавать изящные, хрупкие вещицы, наподобие того замка, который Мари-Ноэль нашла в колодце. И тогда, вместо того чтобы посылать флаконы для духов и пузырьки для лекарств фирме вроде Корвале, которой куда выгодней покупать их там, где есть поточное производство, ты сможешь выбирать собственный рынок из того, что найдет для тебя Поль, рынок, требующий мастерства, высочайшего качества, художественности исполнения — всего того, что было некогда в Сен-Жиле и что ты могла бы возродить.

Я остановился, вся моя энергия вдруг иссякла, мысли исчезли. Я выдохся. И так же точно, как через руку матери, всю ночь лежавшую в моей, мне передавались терзавшие ее сожаления о прежней жизни, так из устремленных на меня глаз Бланш, которые теряли горечь, становились задумчивыми, внимательными, даже добрыми, освещая ее лицо и говоря о ее исцелении, переходила ко мне боль одиночества, становясь моим одиночеством, моей болью, погружая меня во мрак. Теперь эту ношу, так же терпеливо, придется нести мне.

Я сказал Бланш:

— Я устал. Я не спал эту ночь.

— Я тоже, — сказала она. — И в первый раз я не смогла молиться.

— Значит, мы квиты. Мы оба спустились на дно. Но девочка была там первой и не испугалась. Когда ты переедешь в verrerie, скажи рабочим, чтобы они вычистили колодец и нашли родник. Там должна быть вода.

Я оставил ее и, выйдя из комнаты, прошел коридором к гардеробной. Кинулся на складную кровать, закрыл глаза и проспал без сновидений до начала одиннадцатого. Проснулся я оттого, что Гастон тряс меня за плечо, напоминая, что в одиннадцать часов я должен быть в Вилларе у комиссара полиции.

Я встал, побрился, принял ванну, снова надел черный костюм, и мы вместе отправились в город. Жена Гастона и Берта попросили взять их с собой — они хотят зайти в больничную часовню. Пока я разговаривал с commissaire — ему нужно было, чтобы я прочитал и засвидетельствовал протокол, сделанный им накануне, — женщины оставались в машине. Когда я вышел из комиссариата, один из полицейских сказал мне, что у машины меня кто-то ждет. Это был Винсент — помощник Белы в «L'antiquaire du pont»; в руке он держал небольшой пакетик.

— Простите, господин граф, но мадам никак не могла с вами связаться. Этот пакет прислали из Парижа только вчера. Она уже знает, что он прибыл слишком поздно, и очень сожалеет об этом. Мадам просила передать его вам для малышки.

Я взял у него пакетик.

— Что это? — спросил я.

— Были разбиты какие-то фарфоровые фигурки. Ваша дочка поинтересовалась, нельзя ли их склеить. Это было невозможно, как, полагаю, мадам объяснила вам. Вместо этого она послала в Париж за такими же статуэтками. Мадам очень просит вас не говорить девочке, что фигурки другие. Если она не узнает об этом и подумает, что их склеили из осколков, ей будет приятней хранить их на память о матери.

Я поблагодарил его, затем нерешительно спросил:

— Мадам больше ничего не просила передать?

— Нет, господин граф. Только это и ее глубокое сочувствие.

Я сел в машину. Остальные — Гастон, его жена и Берта — все это время терпеливо ждали меня, и теперь наконец мы поехали в больничную часовню, откуда на следующий день Франсуазу увезут в замок. Даже за те немногие часы, что прошли со вчерашнего вечера, она еще сильнее отдалилась от нас, стала недоступной, частицей времени. Жена Гастона, сразу начавшая плакать, сказала мне:

— Смерть прекрасна. Мадам Жан похожа на небесного ангела.

Я был не согласен с ней. Смерть — палач, отсекающий головку цветка до того, как он распустится. На небесах — красота и великолепие, но не в сырой земле.

Когда мы вернулись в Сен-Жиль, Мари-Ноэль уже ждала нас на террасе. Она подбежала и повисла у меня на шее, затем, подождав, пока машина со всеми остальными отъедет за дом в гараж, обернулась ко мне.

— Бабушка сегодня спустилась вниз рано, еще одиннадцати не было. Она в гостиной, готовит ее для маман. Маман будет лежать там завтра целый день, чтобы все могли прийти и отдать ей последний долг.

Девочка была возбуждена, ее все поражало. Я заметил, что к ее темному платью приколот медальон Франсуазы.

— Бабушке помогает мадам Ив, — продолжала она. — Бабушка послала за ней. Она сказала, мадам Ив — единственная, кто помнит дедушкины похороны. Сейчас они спорят о том, где должен стоять стол.

Мари-Ноэль взяла меня за руку и повела в гостиную. Я услышал громкие голоса — шел спор. Переступив порог, я увидел, что ставни все еще закрыты и горит свет, а диван и кресла повернуты к центру комнаты. Между окнами и дверью был поставлен длинный стол, покрытый кружевной скатертью. У стола сидела в кресле графиня, перед ней стояла Жюли с куском белой ткани в руках.

— Уверю вас, госпожа графиня, стол находился ближе к центру и покрыт был не кружевом, а камчатным полотном, вот этим самым, что у меня в руках; я нашла его в бельевой засунутым как попало в глубину ящика; судя по его виду, он лежал там с тех самых пор, как мы брали его для господина графа.

— Глупости, — отвечала графиня. — Мы стелили кружево. Оно досталось мне от матери. Эта скатерть принадлежала их семье больше ста лет.

— Вполне возможно, госпожа графиня, — сказала Жюли. — С этим я не спорю. Я прекрасно помню эту скатерть. Вы постелили ее на стол, когда крестили детей, — прекрасный фон для пирога. Но крестины — это одно, а прощание с усопшим — совсем другое. Белая камчатная скатерть куда больше подходит, чтобы отдать мадам Жан

дань нашей скорби, как подошла для этой цели на похоронах господина графа.

— Кружево падает более красивыми складками, — сказала графиня. — Все подумают, что это престольный покров. Оно обманет самого господина кюре.

— Господина кюре — возможно, — сказала Жюли. — Он близорук. А вот епископа не обманет. У него глаза как у ястреба.

— А мне все равно, — сказала графиня, — я предпочитаю кружево. Пусть оно более броское, чем камчатная скатерть, что с того? Я хочу, чтобы у моей невестки было все самое лучшее.

— В таком случае, — отозвалась Жюли, — говорить больше не о чем. Кружево так кружево. А камчатная скатерть, видно, отправится в бельевую, где ее позабудут еще на двадцать лет. Кто теперь хоть о чем-нибудь заботится здесь, в замке? Вот о чем я спрашиваю себя. Разве так было в старые времена?

Жюли вздохнула и принялась складывать скатерть на краешке стола.

— А чего еще можно ждать? — сказала графиня. — При теперешней-то прислуге? Никто из них не гордится своей работой.

— В этом виновата только хозяйка, — возразила Жюли. — У хорошей хозяйки и прислуга хорошая. Я помню, когда вы спускались на кухню, мы полчаса после того не смели рта раскрыть, так были напуганы. Часто даже есть не могли. Вот как оно должно быть. Но теперь... — Она покачала головой. — ...Теперь другое дело. Когда я пришла сегодня утром, маленькая Жермена слушала радио. Не спорю, передавали мессу из кафедрального собора, но при всем при том...

Жюли махнула рукой, не закончив фразы.

— Я была больна, — сказала графиня, — дом вышел из-под контроля. Теперь все будет иначе.

— Надеюсь, — сказала Жюли. — Давно пора.

— Вы говорите это из ревности, — сказала графиня. — Вы всегда любили приходить сюда, в замок, и совать свой нос в дела, которые никак вас не касались.

— Еще как касались, — сказала Жюли. — Все, что случается здесь с вами, госпожа графиня, или с другим членом вашей семьи, касается меня. Я родилась в Сен-Жиле. Замок, vergerie, деревня — все это моя жизнь.

— Вы деспот, — сказала графиня. — Я слышала, что ваша невестка сбежала с механиком в Ле-Ман, ведь с вами просто невозможно жить вместе. Что ж, вы получили Андре и внука в полное свое распоряжение. Надеюсь, теперь вы довольны?

— Я деспот? — воскликнула Жюли. — Я самая покладистая женщина на свете, госпожа графиня. А вот невестка, точно, ворчала и пилила нас с утра до ночи. Андре повезло, что он от нее избавился. Наконец у нас в доме будет тишина и покой.

— Вам нечего делать, — сказала графиня, — вот в чем ваша беда. Слоняетесь вокруг фабрики со своими курами да высматриваете все кругом. Будете теперь приходить в замок два раза в неделю, поможете мне навести порядок. Но насчет кружева права была я.

— Вы вольны иметь свое мнение, госпожа графиня, — сказала Жюли. — Спорить с вами я не буду, но даже на смертном одре скажу, что на похоронах господина графа мы стелили на стол камчатную скатерть.

И они посмотрели друг на друга с полным взаимопониманием. Только сейчас графиня заметила меня.

— Все прошло благополучно? — спросила она, поздоровавшись.

— Да, маман.

— Commissaire не сказал ничего нового?

— Нет.

— Тогда мы будем продолжать приготовления. Ты лучше помоги Рене надписывать конверты. Бланш куда-то исчезла. Не попадалась мне на глаза с самого утра. Полагаю, она, как всегда, в церкви. Ну а теперь идите. У нас с Жюли куча дел.

В холле мы встретили Гастона. Он нес пакет, который я оставил в машине.

— Ваш пакет, господин граф.

Я взял его и поднялся в спальню; Мари-Ноэль — за мной.

— Что это? — спросила она. — Ты что-нибудь купил?

Я не ответил. Я развязал веревку и развернул оберточную бумагу. Передо мной лежали кошечка и собачка датского фарфора, полные копии разбитых статуэток. Я поставил фигурки на столик, на их старое место, и взглянул на Мари-Ноэль. Она стояла стиснув руки перед грудью и улыбалась.

— Даже догадаться нельзя! — воскликнула она. — Никто никогда не скажет, что они были разбиты. Ни одной трещинки, ни одной щербинки. Какая прелесть! Теперь я чувствую, что я прощена.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил я.

— Я выставялась, — ответила девочка, — я была неосторожна, и зверюшки разбились, а татап из-за этого заболела. Я бы хотела поставить их завтра в гостиной рядом со свечами. Как символ.

— Не думаю, что это надо делать, — сказал я. — Это может показаться странным. Лучше оставим их здесь, со всеми остальными маминими вещами, смысл будет тот же самый.

Мы спустились в библиотеку, где на бюро нас уже ждали списки с именами. Но никто не надписывал конверты, в комнате не было ни Поля, ни Рене, ни Бланш.

— Где они? — спросил я девочку. — Куда все ушли?

Мари-Ноэль уже схватила конверт и надписывала на нем адрес первого человека по списку.

— Мне не полагается говорить, — сказала она, — потому что бабушка об этом не знает. Тетя Рене у себя в комнате, пересматривает зимние вещи. Она сказала мне под большим секретом, что после похорон они с дядей Полем уедут. Они будут путешествовать, а потом, сказала она, они, возможно, поселятся в небольшой квартире в Париже. Она сказала, что пригласит меня погостить, если вы с бабушкой не будете против.

— А дядя Поль тоже разбирает наверху вещи? — спросил я.

— Нет, он уехал на фабрику, — ответила Мари-Ноэль. — И тетя Бланш с ним вместе, а вовсе не пошла в церковь. Но это тоже тайна. Они боялись, что если бабушка об этом услышит, она вмешается. Тетя Бланш хочет посмотреть на мебель, которая хранится в доме управляющего, и отобрать из нее что можно. Она сказала мне, что вчера она была там впервые за пятнадцать лет. И что дом пропадает без пользы, раз в нем никто не живет, и его надо сделать обитаемым.

— Тетя Бланш так тебе сказала?

— Да, сегодня утром. Она собирается предпринять что-нибудь по этому поводу. Вот почему она поехала с дядей Полем.

Несколько минут она молча надписывала конверты. Затем подняла голову и, покусывая кончик пера, сказала:

— Мне сейчас пришла в голову ужасная мысль. Не знаю даже, говорить тебе или нет.

— Продолжай, — сказал я.

— Понимаешь, как только татап умерла, у всех неожиданно появилось то, что они желали. Бабушка любит, чтобы на нее обращали внимание, и вот она спустилась вниз. Дядя Поль и тетя Рене собираются путешествовать и очень этим довольны. Тетя Бланш отправилась в дом управляющего, где, как она однажды сказала мне по секрету, она давным-давно, еще до моего рождения, собиралась жить. Даже мадам Ив возится с бельем и чувствует себя важной персоной. Ты получил деньги, как хотел, и можешь тратить их сколько душе угодно. А я, — она приостановилась в нерешительности, глядя на меня тревожно и печально, — я в результате избавилась от братца и буду иметь тебя в своем распоряжении до конца моих дней.

Я глядел на девочку, и из глубины сознания пробивалась забытая, а может быть, подавленная мысль: что-то насчет алчности, что-то насчет голода. Через полуоткрытые двери в столовую вдруг донесся телефонный звонок. Он мешал мне, нервировал, не давал сосредоточиться, а слова Мари-Ноэль неожиданно показались очень важными, требующими правильного ответа.

— Я вот что хочу знать, — продолжала Мари-Ноэль, — случилась ли бы хоть одна из этих вещей, если бы татап не умерла?

Ее ужасный, мучительный вопрос, казалось, потрясал основы всякой веры.

— Да, — быстро ответил я, — они должны были случиться, не могли не случиться. Это никак не связано со смертью татап. Если бы она осталась жива, они все равно произошли бы.

Однако на лице Мари-Ноэль все еще было сомнение, мой ответ не совсем ее удовлетворил.

— Когда вещи случаются по воле *bon Dieu*, [\[59\]](#) — сказала она, — все бывает к лучшему, но иногда, надев личину, нас искушает дьявол. Ты помнишь, как сказано в Евангелии от святого Матфея: «Все это дам тебе, если, пав, поклонисься мне».

Звонок в холле прекратился. Гастон снял трубку. Через минуту его шаги послышались в столовой. Они приближались к нам.

— Главное, разгадать: кто — кто, — сказала Мари-Ноэль. — Кто дает нам то, что мы хотим. Бог или дьявол. Это может быть только

один из двух, но как узнать — который?

Гастон подошел к дверям и позвал меня:

— Господина графа просят к телефону.

Я встал и прошел через столовую в холл. Поднял старомодную трубку.

Кто-то неразборчиво произнес:

— Ne quittez pas. [\[60\]](#)

Голос звучал глухо, словно звонили по междугородной линии. Затем немного спустя другой голос, мужской, сказал:

— Я говорю с графом де Ге?

— Да, — ответил я.

Пауза. Казалось, мой собеседник на другом конце провода раздумывает, что сказать.

— Кто это? — спросил я. — Что вам надо?

Тихо, чуть не шепотом, голос ответил:

— Это я, Жан де Ге. Я только что прочитал сегодняшнюю газету. Я возвращаюсь.

Глава 25

Все во мне отвергало его. Разум, дух, чувства объединились в протесте. Шепот на другом конце провода мне почудился, был плодом усталости, плодом воображения. Я ждал, ничего не ответив. Спустя мгновение он снова заговорил.

— Вы слышите меня, — спросил он, — вы, мой remplaceant? ^[61]

Возможно, потому, что в холле раздались шаги — неважно чьи, скорей всего Гастона, — я ответил ему сухим тоном, как пристало деловому человеку, привыкшему отдавать приказы и распоряжения.

— Да, — ответил я. — Я слушаю вас.

— Я звоню из Девиля, — сказал он. — У меня ваша машина. Я собираюсь приехать в Сен-Жиль попозже к вечеру. Нет смысла появляться там, пока не стемнеет, — меня могут увидеть. Предлагаю встретиться в семь часов.

Его апломб, уверенность, с какой он говорил, не сомневаясь в моем согласии, вызвали во мне еще большую ненависть.

— Где? — спросил я.

Ответил он не сразу — думал. Затем тихо сказал:

— Вы знаете дом управляющего в verrerie?

Я думал, он назовет отель в Ле-Мане, где сыграл надо мной свою первую и единственную шутку. Это была бы нейтральная зона. То, что вместо этого он предложил дом управляющего, было прямым вызовом.

— Да, — сказал я.

— Я оставлю машину в лесу, — продолжал он, — и пройду к дому садом. Ждите меня внутри и откройте мне дверь. Я буду вскоре после семи.

Он повесил трубку не попрощавшись. Щелчок — и все. Я вышел из ниши, где висел телефон, в холл. Гастон и Жермена сновали взад и вперед между кухней и столовой с подносами в руках — подходило время обеда. Снаружи, на подъездной дорожке, послышался шум колес: это возвращались с фабрики Поль и Бланш. Скоро все сойдутся в столовой для совместной трапезы.

Хотя во мне кипела ярость, я держал себя в руках. Сегодня я был хозяин дома, а он — незванный гость, желающий присвоить мои права. Замок был теперь моим семейным очагом, те, кто жил в нем, кто через несколько минут соберутся во главе со мной вокруг стола, были моей семьей — плоть от плоти, кровь от крови, — мы составляли единое целое. Не мог он вот так вернуться и отобрать их у меня.

Я вошел в гостиную; графиня все еще сидела там, обозревая мебель, опять расставленную по-иному. Жюли исчезла, забрав с собой камчатную скатерть. Графиня была одна.

— Кто это звонил? — спросила она.

— Да так, один человек, — ответил я. — Прочитал некролог в утренней газете.

— В прежние времена, — сказала графиня, — никому и в голову не пришло бы звонить. Это свидетельствует о недостатке такта. Учтивый человек выразил бы свое соболезнование в письме и прислал бы мне цветы. Но — что говорить! — хорошие манеры остались в прошлом.

Я подошел к ней и взял за руку.

— Как вы себя чувствуете? — сказал я. — Я не мог осведомиться раньше, на глазах у Жюли.

Графиня взглянула на меня и улыбнулась.

— У нас с тобой было ночное бдение, верно? — сказала она. — Но ты уснул в кресле. Что до меня, я не сомкнула глаз. Если ты полагаешь, что это будет для меня легко, ты ошибаешься.

— Я ни разу не говорил, что это будет легко, — ответил я. — Ничего труднее у вас не было в жизни.

— Я должна отказаться ради тебя от покоя и приятных сновидений, — сказала графиня. — Ведь именно это ты просишь меня сделать, не так ли? Из-за того только, что тебе хочется, чтобы я хозяйничала в доме. Откуда мне знать, не передумаешь ли ты вдруг и не заточишь ли меня снова в башню.

— Нет! — вскричал я. — Нет... нет!

Моя неожиданная горячность позабавила маман. Она протянула руку и погладила меня по щеке.

— Ты избалован, — сказала она, — в этом твоя беда. Сегодня утром мы с Жюли сошлись насчет этого во мнении. Все мы здесь с

тобой мучаемся. Если я заболею, а это вполне вероятно, виноват будешь ты.

Она приостановилась, затем, довольно глядя кругом, продолжала:

— Знаешь, в больничной часовне Франсуаза произвела на меня очень хорошее впечатление. Впервые в ней была видна порода. Я буду с гордостью принимать тех, кто придет завтра попрощаться с ней. Большое утешение — не стыдиться невестки после ее смерти.

В гостиную вошел Гастон и своим новым — приглушенным, участливым — тоном объявил, что обед подан. В то время как мы шли из гостиной в холл, графиня сказала:

— Когда привезут цветы, комнату будет не узнать. Главное — лилии, неважно, сколько они стоят. В конце концов, платить будет Франсуаза. Мы всем обязаны ей.

Остальные уже были в столовой, и, взглянув на Поля и Бланш, я увидел, что у них лица заговорщиков, но не скрытные, не замкнутые, — такие лица бывают у детей, делящих между собой секрет, который обоим принес радость. Когда, прочитав, как всегда, молитву, Бланш доверчиво и спокойно, хотя и без улыбки, посмотрела на меня, я понял, что утром чего-то добился — если не конца молчания, то утешения боли.

Дождавшись, пока татап сядет напротив меня на другом конце стола, я сказал ей:

— Теперь, когда вы заняли место, которое принадлежит вам по праву, я хочу сделать еще кое-какие перемены. Я уже обсуждал их с Бланш и с Полем и Рене. Поль больше не будет управлять фабрикой. Он будет ездить по свету, и Рене вместе с ним.

Мои слова были выслушаны совершенно бесстрастно. Протягивая на вилке кусочки мяса терьерам, сидевшим с двух сторон от нее, графиня сказала:

— Прекрасная мысль. Давно надо было это сделать. К сожалению, ни один из нас не мог себе этого позволить. А кто займет его место? Надеюсь, не Жак. Он не пользуется влиянием.

— Бланш, — ответил я. — Она знает о *vergerie* больше всех нас. И жить она в дальнейшем будет в доме управляющего.

Даже эта новость не поколебала спокойствия графини. Не знаю, чего я ожидал: насмешки по адресу Бланш, издевки, во всяком случае — потока слов. Вместо этого графиня безмятежно сказала:

— Я всегда говорила, что у Бланш есть сметка. Не представляю, в кого она пошла... не в меня, это точно. Да и отец ваш не был практичным человеком, он занимался *vegeterie*, чтобы не нарушать семейную традицию, а не для извлечения выгоды. Но Бланш... — Графиня подняла голову и посмотрела через стол на дочь. — Мы и оглянуться не успеем, как у нас тут будет полно туристов. За воротами — магазинчик, где будут продаваться стеклянные копии замка и церкви, в сторожке у Жюли — мороженое. Все это мы имели бы давным-давно, если бы не помешала война.

И она снова принялась за еду. Поль, кинув на меня взгляд, быстро произнес:

— Значит, вы одобряете? И тот наш план, и другой?

— Одобряю? — повторила графиня. — Почему бы мне его не одобрить? И то и другое вполне мне подходит. Что, ради всего святого, будет делать здесь, в замке, Бланш, если я решу спускаться вниз каждый день? — Она размяла в пальцах кусочек хлеба. — Да и Рене тоже, если уж о том зашла речь. — Графиня посмотрела на невестку. — Стоит женщинам остаться без дела, они попадают в беду. Ударяются в религию или заводят любовника.

Значит, никаких протестов. Мари-Ноэль была права. Все получили то, что хотели. На всех лицах было облегчение. И, глядя на них, я внезапно представил себе, как все это будет: вот Поль и Рене выезжают из замка на новой, набитой багажом машине, которую я им куплю, вот они в Париже, и хотя сперва им не по себе — они чувствуют себя провинциалами, постепенно это сглаживается благодаря свободе; а вот Бланш в доме управляющего — она разбирает мебель, пересматривает книги, возможно, наталкивается на какой-нибудь старый проект или рисунок и тоже обретает свободу, освобождаясь от душевной горечи.

Но пока все это проходило перед моим мысленным взором, я заметил, что Мари-Ноэль, не отрываясь, глядит на меня.

— Ну, — спросил я, — что ты хочешь сказать?

— Понимаешь, — начала она, — ты составил планы для всех, а для себя? Что ты собираешься делать, когда все уедут отсюда?

Ее вопрос привлек общее внимание. Все с любопытством смотрели на меня. Даже Бланш, подняв на мгновение голову, взглянула мне в лицо, затем снова опустила глаза.

— Я останусь здесь, — сказал я. — В замке, в Сен-Жиле. У меня нет намерения уезжать отсюда. Я останусь здесь навсегда.

И, произнося эти слова, я уже знал, что я должен сделать. Я вспомнил про револьвер, который видел в ящике секретера в библиотеке. В субботу я сжег себе руку, чтобы избавиться от унижения, из страха, что с меня сорвут маску, увидев, как я стреляю. Сейчас другое дело. Свидетелей не будет. Надо быть последним дураком, чтобы промахнуться, стреляя в упор. Я не стану испытывать ни угрызений совести, ни сожалений. Он встретит тот прием, которого заслужил. Даже выбранное им место встречи — дом управляющего — мне поможет. Это только справедливо. Единственное, чего мне не хотелось, это сжигать свою машину. Хотя, раз он забрал ее, я больше не чувствовал ее своей. Она осталась в прошлом, которое я давно забыл. План, родившийся в одно мгновение, приобретал четкие контуры и ясность. Я тоже пройду к дому управляющего через лес и влезу в окно со стороны сада, как делал уже дважды. Никто этого не заметит. Я глядел прямо перед собой и видел темные деревья и мокрую землю, но вот я поднял глаза: все по-прежнему смотрели на меня с удивлением и странной неловкостью. Моя последняя фраза прозвучала, вероятно, слишком горячо, слишком взволнованно. Мари-Ноэль, единственная из всех, кто не ощущал замешательства, воскликнула:

— Когда все молчат и вдруг наступает тишина, это значит, по комнате пролетел ангел. Мне так Жермена сказала. Но я не совсем ей верю. Может быть, это вовсе демон.

Гастон внес овощи. Молчание было нарушено. Все одновременно заговорили. Все, кроме меня. Матап, не спускавшая с меня глаз, спросила одними губами: «В чем дело?» Я покачал головой, махнул рукой: «Ничего». Я видел, как он садится в Девиле в машину и едет сюда, самонадеянный, беззаботный, уверенный в своем мире, где жизнь внезапно стала легче, долгожданное наследство — рукой подать, все проблемы наконец-то разрешены, и я спросил себя, намеревается ли он освободить меня от моей временной должности, пожав руку и наградив улыбкой, а затем вернуться к прежней жизни, с которой ему было вздумалось ради шутки порвать навсегда. Если так, из этого ничего не выйдет. Теперь я был реальностью, а он тенью. Тень здесь не нужна, ей суждено исчезнуть с лица земли.

Когда все встали из-за стола, мне представился удобный случай. Бланш и Мари-Ноэль отправились наверх заниматься. Остальных татап позвала в гостиную посмотреть, как она все там устроила. Я пошел в библиотеку и, подойдя к секретеру, выдвинул ящик. И сразу увидел рукоятку револьвера рядом с альбомом. Я вынул его и открыл затвор — револьвер был заряжен. Интересно, почему он держал его здесь, с какой непонятной целью, для какого непредвиденного случая? Теперь оружие будет использовано против него самого. Ради этого он и держал его заряженным многие годы. Я опустил револьвер в карман пальто, поднялся в гардеробную и спрятал в ящик шкафа рядом с морфием и шприцем.

Когда я спустился, я увидел, что успел забрать револьвер в последний момент: все переходили в библиотеку. Гостиная сейчас была недоступна, она дожидалась завтрашнего ритуала. Поль сел у секретера, Рене — у стола, оба принялись надписывать конверты. Матап, заняв кресло, откуда она могла за ними наблюдать, протянула ко мне руку.

— Тебя что-то тревожит, — сказала она. — Что у тебя на душе?

Глядя на нее, я напомнил себе, что убить я собираюсь вовсе не ее сына, а кого-то чужого, человека со стороны, без чувств, без сердца, который не питает любви ни к ней, ни к кому другому. Она признала во мне своего сына. В будущем я сделаю для нее все, что не удалось ему.

— Я хочу похоронить прошлое, — сказал я. — Только это у меня на душе.

— Ты приложил все усилия, чтобы воскресить его, — сказала она, — предложив Бланш переехать на фабрику.

— Нет, — возразил я. — Вы не понимаете.

Графиня пожала плечами.

— Как хочешь, — сказала она. — Меня твои планы вполне устраивают, если только из этого что-нибудь выйдет. Конечно, все твои махинации имеют одну цель — облегчить собственную жизнь. Иди сядь со мной.

Она показала на кресло, стоящее рядом, и я сел, все еще держа ее руку. Вскоре я увидел, что она уснула. Поль, обернувшись ко мне, тихо сказал:

— Матап слишком много возится. И Шарлотта так говорит. А потом будет страдать. Тебе следует пресечь это.

— Нет, — сказал я. — Так для нее лучше.

Рене кинула на меня взгляд от стола.

— Ей следует отдыхать у себя в спальне, как обычно, — сказала она. — Поль абсолютно прав. Ее ждет после похорон полный упадок сил.

— Мой риск, — сказал я, — моя ответственность.

День медленно подходил к концу. Не слышно было ничего, кроме скрипа перьев. Я поглядел на лицо спящей графини и внезапно понял, что мне надо уйти до того, как она проснется и Мари-Ноэль спустится вниз. Поль сидел спиной ко мне, Рене тоже. Никто из них не должен знать, куда я иду. Безотчетно — так мы касаемся дерева, чтобы предотвратить несчастье, — я поцеловал руку матап. Затем поднялся и покинул комнату. Никто не повернул головы, никто не окликнул меня.

Я захватил из гардеробной револьвер и вышел из парадных дверей на террасу, а оттуда, обогнув замок, направился к проходу в стене. Остановившись на секунду в моем первом убежище — под кедром, я увидел, что Цезарь выходит из будки. Он задрал морду принюхался, поглядел вокруг. Увидев меня, пес не залаял. Но и не завилял хвостом. Он признал меня как одного из обитателей Сен-Жиля, однако хозяином его я еще не стал. Это будет одной из моих задач. Я прошел под каштанами в парк, оттуда — в лес, где под жарким еще солнцем горели золотом падающие листья. Никогда еще лес не казался мне таким ласковым, таким прекрасным.

Добравшись до поля, граничащего с фабричным участком, я прилег на опушке и стал ждать. Не было смысла заходить в дом управляющего до тех пор, пока не уйдет Жак и рабочие не закончат работу. Я вспомнил, что в одном из фабричных строений стоят канистры с бензином. Бензин был мне необходим. Лежа в лесу, я видел тонкую струйку дыма, поднимающуюся из трубы плавильной печи; меня все сильнее охватывало нетерпение, я не мог найти себе места. Я хотел, чтобы все поскорее ушли.

Прошло, должно быть, часа два. Точнее определить время я не мог, но воздух вдруг стал сырым и холодным, солнце спряталось за деревья, и наступила тишина. Все звуки, долетавшие с фабрики,

смолки. Я поднялся с земли, подошел к ограде и, пригнувшись, посмотрел в сад. Там никого не было. Окна конторы были закрыты, место казалось покинутым. Я пересек сад и встал у стены дома. Подождал немного и под укрытием обвившего стену винограда заглянул в окно. Пусто. Жак уже ушел. Дом был в моем распоряжении. Я прошел на противоположную сторону и влез в окно, как делал раньше. В комнате все говорило об утреннем пребывании там Поля и Бланш. Часть мебели уже была разобрана, столы и стулья отодвинуты от стены, картины переставлены на другое место. Да, Бланш времени не теряла. Она знает, чего она хочет. Комната больше не походила на пустую оболочку, на пристанище прошлого, комната ждала ее, она предвкушала, что Бланш снова вдохнет в нее жизнь.

Я тоже ждал, ждал человека, которого намеревался убить. Солнце ушло, тени стали гуще. Через полчаса или меньше наступят сумерки, и когда он придет и постучит в окно или в дверь, он увидит, что роли переменялись и за его преступление ему будет отплачено той же монетой. Он, а не я вернется на пятнадцать лет назад.

Я заметил, что ручка двери поворачивается, и так как ею не пользовались много лет, она отвалилась и упала на пол. Дверь не открылась, так как я запер ее на задвижку. Я прошел через комнату, поднял ручку и сунул ее на место. Медленно, держа револьвер наготове, отодвинул задвижку. Открыл дверь — низ ее чиркнул по каменному полу, и я подумал: вот так, должно быть, Морис Дюваль открывал дверь в ту ночь и увидел за ней в темноте *его*. Затем раздалось восклицание, и голос — не тот — сказал:

— В доме кто-нибудь есть?

Это был не Жан де Ге, это был кюре. Мы смотрели в лицо друг другу, я, пораженный, в полной растерянности, он — кивая головой и улыбаясь, пока взгляд его не упал на револьвер.

— Разрешите? — сказал он, протянув руку, и, прежде чем я понял, что он собирается сделать, забрал у меня револьвер. Затем высыпал из обоймы патроны, положил их в карман, револьвер сунул туда же.

— Я не люблю эти игрушки, — сказал он. — Во время войны их было здесь более чем достаточно и во время оккупации тоже. Они причинили очень много вреда и снова могут это сделать.

Он посмотрел на меня, кивая головой, словно подтверждая свои слова, и так как я был не в силах что-нибудь произнести, просто не мог найти слов, он потрепал меня по руке и сказал:

— Не сердитесь. Пройдет немного времени, и вы будете рады, что я забрал у вас оружие. Ведь вы задумали кого-то уничтожить, верно?

Я ответил не сразу:

— Да, святой отец.

— Что ж, мы не будем это обсуждать. Вопрос вашей совести и Бога. Не мне спрашивать, что привело вас к такому решению, но постараться спасти жизнь человека — дело мое. Если мне это сейчас удалось, я благодарен Создателю за то, что явился смиренным орудием его воли.

Он оглядел комнату, где становилось все темней.

— Я был у Андре Ива, — сказал кюре. — К счастью, со временем он снова сможет пользоваться рукой. Он очень терпеливый человек. Но неделю назад он сказал мне: «Лучше бы я покончил с собой». «Нет, Андре, — возразил я, — будущее начинается сегодня. Это дар, который вручают нам каждое утро. Воспользуйся им, не отвергай его».

Кюре замолчал, потом, указывая на мебель, заметил:

— Значит, то, что сказала мне сегодня днем мадемуазель Бланш, когда я зашел в замок, правда? Вы действительно предложили ей переехать сюда и она будет здесь жить?

— Если она сама так сказала, — ответил я, — значит, это правда.

— Тогда тем более вы не захотите сделать то, что заставит ее передумать, — сказал кюре. — Есть старая поговорка: «Злом зла не поправишь». Кто знает, возможно, если бы я волею судеб не проходил мимо, случилось бы нечто, что причинило бы всем нам большое горе. В вашей семье было достаточно трагедий, зачем ей еще одна?

— Я не собирался никому причинять горя, я хотел убрать его причину.

— Уничтожив себя самого? — спросил кюре. — Какую пользу это принесет вам или им? Вы можете заново создать их мир. И я уже вижу приметы этого здесь, в доме управляющего. Вот что им нужно, и не только на фабрике, но и в замке. Жизнь, а не смерть.

Он подождал моего ответа. Я молчал.

— Ну, что ж. — Кюре приостановился, направляясь к дверям. — Я не могу подвезти вас, я на велосипеде. Я не вижу нигде вашей машины. Как вы доберетесь домой?

— Я пришел пешком, — ответил я, — так же и вернусь.

— Почему бы нам не возвратиться вместе? — предложил он. — Вы же знаете, я еду очень медленно. — Кюре вынул часы. — Уже восьмой час. Возможно, в замке вас хватились. И уж Мари-Ноэль наверняка вас ждет. Я скучный попутчик, но мне бы очень хотелось, чтобы вы присоединились ко мне.

— Не сегодня, святой отец, — сказал я. — Я предпочел бы побыть один.

Кюре все еще медлил, тревожно глядя на меня.

— Не могу сказать, что мне очень улыбается мысль оставить вас здесь, — проговорил он, — после того, что я только что обнаружил у вас в руках. Вы можете совершить какой-нибудь опрометчивый поступок, в котором потом раскаялись бы.

— Нет, не могу, — сказал я, — вы лишили меня такой возможности.

Он улыбнулся.

— Я рад, — сказал он. — Я никогда не пожалею об этом. Что до вашего револьвера, — он похлопал себя по сутане, — возможно, через несколько дней я вам его верну. Это будет зависеть от вас самого. Bonsoir. [\[62\]](#)

И он вышел в темноту. Я смотрел, как он едет мимо колодца, не взглянув на него, и пересекает двор по направлению к фабричным строениям. Я закрыл дверь и снова запер ее на задвижку. Комнату заполнили тени, день кончился. Когда я подошел к окну, выходящему в сад, в проеме возник человек с пистолетом в руке и, перекинув ногу через подоконник, спрыгнул на пол. Тихо посмеиваясь, он направил дуло мне в грудь и сказал:

— Однажды я уже проделал этот путь, но на этот раз мне было куда легче. Никаких часовых на дорогах, никаких застав, никакой колючей проволоки. И вместо кучки парней, которые, стоило им пригрозить, выдали бы меня, — его преподобие господин кюре, случайно проезжавший мимо. Вы должны признать, что счастье всегда на моей стороне. Я правильно сделал — вы согласны? — что

пришел вооруженным? Этот пистолет — единственное, что я не оставил в чемодане, когда покидал Ле-Ман.

Он пододвинул к нам два стула из тех, что Бланш утром вытащила из груды мебели.

— Садитесь, — сказал он, — вам не обязательно держать руки вверх. Это не угроза, просто предостережение. Я не расстаюсь с оружием с сорок первого года.

Он сел на второй стул верхом, свесив ноги по бокам, лицом ко мне. Спинка стула служила хорошей опорой для пистолета.

— Значит, вы решили избавиться от меня и остаться в Сен-Жиле? Внезапная перспектива получить наследство оказалась слишком большим искушением. Я вам сочувствую. Я испытал то же самое.

Глава 26

Я не видел его глаз, только расплывчатое пятно лица — моего лица. Хотя во мраке его присутствие казалось еще более зловещим, мне почему-то было легче его стерпеть.

— Что произошло? — спросил он. — Как она умерла? В газете, которую я прочитал утром, сказано: несчастный случай.

— Она упала, — ответил я, — из окна своей спальни. Уронила на карниз медальон, который вы привезли ей из Парижа, и пыталась его достать.

— Она была в спальне одна?

— Да, — сказал я. — Дело расследовалось в полиции. Полицейский комиссар был вполне удовлетворен результатами и подписал свидетельство о смерти. Завтра тело привезут обратно в Сен-Жиль, в пятницу будут похороны.

— Об этом было в газете, — сказал он. — Потому я и вернулся.

Я промолчал. Домой его привели не похороны жены, а то, что последует за ними в результате ее смерти.

— Знаете, — сказал он, — я не ожидал, что вы справитесь. Когда я оставил вас неделю назад в Ле-Мане, я думал, что вы отправитесь в полицию, выложите им свою историю и в конце концов, хоть объяснить толком вы ничего и не сможете, они вам поверят. А вместо этого, — он рассмеялся, — вы умудрились водить всех за нос в течение семи дней. Примите мои поздравления. Как бы выгодились мне лет двенадцать — пятнадцать назад! Скажите, никто так ничего и не заподозрил?

— Никто, — сказал я.

— А моя мать? И девочка?

— Меньше всех остальных.

Я сказал это со странным удовлетворением, даже злорадством. Никто не ощутил его отсутствия, никто не сожалел о нем.

— Интересно, — сказал он, — до чего вы докопались? Меня страшно забавляет мысль о том, например, как вам удалось управиться с Рене; еще до того, как я уехал в Париж, она изрядно мне надоела. И как вы осушили слезы Франсуазе? И пытались ли с

неуместной учтивостью заговаривать с Бланш? Что касается матери, с ее нуждами в дальнейшем будет иметь дело врач. Естественно, не наш, а специалист. Ей придется переехать в клинику. Я уже начал переговоры на этот счет в Париже.

Я поглядел на дуло пистолета на спинке стула. Нет, мне не удастся добраться до него. Скорый на руку, как и во всем остальном, он меня опередит.

— Графине незачем уезжать в Париж, — сказал я, — хотя, вероятно, она будет нуждаться в медицинском уходе дома. Она хочет бросить наркотики. Я просидел у нее всю прошлую ночь. Она сделала первую попытку.

Я чувствовал во мраке, что его глаза прикованы ко мне.

— Что вы имеете в виду? — спросил он. — Вы просидели у нее всю прошлую ночь? Для чего?

Я вспомнил свое кресло возле кровати, ее полусон, тишину, грозные тени, которые, казалось, таяли и исчезали на глазах. Рассказывать ему об этой ночи было нелепо. Сейчас все это выглядело банальным. Я ничего не добился, ничего не дал ей, кроме спокойного сна.

— Я сидел рядом с ней, и она спала, — сказал я. — Я держал ее руку.

Его смех, заразительный и вместе с тем нестерпимый, разнесся по темной комнате.

— Мой бедный друг, — сказал он, — и вы воображаете, будто так можно вылечить морфинистку? Сегодня вечером она будет буйствовать, и Шарлотте придется дать ей двойную дозу.

— Нет, — сказал я. — Нет!

Но меня охватили сомнения. Когда я оставил ее спящей в кресле, у нее был больной и измученный вид.

— Что еще? — спросил он. — Расскажите мне, что вы еще натворили.

Что еще? Я порылся в уме.

— Поль, — сказал я. — Поль и Рене. Они уезжают из замка, уезжают из Сен-Жиля. Они будут путешествовать. Полгода или год, по меньшей мере.

Я видел, что он кивает.

— Это развалит их брак еще быстрее, — сказал он. — Рене найдет любовника, которого уже давно ищет, Поль будет чувствовать себя еще большим ничтожеством. Выпустите его в свет, и все увидят, что он провинциал и мужлан, а пока об этом знает лишь он сам. Простите, но это бестактно; никакой деликатности, никакой душевной тонкости. Дальше.

Я вспомнил, как мальчиком играл в кегли. Катишь деревянный шар по кегельбану — и кегля в другом его конце переворачивается и падает. Это самое он делал сейчас с замыслами, которые мне подсказала любовь. Выходит, это была вовсе не любовь, а бестолковая сентиментальность.

— Вы отказались подписать новый контракт с Корвале, да? — сказал я. — Я его подписал. Vergerie не будет закрыта. Никто не останется без работы. Вам придется покрывать убытки из основного капитала.

На этот раз он не засмеялся. Он присвистнул. Его тревога доставила мне удовольствие.

— Полагаю, что сумею выпутаться, — сказал он. — Но на это уйдет время. Все прочие ваши шаги, хоть и неверные, большого вреда не принесли, но этот куда серьезнее. Даже имея в резерве деньги Франсуазы, поддерживать гибнущее предприятие не шутка. А кого вы намеревались поставить на место управляющего, когда уедет Поль?

— Бланш, — сказал я.

Он наклонился вперед вместе с креслом, приблизив лицо к моему лицу. Теперь мне была видна каждая его черта, а главное — глаза. Все осталось таким же, каким было в отеле в Ле-Мане. Его сходство со мной казалось мне отвратительным.

— Вы разговаривали с Бланш? — спросил он. — На самом деле? И она вам отвечала?

— Да, разговаривал, — подтвердил я. — И она приходила сюда утром. Я сказал ей, что с сегодняшнего дня фабрика в ее распоряжении. Она может делать здесь все, что угодно, любым путем добиться ее процветания, чтобы она стала приданым Мари-Ноэль.

С минуты он молчал — возможно, не мог прийти в себя, ведь я опрокинул все его привычные представления. Я надеялся, что это так. Больше всего на свете мне хотелось сбить с него спесь. Но мне это не удалось.

— А вы знаете, — медленно произнес он, — это может в итоге окупиться. Если Бланш снова станет делать образцы и нам удастся производить дешевые безделушки, чтобы привлечь туристов, мы обойдемся без Корвале или другой какой-нибудь солидной фирмы, завоюем рынок в здешних местах и собьем цены всем остальным. Вместо того, чтобы проезжать через Виллар напрямик в Ле-Ман, туристы станут заворачивать в Сен-Жиль. Что ж, я полагаю, вы случайно попали на хорошую мысль.

Он приостановился.

— Да, — сказал он, — чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится этот план. И как это мне самому в голову не пришло? Ну и болван. Но при том, как Бланш относилась ко мне, об этом не могло быть и речи. Вы, верно, польстили ей. Это было неглупо. Она мнила себя великой художницей в прежние дни. А этот напыщенный педант ей подпевал. Если она сюда переедет, она, возможно, наденет вдовый траур — сделает вид, будто тайно с ним обвенчалась.

Он вытащил из кармана пачку сигарет и, протянув одну мне, закурил.

— Что ж, в общем и целом вы справились тут не так уж плохо. А как насчет Мари-Ноэль? Где ее место на картинке? Были у нее видения за эту неделю? Или вещи сны?

Я не ответил. Глумиться над ребенком — что может быть отвратительней?! Пусть он оскверняет имя матери, пусть издевается над сестрой и братом, но делать мишенью насмешек Мари-Ноэль... этого я не дам.

— С ней все в порядке, — сказал я. — Она стойко держалась вчера.

— И неудивительно, — сказал он. — Эти двое никогда между собой не ладили. Франсуаза ревновала к девочке, та знала об этом. Теперь вы наконец понимаете, что значит иметь родных, у которых развит собственнический инстинкт. И вы были готовы терпеть это ради денег. Вы пришли сюда с намерением меня убить, чтобы жить в достатке до конца ваших дней.

Он откинулся назад, выпустив дым в воздух, и лицо его опять поглотил полумрак. Виден был лишь контур.

— Можете мне не верить, — сказал я, — но я не думал о деньгах. Просто я полюбил ваших родных, вот и все.

Мои слова снова вызвали у него смех.

— И вы, не краснея, говорите мне, — сказал он, — что любите мою мать — самую эгоистичную, самую ненасытную, самую чудовищную женщину из всех, кого я знал в своей жизни; любите моего брата Поля, этого дурачка, эту тряпку, — вот уж действительно противный тип; любите Рене — вероятно, за ее тело, которое, согласен, восхитительно, но в голове-то у нее пустота; любите Бланш, которая так исковеркана из-за подавленного полового инстинкта и несбывшихся надежд, что только и может стоять на коленях перед распятием, больше ей в жизни ничего не дано. И полагаю, вы скажете, что любите мою дочь за ее невинность и детскую прелесть, которые, поверьте мне, она прекрасно умеет пускать в ход, ведь она все делает напоказ. Нравится ей одно — чтобы ею восхищались и баловали ее.

Я не спорил. То, что он говорил, было правдой, если смотреть на них его глазами, да, возможно, и моими тоже. Но суть была в том, что это не имело значения.

— Согласен, — сказал я, — все так. Но это не мешает мне любить ваших родных. Не спрашивайте почему. Я не смогу ответить.

— Если я питаю к ним слабость, — сказал он, — это можно понять. Как-никак, они моя семья. Но у вас нет для этого никаких оснований. Вы знакомы с ними всего неделю. Просто вы неисправимо сентиментальны, в этом все дело.

— Возможно.

— Вы видите себя спасителем?

— Нет, глупцом.

— Это, по крайней мере, честно. А что, по-вашему, произойдет теперь?

— Не знаю. Это вам решать.

Он почесал голову рукояткой пистолета. Я мог бы напасть на него в этот момент, но что бы это дало?

— Именно, — сказал он. — Что произойдет в Сен-Жиле, решать мне. Могу осуществить вашу программу, если захочу. Или перечеркнуть ее. В зависимости от настроения. А как насчет вас? Пойдем в лес и выкопаем могилу? Сжечь машину мне нетрудно. Искать вас никто не станет. Вы просто исчезнете. Раньше это случалось с людьми.

— Если вы так решили, — сказал я, — приступайте. Я в ваших руках. Разве что вы предпочтете бросить меня в колодец.

Я не видел его, но чувствовал, что он улыбается.

— Вы и это раскопали? — спросил он. — Из вас бы вышел неплохой сыщик. Я думал, пересуды окончились много лет назад. Вас, верно, это возмутило.

— Я не был возмущен, — ответил я, — меня удивил ваш мотив.

— Мой мотив? — повторил он. — Конечно, он вас удивил. На вашу землю с тысяча шестьдесят шестого года не ступала нога захватчика. То-то все вы, англичане, так довольны собой, так перед всеми пыжиться. Может быть, мы порой бываем жестоки, но, слава богу, лицемерами нас не назовешь. Придуманного вами Мориса Дюваля вы тоже любите?

Я немного подумал. Пожалуй, «любовь» — слишком сильное слово.

— Мне его жаль, — сказал я. — По всему, что я о нем слышал, он был хороший человек.

— Не всякому слуху верь, — сказал он. — Дюваль был честолюбец и карьерист. Как все ему подобные. Втерся в доверие к моему отцу... с видами на будущее. Главным его козырем была Бланш, но я не дал ему пойти с этой карты. Не очень-то это красиво, знаете, жить дома со всеми удобствами и сотрудничать с врагом, лишь бы спасти свою шкуру.

У меня не было на это ответа. Вражда между ними была их вражда, и война — их война. Я знал только, что вражда и война привели к страданию и смерти.

— Что толку, — сказал я, — обсуждать Дюваля или ваших родных? У меня о них свое представление. Что бы вы ни сказали, вы не измените его. Если вы намерены убить меня, как я намеревался убить вас, не тяните. Я готов.

— Я не уверен, что хочу вас убивать, — сказал он. — В конце концов, если мы провели их один раз, почему бы нам снова не разыграть комедию? Мне ничего не стоит связаться с вами, назначить где-нибудь встречу и исчезнуть на неделю или на месяц, оставив вас взамен. Как вы на это смотрите? Конечно, я могу тем временем свести на нет все, что вы попытались предпринять. Что с того? Это даже придаст пикантность вашему пребыванию в Сен-Жиле.

Ненависть сковала мне губы, а он, приняв мое молчание за согласие, продолжал:

— Вы вряд ли встретились с моей Белой. Не хватило бы времени, да и возможности, полагаю, не представилось. У нее в Вилларе небольшой антикварный магазин, и я зову ее Бела потому, что она воображает, будто она потомок венгерских королей. Готовит как ангел, и это не единственное ее достоинство. Я езжу к ней время от времени, когда меня очень уж одолевает скука. Естественно, если мы с вами придем к соглашению, она будет частью сделки. Вы не пожалеете о встрече с ней, это я вам обещаю.

Я все еще не отвечал.

— Что до меня, — продолжал он, — если вам удастся обмануть Белу, как и всех остальных, это только прибавит изюминку моей следующей встрече с ней.

Я встал с кресла. Он тоже встал, направив на меня дуло пистолета.

— Давайте кончать, — проговорил я. — Мне вам сказать больше нечего.

— А мне есть что, — ответил он. — Вы не заметили, что не задали мне ни одного вопроса? Разве вы не хотите знать, что я сделал за эту неделю?

Мне это было неинтересно. Он позвонил из Девиля. Я предполагал, что он провел всю неделю там. Спрятаться в Девиле можно было не хуже, чем в любом другом городке.

— Нет, — ответил я. — По правде говоря, мне это безразлично. Это меня не касается.

— Еще как касается, — возразил он. — Имеет к вам самое прямое отношение.

— Каким образом?

— Сядьте на минуту, — сказал он, — и я все вам объясню.

Он щелкнул зажигалкой, и в свете пламени я ее узнал. А затем увидел, что и пиджак на нем тоже мой. Но не тот, который был на мне в Ле-Мане.

— Теперь поняли? — спросил он. — Я вел честную игру, как и вы. Если вы заняли мое место — хотя откуда мне было знать наверняка, все это было авантюрой, — как мог я не занять ваше хотя

бы из спортивного интереса? Я отправился в Лондон. В вашу квартиру. Я прилетел только сегодня.

Я изумленно глядел на него, вернее, не на него, а на его силуэт. Когда за эту неделю я вспоминал о нем, он представлялся мне фантомом, кем-то, кого больше не существует, призраком, тенью. И если бы я вздумал облечь призрак плотью, я поместил бы его в Париж, на юг, в Италию или Испанию, куда угодно, только не в мою собственную жизнь, не в мой собственный мир.

— Вы жили в моей квартире? — спросил я. — Вы пользовались моими вещами?

Его двуличность, его вопиющая наглость, его посягательство на мои права ошеломили меня. Я не верил своим ушам. Неужели не нашлось никого, кто бы ему помешал?!

— Почему бы и нет? — сказал он. — Вы ведь так же поступили в Сен-Жиле. Я оставил вам свою семью. Вы распорядились с ними так, как вы мне рассказали. Иначе, чем распорядился бы я, но на этот риск я шел. Вряд ли вы вправе обвинять меня в том, что я играл не по правилам.

Я пытался думать. Пытался представить себе место действия. Привратник в вестибюле дома кивнет и пожелает доброго утра или доброго вечера. Женщина, убиравшая у меня в квартире, никогда не приходит раньше половины одиннадцатого — когда меня уже нет дома. Вечером, если я не уйду ужинать к друзьям, я готовлю себе сам. Большинство знакомых считает, что я еще не вернулся из отпуска. Вряд ли мне станут звонить или писать. В полном замешательстве я все же старался найти какое-нибудь доказательство того, что он лжет.

— Откуда вы узнали, куда надо ехать? — спросил я. — Как вам это удалось?

— Бедный мой дурачок, — ответил он, — в чемодане была ваша визитная карточка, ваша записная книжка и чековая книжка, ваши ключи, ваш паспорт — все, что могло мне понадобиться, было там. Я даже сумел изменить число переезда через Ла-Манш — на пароме оказалось свободное место. Подменить вашу скромную, склонную к уединению особу оказалось проще простого. Я получил огромное удовольствие. Ваша квартира — идеальный приют для человека, жаждущего отдохнуть. После шума и суматохи Сен-Жиля я

чувствовал себя в раю. Я перерыл ваши ящики, перечитал ваши письма, расшифровал ваши заметки для лекций, взял деньги по вашим чекам — к счастью, вашу довольно-таки неразборчивую подпись оказалось нетрудно подделать. Я провел пять дней в полном и абсолютном безделье — то самое, что мне было нужно.

Наконец-то я осознал комизм и справедливость ситуации. Я играл человеческой жизнью, он — нет. Я приложил силы, чтобы изменить отношения в его семье, он всего лишь бездельничал и наслаждался досугом. Я совал нос в его дела, он — только в мои бумаги и вещи. Затем я вспомнил, что известие о кончине Франсуазы, в тот же день помещенное в газетах, застало его в Девиле. Значит, он все же вернулся.

— Если вам так понравилась уединенная жизнь в Лондоне, — спросил я, — почему вы возвратились во Францию?

Я чувствовал, что он не сводит с меня глаз. Ответил он не сразу, и когда наконец он заговорил, в голосе его было замешательство.

— Вот тут я виноват перед вами, — сказал он, — хотя не больше, чем вы передо мной, ведь то, как вы изменили контракт, могло ввести меня в очень большие убытки. Дело в том... — Он остановился, подбирая слова. — ...Дело в том, что пяти дней в Лондоне оказалось для меня достаточно. Я не мог больше вести вашу скучную, добродетельную жизнь. Со временем кто-нибудь приехал бы, пришли бы письма от друзей, мне позвонили бы из университета, и, хотя никогда раньше я не ставил под сомнение ни свою способность сыграть чужую роль, ни владение английским — во время войны у меня было достаточно практики и в том, и в другом, — мне не хватало, как я обнаружил, вашей потрясающей самоуверенности. Поскольку я был намерен воспользоваться вашим именем, самым простым было изменить ваш образ жизни. Это, сказать по правде, я и осуществил.

Я ничего не понимал. Я не мог уследить за его мыслью. О чем он говорит?

— Что вы имеете в виду? — спросил я. — Как вы могли изменить мой образ жизни?

Я слышал, как он вздохнул в темноте.

— Возможно, я нанесу вам удар, — сказал он, — так же как для меня было ударом узнать о переменах в Сен-Жиле. Первым делом я

написал в университет и отказался от места. Затем сказал домовладельцу, что намерен уехать за границу и квартира мне больше не нужна, и, поскольку в Лондоне свободных квартир так же мало, как в Париже, он был только рад, что я — вернее, вы — съехал без промедления. Мебель вашу я велел продать с торгов. И наконец, узнав в банке, сколько денег у вас на счету, я получил по чеку ровно такую сумму. Как вы помните, там была пара сотен фунтов. Не состояние, но вполне достаточно, чтобы обеспечить меня месяца на два, пока что-нибудь не подвернется.

Я пытался уразуметь то, о чем он говорил, заставить себя понять, что это произошло в действительности, представить свое бывшее «я». Но видел я лишь неясную тень в моей одежде, тень, которая сумела за несколько часов лишить это «я» всего, разрушила всю его жизнь.

— Как вы могли получить французскую валюту? — сказал я. — Это невозможно. Кто поменял бы вам двести фунтов стерлингов на франки? Вам могли выплатить только по туристскому чеку, а я уже истратил из него три четверти.

Он кинул окурок на пол и раздавил его каблуком.

— В этом была самая соль шутки, — сказал он. — У меня есть приятель, который устраивает такие вещи, и он провернул для меня это дельце за считанные часы. Я никогда не узнал бы о том, что он в Лондоне, если бы вы не дали ему свой адрес — не представляю зачем, но при сложившихся обстоятельствах это было подарком свыше. Когда он позвонил в понедельник утром, я страшно удивился и только тогда узнал, что вы в Сен-Жиле. Суть в том, что, если я вас не убью, а вы не согласитесь на мой план водить всех за нос и время от времени жить жизнью друг друга, что вас ждет? У вас просто *нет* будущего.

Наконец-то до меня дошел полный смысл его слов. Если я не захочу ставить себя в дурацкое положение и писать университетскому начальству, что произошла ошибка и по зрелом размышлении я решил не уходить, я останусь без работы. У меня не было денег, не считая нескольких ценных бумаг. У меня не было квартиры и, если я не поеду как можно быстрее в Лондон, не будет мебели. Я просто не существую. То мое «я», которое раньше жило в Лондоне, исчезло навсегда.

— Разумеется, — сказал он, — я не намеревался возвращаться домой. Я собирался развлечься на ваши деньги где-нибудь в Европе.

Мой приятель — маг и волшебник, когда дело касается валюты. Он мог положить мои деньги в банк любой страны — здесь, во Франции, в другом месте — где бы я ни пожелал. Для начала я имел в виду какое-нибудь уютное местечко на Сицилии или в Греции. Взял бы с собой для компании Белу. Возможно, в дальнейшем она мне надоела бы, но не сразу. У венгерок есть особое очарование. Как говорят американцы, они «влезают вам в душу». Но теперь, — он внезапно замолчал и пожал плечами, — смерть бедняжки Франсуазы довольно сильно изменила мои планы. В прошлом обедневший провинциальный граф, я, если повезет, могу стать миллионером. Судьба — или кто там этим распоряжается — выполнила мое желание.

Он встал, все еще держа меня под прицелом.

— Забавная вещь, — сказал он, — и говорит о моей мягкотелости, но, независимо от денег и нового будущего, когда я ехал сюда сегодня из Девиля, я чувствовал себя взволнованным. Кругом было так красиво, такие краски! В конце концов, это моя страна, мы с ней одно целое. Знает Бог, замок разваливается на глазах и земля вокруг запущена и неухожена, но это мне неважно. Место, где вы родились, откладывает на вас свой отпечаток. Я не забочусь о нем, проклиная его, воюю против его влияния, в точности так же, как проклиная свою мать по той же самой причине. И при том, — он рассмеялся, и я видел, как он махнул рукой, — и при том по пути сюда из Девиля я чувствовал, что хочу ее видеть. Как ни странно, мне недоставало ее все это время. Она сушая ведьма, она груба и жестока, но она понимает меня, а я — ее, и это больше того, чего достигли вы, пробыв здесь неделю.

Неожиданно он потряс меня за плечо, дружески, даже нежно.

— Ну, полно, — сказал он, — я не хочу вас убивать. За многое я вам благодарен.

Он вытащил бумажник... мой.

— Этого вам хватит на порядочное время, — продолжал он. — Какой мне резон вас обманывать... Если вы все же надумаете когда-нибудь снова разыграть комедию и провести в Сен-Жиле хотя бы несколько дней, буду рад вам услужить. Как насчет этого? А теперь, пожалуй, пора кончать маскарад и браться за переодевание.

Я молчал. Я старался припомнить, что мне говорил кюре. Что-то о будущем и о том, что каждый день нашей жизни — дар. Он уже вернулся в деревню и сейчас ставит на место велосипед. В замке скоро ужин, и все удивляются, куда я исчез. Возможно, Мари-Ноэль, встревоженная моим долгим отсутствием, поджидает меня на террасе. Я принялся раздеваться.

Обмен платьем в темноте был для меня пыткой. С каждым предметом одежды, который я снимал, от меня уходила частица моего нового «я». Раздевшись догола под прицелом пистолета, я сказал:

— Убейте меня. Я не хочу жить.

— Глупости, — откликнулся он. — Никто не отказывается от жизни. К тому же я не хочу вас убивать. Это потеряло смысл.

Говоря это, он принялся скидывать с себя одежду и, видя, что мне трудно одеваться, спросил:

— Что с вашей рукой?

— Я обжег ее, — сказал я, — сунул в огонь.

— Огонь? — переспросил он. — В замке был пожар?

— Нет, — ответил я. — Всего лишь костер неподалеку.

— Какое легкомыслие, — сказал он. — Вы же могли навсегда искалечить руку. Как же вы поведете машину?

— Ничего, — сказал я, — рана уже заживает.

— Передайте мне повязку. Не могу же я появиться без нее.

Моя бывшая одежда казалась мне тесной, словно материя села. Все было не впору. Я редко носил костюм, который он выбрал из моего гардероба. Стоя перед ним одетый, готовый в путь, я чувствовал себя так, словно на мне платье, из которого я давно вырос, словно я втиснулся в свою школьную форму. А он удовлетворенно вздохнул.

— Так-то лучше, — сказал он. — Теперь я снова стал самим собой.

Он подошел к окну.

— Лучше выберемся с этой стороны, — сказал он. — Безопасней. Эта сплетница Жюли, возможно, у себя в сторожке. Еще одна злобная ведьма. Вы, вероятно, и ее полюбили.

Он вылез в окно, я за ним. Воздух был напоен сладким запахом заброшенного сада. Прыгая на землю, я задел плечом виноградную лозу.

— Прошу прощения, — сказал он, — но вам придется идти впереди, пока мы не дойдем до того места, где я оставил машину.

Я, спотыкаясь, прошел через сад, пересек поле. Возле ограды смутно вырисовывался силуэт старой белой лошади. Она заржала, увидев нас, и скрылась.

— Бедный старина Жакоб, — сказал мой спутник, — он свое отслужил. У него стерлись все зубы... он ест с трудом. Придется потратить на него пулю, чтобы облегчить его мучения. Как видите, я тоже бываю порой сентиментален...

Нас обступил темный лес. Даже теперь я не мог быть ни в чем уверен, даже теперь он мог убить меня, если это отвечало его планам, и покончить со мной навсегда. Я шел сквозь мрак, с трудом передвигая ноги, по мху, через подлесок, у моего «я» не было больше ни настоящего, ни прошлого — ни мыслей, ни чувств.

— Вот ваша машина, — внезапно сказал он.

Мой собственный «форд», обляпанный грязью, стоял у обочины лесной дороги. Как и одежда, которая была сейчас на мне, он, казалось, съезжился, возник из прожитого уже этапа моей жизни. Я похлопал рукой по капоту.

— Забирайтесь, — сказал он.

Я уселся на знакомое сиденье, включил фары и зажигание.

— Дайте задний ход, — сказал он, — выведите ее на дорогу.

Он сел рядом со мной, и мы тронулись с места. Свернули на лесную дорогу и проехали по ней до вершины холма. Внизу светились окна Сен-Жиля. Часы пробили восемь.

— Вам будет, возможно, не так легко, — медленно сказал я. — Они стали другими. Я имею в виду вашу мать, и Бланш, и Поля, и Рене. Только девочка осталась прежней. Девочка не изменилась.

Он засмеялся.

— А хоть бы и изменилась, — сказал он. — Она скоро сделалась бы снова моей. В ее мире есть только один кумир — я.

Мы проехали вдоль липовой аллеи, пересекли по мосту ров. У ворот я остановился.

— Дальше я машину не поведу, — сказал я. — Это опасно.

Он вышел и встал рядом — зверь в чаще, — втягивая носом воздух.

— Изумительно, — сказал он. — Так пахнет только здесь. Это Сен-Жиль.

Теперь наконец, когда все было решено, он разрядил пистолет и вместе с патронами положил в карман.

— Желаю удачи, — сказал он, затем добавил с улыбкой: — Слушайте.

Он сунул два пальца в рот и свистнул. Раздался долгий, пронзительный звук. И почти сразу ему ответил лаем Цезарь. Не яростным, не так, как стал бы лаять на чужака; возбужденный, визгливый лай переходил в вой, вой — в поскуливание. Свист все продолжался и продолжался, заглушая остальные звуки.

— Этому фокусу вы не научились? — спросил он. — Ясное дело, нет. Откуда вам было его узнать!

Он улыбнулся, помахал рукой и прошел в ворота на подъездную дорожку. Взглянув на террасу, я заметил на ступеньках в свете фонаря над дверьми чью-то поджидающую его фигуру. Это была Мари-Ноэль. Когда она увидела, как он идет большими шагами по дорожке ко входу в замок, она с криком сбежала к нему вниз. Он подхватил ее на руки, закружил, и они поднялись на террасу. Оба вошли внутрь. Пес все еще скулил. Я сел в машину и тронулся с места.

Глава 27

Делал я все как автомат. Не помню, чтобы я о чем-нибудь думал. Я свернул на липовую аллею, затем направо, на дорогу в Виллар. Путь был такой знакомый, даже в темноте, что я вел машину механически. Я ехал осторожно, так как обожженная рука все еще была неловкой и та часть сознания, которая как-то действовала, говорила мне, что я не могу позволить себе рисковать — ошибка может привести «форд» и меня в канаву. Я сосредоточил все внимание на руле и дороге, и усилие, которого это потребовало, вытеснило мысли обо всем ином. Я не пытался представить себе жизнь, которая осталась позади. Казалось, когда он переступил порог и вошел внутрь, опустился железный заслон и отгородил от меня замок и его обитателей и я должен теперь прятаться, должен искать укрытия во мраке.

Приезд в Виллар принес странное облегчение. Дороги таили в себе угрозу: это были нервные нити, ведущие обратно в Сен-Жиль. Виллар внушал доверие, по освещенным улицам прохаживались люди. Я повернул в нижнюю часть города и, проехав мимо рыночной площади, остановился у городских ворот. Посмотрел на противоположную сторону канала; высокое окно, выходящее на балкон, было открыто, в комнате горел свет. Бела была дома. Когда я увидел свет в ее окне, что-то во мне дрогнуло, что-то замершее с той минуты, как мы с Жаном де Ге обменялись одеждой. Железный заслон был между мной и замком, а не между мной и Белой. Она не подпадала под табу. Свет в ее комнате, ласковый, радушный, говорил о реальности, о подлинных вещах. Для меня было теперь очень важно отличать подлинное от ложного, а я больше не мог сказать, что есть что. Бела скажет мне это. Бела поймет.

Я вылез из машины и прошел по пешеходному мостику к балкону. Вошел в комнату через застекленную дверь. В комнате было пусто, но я слышал шаги Белы в кухоньке за коридором. Я ждал, и через минуту она была тут. Постояла на пороге, глядя на меня, затем закрыла дверь и подошла поближе.

— Я тебя не ждала, — сказала она, — но это неважно. Если бы я знала, что ты приедешь, я бы повременила с обедом.

— Я не голоден, — отозвался я, — я ничего не хочу.

— Ты плохо выглядишь, — добавила она. — Садись, я принесу тебе чего-нибудь выпить.

Я сел в глубокое кресло. Я еще не решил, что ей сказать. Бела принесла мне коньяк и смотрела, как я его пью. Коньяк немного согрел меня, но оцепенение не прошло. Я чувствовал под рукой подлокотник кресла, в его прочности была безопасность.

— Ты был в больничной часовне? — спросила Бела.

Я уставился на нее. Понадобилось время, чтобы понять, о чем она говорит.

— Нет, — ответил я, — нет, я был там утром. — Я приостановился. — Спасибо за статуэтки. Мари-Ноэль была очень довольна. Она уверена, что они те самые, после починки. Ты была права, когда посоветовала так ей сказать.

— Да, — отозвалась Бела, — я думала, это будет лучше.

Она с состраданием смотрела на меня. Вероятно, я казался ей принужденным, странным. Должно быть, она думала, что я все еще не оправился от потрясения, вызванного смертью Франсуазы. Пожалуй, будет лучше не разубеждать ее. Однако я колебался. Мне нужна была ее помощь.

— Я приехал, — начал я, — потому что не знаю точно, когда мы снова увидимся.

— Естественно, — сказала она. — Следующие несколько дней, даже несколько недель, будут очень тяжелыми.

Следующие дни... следующие недели... Они не существовали. Сказать это ей было нелегко.

— А как девочка? — спросила Бела. — С ней все в порядке?

— Она держалась молодцом, — сказал я. — Да, с ней все в порядке.

— А мать?

— Мать — тоже.

Бела все еще не спускала с меня глаз. Я увидел, что она рассматривает мою одежду. Она не знала этого костюма. Он был из твида — в отличие от того черного, который я надел после смерти Франсуазы. Рубашка, галстук, носки, туфли — ничего этого Бела не видела раньше. Наступила неловкая пауза. Я чувствовал, что должен оправдаться, дать ей какое-то объяснение.

— Я хочу поблагодарить тебя, — сказал я. — Всю эту неделю ты проявляла удивительное понимание. Я очень тебе благодарен.

Бела не ответила. И внезапно в ее глазах мелькнула догадка — вспышка интуиции, которая рождается у взрослого, слушающего признание ребенка. Через секунду она опустилась на колени возле меня.

— Значит, он вернулся? — сказала она. — Тот, другой?

Я посмотрел на нее. Она положила руки мне на плечи.

— Мне следовало это знать, — сказала она. — Он увидел некролог в газете. Это заставило его приехать обратно.

Ее слова принесли мне колоссальное облегчение, скованность и принужденность тут же покинули меня. Так бывает, когда из раны перестает течь кровь, когда уходит боль, пропадает страх. Я поставил рюмку с коньяком; как маленький, положил голову ей на плечо и закрыл глаза — нелепей не придумать.

— Почему — ты? — спросил я. — Почему ты, и никто другой? Не мать, не дочка?

Я чувствовал ее ласковые ладони у себя на голове, они утешали, успокаивали меня. Это была капитуляция, это был мир.

— Вероятно, не так легко было всех провести? — спросила Бела. — Сперва и я ничего не подозревала... ни по виду, ни по речи ничего нельзя было сказать. Узнала я потом.

— Как? Что я сделал? — спросил я.

Бела рассмеялась. Ни насмешки — а ведь было над чем, — ни обидной снисходительности, ни злорадства; в ее смехе была теплота, в нем было понимание.

— Вопрос не в том, что ты сделал, а в том, какой ты сам. Только совсем глупая женщина не отличит одного мужчину от другого в постели.

Ответ прозвучал резко, но мне было все равно, лишь бы Бела не отходила от меня.

— У тебя есть нечто, — сказала она, — чем он не обладает. Вот почему я догадалась.

— Что это такое, то, что у меня есть? — спросил я.

— Можешь назвать это *tendresse*, ^[63] — сказала Бела, — я не знаю другого слова.

Затем неожиданно спросила, как меня зовут.

— Джон, — ответил я. — Даже имя у нас общее. Рассказать тебе, как все это случилось?

— Если хочешь, — ответила она. — О многом я догадываюсь. С прошлым покончено для вас обоих. Сейчас надо думать о будущем.

— Да, — сказал я, — но не о моем, об их будущем.

И когда я это произнес, во мне внезапно вспыхнула твердая уверенность, что так оно именно и есть, я не погрешил против истины. Мое старое «я» из Ле-Мана было мертво. Тень Жана де Ге тоже исчезла. На их месте возникло нечто новое, не имеющее субстанции, не облеченное еще в плоть и кровь, рожденное чувством, которое пребудет вечно, — пламя внутри телесной оболочки.

— Я люблю их, — сказал я. — Я навечно стал их частицей. Я хочу, чтобы ты это поняла. Я никогда больше их не увижу, но благодаря им я живу.

— Я понимаю, — сказала Бела. — Это в равной мере относится к ним. Они тоже живут благодаря тебе.

— Если бы я мог в это поверить, — сказал я, — остальное не имело бы значения. Тогда все в порядке. Но к ним вернулся он. Все будет по-прежнему. Все начнется сначала: равнодушие, уныние, страдания, боль. Если это их ждет впереди, мне лучше пойти и повеситься на ближайшем дереве. Даже сейчас я...

Я посмотрел через ее плечо на мрак за окном, и мне вдруг почудилось, что железный заслон стал прозрачным, что я стою рядом с ним в замке, вижу, как он улыбается, вижу, как смотрит на него тапан, и Мари-Ноэль, и Бланш, и Поль, и Рене, и Жюли тоже, и ее сын Андре.

— Я желаю им счастья, — сказал я, — но не так, как видит это он. Я хочу, чтобы вырвался наружу тот огонек, тот родник, что скрывается у них в груди; он заперт, но он там есть, Бела, я это знаю, я видел его, и он ждет, чтобы его освободили.

Я замолчал. Наверно, я говорил глупости. Я не мог выразить свою мысль.

— Он дьявол, — сказал я, — а они снова в его руках.

— Нет, — сказала Бела, — тут ты ошибаешься. Он не дьявол. Он человек, обыкновенный человек, такой же, как ты.

Она поднялась, задернула занавеси и вернулась ко мне.

— Не забывай, — сказала она, — я знаю его, знаю, в чем его слабость и в чем сила, знаю его достоинства и недостатки. Если бы он был дьяволом, я не тратила бы время здесь, в Вилларе. Я давно рассталась бы с ним.

Я хотел бы ей верить, но когда женщина любит мужчину, трудно сказать наверняка, насколько правильно ее суждение о нем. Не видеть зла — тоже ослепление. Я принялся рассказывать Беле о том, что я узнал, о той картине прошлого, которая сложилась у меня за прошедшую неделю из разрозненных кусочков. Кое-что из этого было ей известно, кое о чем она догадывалась. Однако чем дальше, тем сильнее я чувствовал, что, желая осудить Жана де Ге, осуждаю его тень — человека, который двигался, разговаривал, действовал вместо него.

— Бесполезно, — сказал я наконец. — Тот, кого я описываю, не похож на того, кого ты знаешь.

— Нет, похож, — сказала Бела, — но в то же время он похож на тебя.

Этого я и боялся. Кто из нас двоих был настоящий? Кто жил, а кто умер? Меня вдруг пронзила мысль, что посмотри я сейчас в зеркало, я не увижу там никакого отражения.

— Бела, — сказал я. — Держи меня. Назови мне мое имя.

— Ты Джон, — сказала она, — ты Джон, который поменялся местами с Жаном де Ге. В течение недели ты жил его жизнью. Два раза ты приезжал сюда, в этот дом, и любил меня. Как Джон, а не как Жан де Ге. Это для тебя достаточно реально? Это помогает стать самим собой?

Я дотронулся до ее волос, до ее лица, до ее рук — в ней не было ни крупицы фальши, никакого обмана.

— Ты дал что-то каждому из нас, — сказала Бела, — мне, его матери, его сестре, его ребенку. Я назвала это *tendresse*. Но как бы оно ни называлось, уничтожить это нельзя. Это пустило корни. Это будет расти. В будущем мы станем искать в Жане тебя, а не в тебе Жана. — Бела улыбнулась и положила руки мне на плечи. — Тебе не приходило в голову, что я ничего про тебя не знаю? — сказала она. — Я не знаю, откуда ты появился, куда отправишься, единственное, что мне известно, это твое имя.

— Только имя у меня и осталось, — сказал я. — И не будем больше говорить об этом.

— Если бы он не вернулся, — спросила Бела, — что бы он сейчас делал?

— Он хотел попутешествовать, — сказал я. — И собирался взять с собой тебя. Во всяком случае, так он мне сказал. Ты поехала бы с ним?

Бела ответила не сразу. Впервые она смутилась.

— Он был моим любовником в течение трех лет, — наконец сказала она. — Он стал мне очень близок, он часть моего существования. Полагаю, что и я ему не безразлична. Но скоро он найдет кого-нибудь другого.

— Нет, — возразил я, — он никогда не найдет никого вместо тебя.

— Почему ты так в этом уверен?

— Не забывай, — сказал я, — я жил его жизнью целую неделю.

Я взглянул на окно, на задернутые ею занавеси.

— Почему ты задернула занавеси? — спросил я.

— Это сигнал, — сказала Бела, — что ко мне нельзя. Если занавеси задернуты, это значит — я не одна.

Выходит, нам обоим пришла в голову одна и та же мысль. Пообедав, пожелав спокойной ночи Мари-Ноэль и побеседовав с матерью в ее спальне, он вполне мог снова сесть в машину и поехать из Сен-Жиля в Виллар, а там, подобно мне, пройти по пешеходному мостику к дому Белы. Он имел право находиться здесь, так же как в Сен-Жиле. Он был хозяин, а я незванный гость.

— Бела, — сказал я, — он не знает, что я бывал здесь. Скорее всего, и не узнает, разве случайно от Гастона, что вряд ли. Не говори ему об этом, если сможешь.

Я встал.

— Что ты собираешься делать? — спросила она.

— Уйти отсюда, — ответил я, — прежде чем он придет. Если я хоть сколько-нибудь в нем разбираюсь, ты очень будешь ему сегодня нужна.

Она задумчиво посмотрела на меня.

— Я могу не раздвигать занавески, — сказала она.

И когда она это сказала, я подумал обо всем, что он мне сделал. Я вспомнил, что он не только отобрал у меня мою новую жизнь, но и

разрушил ту, что я сам себе построил. У меня не было больше работы, не было крыши над головой, не было ничего, кроме одежды на плечах и бумажника с некоторым количеством французских денег.

— Я задал тебе вопрос, — сказал я, — несколько минут назад. Я спросил, поехала ли бы ты с ним, если бы он тебя позвал.

— Вероятно, — сказала Бела, — если бы чувствовала, что нужна ему.

— Приглашение могло быть неожиданным, — сказал я, — он не стал бы тебя заранее предупредить. Не забывай, ему было опасно показываться в Вилларе, здесь все знают его в лицо.

— Ему незачем было приезжать в Виллар, — сказала Бела. — Он бы написал мне или послал телеграмму; возможно, даже позвонил и позвал меня с собой.

— И ты поехала бы?

Она заколебалась, но лишь на секунду.

— Да, — ответила она, — да, поехала бы.

Я посмотрел на окно.

— Отдерни занавеси, когда я уйду, — сказал я. — Я пройду через дверь на улицу.

Она вышла вместе со мной в коридор.

— А как же твоя рука? — спросила она.

— Моя рука?

— На ней нет повязки.

Бела зашла в ванную и вынесла пакет в пергаментной бумаге, точно такой, как в воскресенье. В то время, как она перевязывала мне руку, я подумал о Бланш, делавшей то же самое утром, о татап, чья рука лежала в моей всю ночь. О Мари-Ноэль, о ее теплой ладошке, крепко сжимавшей мою.

— Позаботься о них, — сказал я. — Кроме тебя, это некому сделать. Может быть, он послушает тебя. Помоги ему их полюбить.

— Он их и так любит, — сказала Бела. — Я хочу, чтобы ты верил в это. Он вернулся в Сен-Жиль не только из-за денег.

— Не знаю, — сказал я. — Не знаю...

Когда она перевязала мне руку и я был готов уйти. Бела сказала:

— Куда ты направляешься? Что намерен делать?

— У городских ворот меня ждет машина, — ответил я, — та самая, которую он забрал неделю назад. Та, в которой он повез бы тебя

на Сицилию или в Грецию.

Бела спустилась со мной по лестнице, немного помедлила, прежде чем выпустить меня в ночь.

— Ты не собираешься причинить себе вред? — не скрывая тревоги, спросила она. — Ты не сказал себе: это конец?

— Нет, — ответил я, — это не конец. Возможно, это начало.

Бела отодвинула засов.

— Неделю назад, — сказал я ей, — я был человеком по имени Джон, который потерпел в жизни фиаско и не знал, как ему жить дальше, что с собой делать. Я подумал тогда об одном месте, где мне могут дать на это ответ, и хотел туда поехать. Но тут я встретил Жана де Ге и поехал вместо него в Сен-Жиль.

— А теперь ты снова Джон, — сказала Бела, — но тебе нечего больше тревожиться, нечего говорить о фиаско. В Сен-Жиле ты сам нашел ответ.

— Нет, ответа я не нашел, — сказал я, — просто передо мной встал другой вопрос: что делать с любовью? Проблема осталась та же.

Бела открыла дверь. Окна в домах напротив были закрыты ставнями. Улица была пуста.

— Мы делимся ею, — сказала Бела, — но она при этом не убывает. Как вода в колодце. Даже если он высохнет, источник остается.

Она обняла и поцеловала меня.

— Ты будешь мне писать? — спросила она.

— Надеюсь.

— И ты знаешь, куда сейчас поедешь?

— Я знаю, куда я сейчас поеду.

— Ты долго там пробудешь?

— Не имею понятия.

— Это место — оно далеко отсюда?

— Как ни странно, нет. Километров пятьдесят.

— Если они могут указать, как быть с фиаско, указать, как быть с любовью, — они тоже смогут?

— Полагаю, что да. Полагаю, что они дадут мне тот же ответ, что ты.

Я поцеловал ее и вышел на улицу. Я слышал, как она закрыла за мной дверь и задвинула засов. Я прошел под городскими воротами,

сел в машину и протянул руку за картами. Они лежали там, где я оставил, — в кармашке возле сиденья водителя. Нашел дорогу, которую пометил синим крестиком неделю назад. Последние десять километров придется ехать в темноте; трудновато, но если, выехав из Мортаня, оставить Форе-дю-Перш справа, дорога приведет меня к Форе-де-ла-Траппу, а затем и к самому монастырю. Я могу добраться туда за час с минутами, самое большее — за полтора часа.

Я положил карту и, взглянув на окно Белы, увидел, что она раздернула занавеси. Свет падал вниз, на канал и пешеходный мостик. Я дал задний ход, развернулся и поехал по обсаженной деревьями улице и, когда я проезжал мимо больницы, заметил у обочины «рено». Он стоял не у главного входа, а у небольших ворот, которые вели в часовню. Машина была пуста, Гастона не было видно. Тот, кто приехал на этой машине, чтобы отдать последний долг, приехал сюда один.

Я добрался до пересечения дорог в верхней части города, свернул налево и двинулся по направлению к Беллему и Мортаню.

notes

Примечания

1

Шоссе первой категории (*фр.*).

2

Καφε (*φρ.*).

3

Префектура (*φρ.*).

4

Дорожная карта (*фр.*).

5

Прошу прощения (*фр.*).

6

Охота, травля (*фр.*).

7

Все удобства (*фр.*).

8

Войдите! (*фр.*)

9

Аптека (*φρ.*).

Граф де Ге (*фр.*).

Сен-Жиль, Сарт (*фр.*).

Отель «Париж» (*фр.*).

«Се человек» — название картин, где Христос изображен в терновом венце.

Добрый вечер, господин граф (*фр.*).

Собор Парижской Богоматери (*фр.*).

До свидания, госпожа графиня, до свидания, господин граф, до свидания, мадемуазель Бланш, до свидания, Шарлотта (*фр.*).

Горничная (*фр.*).

Добрый вечер, господин граф (*фр.*).

Голубятня (*фр.*).

Бог мой (*фр.*).

Итак: ну как? (*фр.*)

Войдите (*фр.*).

Больна, плохо себя чувствует (*фр.*).

Стекольная фабрика (*фр.*).

Камердинера (*фр.*).

Слуга, коридорный (*фр.*).

Бакалея, бакалейная лавка (*фр.*).

Доброго здоровья, господин граф (*фр.*).

Младший сын (*фр.*).

Ошибка, ложный шаг (*фр.*).

Свидание, разговор с глазу на глаз (*фр.*).

Здравствуйте, господин граф (*фр.*).

Боже мой (*фр.*).

Бабушка (*фр.*).

Боженька (*фр.*).

Слушаю (*фр.*).

«Женщина» (*фр.*).

«Фигаро» и «Западной Франции» (*фр.*).

Ми́лая (фр.).

Горничная (*фр.*).

Охота (*φρ.*).

Отец семейства (*фр.*).

«Правила, регулирующие пользование приданым и его сохранение... майорат... доходы с имущества...» (фр.).

«Фабрика... рента... помещение капитала...» (фр.).

Городские ворота (*фр.*).

По пути (*фр.*).

«Хорошая погода» и «охота» (*фр.*).

До свидания (*фр.*).

Горничная (*фр.*).

Большая охота (*фр.*).

Охотники (*фр.*).

Дамы и господа (*фр.*).

Я страдаю (*фр.*).

«Спящая красавица» (фр.).

Отец семейства (*фр.*).

Милая, любимая (*фр.*).

Закрито до понеделника (*фр.*).

Комиссар полиции (*фр.*).

Боженька (*фр.*).

Не вешайте трубку (*фр.*).

Заместитель (фр.).

Прощайте (*фр.*).

Нежность (*фр.*).